Алесь Адамович

Война под крышами

Минск
1995

У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей.

Часть первая

Война входит в дом

Настигнутые бурей

Люди в поселке не знали, что все то, о чем они думали и хлопотали, чему радовались и о чем бедовали в это чистое июньское утро, было совсем не таким важным, как им казалось: уже несколько часов шла война.

До полудня в рабочем поселке Лесная Селиба все имело свою обычную цену.

У пропыленной полуторки – мальчишка лет четырнадцати с загоревшей стриженой головой. Щеки у него по-детски округлые, но шея, руки – тонкие и длинные. "Растет", – говорят про таких в утешение матерям. Мальчишка держит в руках помятый чемоданчик, барабанит коленками по нему и глядит сразу во все стороны. С его лица не сходит улыбка, которая говорит очень откровенно, что человек счастлив видеть всех тут и что он очень удивился бы, если вдруг ему здесь не все были бы рады. Его улыбка заставляет уставших, пробеленных сульфатной мукой женщин, которые идут со смены, припоминать о чем-то, мало интересном для них: "...Это, кажется, докторов младший, Корзуниха зачем-то отправляла его к своему брату".

Мужчина в мешковатом суконном костюме расплачивается с шофером. Он не торопится. По всему заметно: не он приехал домой, не он вот-вот встретится со своей мамой, и вовсе не ему страшно не терпится увидеть сразу все то, что год назад хотелось поскорее променять на более интересное.

Под нетерпеливо-радостным взглядом мальчишки высокий сутулый мужчина спрятал наконец большой бумажник и принялся стряхивать пыль с рукавов.

– Не ждут нас сегодня, Толя.

Мальчишка заулыбался еще шире: он-то знает, ждут или не ждут его.

Дядя, который идет с чемоданом за Толей, замечает все, что с такой радостью узнавания видит и Толя: отлогие канавы, где трава жадно выщипана гусями, придорожные сосны, серые от пыли, дома вдоль шоссе, лес, подступающий к самым огородам и сараям. Но все это дядя видит не так, как Толя. Он, конечно, не замечает, что все тут стало другим. Больница под красной крышей как-то распласталась, осела; заводская труба, дымящая у леса, сделалась ниже, будто искурилась. Глядя на здание школы, Толя удивляется: и как только за этим рядом окон укладывается тот длинный гулкий коридор?

Хотя нет, не все тут изменилось одинаково. Сделалось меньшим для Толи то, что оставалось на месте. А вот шоссе точно вместе с Толей вернулось в поселок откуда-то издалека. Черная полоса его уютно улеглась между мягкими пыльными обочинами, указывая на восток и на запад: на Москву и на Брест. Вглядишься – видишь: не лежит, а бешено несется вдаль и вдаль асфальтка, втягивая взгляд, точно воронка воду.

Старый екатерининский тракт, только недавно зачерневший асфальтом, охотно отдал поселку под улицу один свой километр: что для "варшавки" этот километр! Сколько их у нее! За поселком, где кончается высокая ограда стеклозавода, на старом бетонном столбе значится с восточной стороны: 669. Это – до Москвы. С западной – 99. Столько до Слуцка. А за Слуцком еще Кобрин, Брест...

Много километров у асфальтки, но этот для Толи – единственный: на нем разместилось его детство.

Толе скоро пятнадцать. Это тот возраст, когда в воспитании, по мнению дяди, нужна подгонка и шлифовка. Дядя Федор – директор школы. У него нет своих детей, и он берет к себе на год, на два то одного, то другого, племянника, если решит, что дома их "засахаривают".

С дядей и у дяди страшно интересно. Приезд его – праздник. Одевается дядя совсем не по-директорски, галстука на нем, по утверждению тети Лены, и на свадьбе не было. И лишь чемоданы у него всегда богатые: скрипящие, кожаные, большие. Он всегда приезжает с подарками. И если он дарит, так не сандалии или штаны, а краски в тюбиках, набор инструментов, а то и фотоаппарат. Дядя все умеет делать сам, около него и тебе хочется все уметь. Он и Толю брал к себе "работать":

– У нас там даром хлеб не едят.

Но это не пугало. Толе тогда казалось, что именно серьезного дела ему и не хватает дома.

– Поедешь, сынок? – спросила мама.

– Конечно! Надоело уже! – отозвался сын, да так горячо, что мать удивленно и даже чуть обиженно поглядела на него, а потом засмеялась:

– Мы уже и надоели ему.

– Мале́ча!

Это, конечно, Алексей вставил свои три грошика. Ему что, ему хорошо, он старший. Если у тебя есть брат двумя годами старше, жизнь твоя – сплошные огорчения. Вечно ты до чего-нибудь не дорос, и главное – на каждом шагу тебе об этом напомнят. Можешь сколько угодно переходить из класса в класс, ничего не изменится в твоем положения, точно зарубка над тобой поднимается по мере того, как ты тянешься вверх. Началось это с люльки и штанишек, которые перешли к тебе от старшего брата.

А там и пошло. Все, что достается тебе, мало интересно уже потому, что брату позволено что-то большее, до чего тебе надо еще дорасти. Он может сам заводить патефон, а ты – обожди. Можешь, если угодно, тренькать на балалайке. Потом подпустят и к патефону, а тебе уже интересно было бы самому смазывать велосипед. Но тебе лишь позволяют перетирать в тряпочке дробь шариков, которые брат выковыривает черными пальцами из втулки. А там фотоаппарат, – и вообще конца нет всему этому.

Говорят, что цыган проклинал своего обидчика так: "А чтоб у тебя, батя, моложе, чем ты, никого в семье не было". Этот цыган знал, как пожелать зла человеку.

Алексей умеет сам находить интересное занятие: навес для дров поставит, тачку сколотит, сарай вычистит. Толе остается лишь помогать ему. Алексея не отрывают от его дела, да он не очень и побежит: знает, что на это Толя есть – фасоль перебирать или к помпе ехать.

Может, потому Толя так рвался из дому: у дяди он избавится от роли младшего. Но брат и тут опередил его. Тамошние хлопцы и знакомились и расставались с Толей, как с Алешиным братом: никем другим для них Толя не стал. Алексей на зависть просто сходится со всеми, у Толи это получается трудно. Приехав к дяде, он вначале был как девочка, не задирался ни с кем, уступал каждому. Но никто, кажется, этого не оценивал, да и невозможно сдерживать себя без конца. Начнется с пустяка. Гоняются друг за другом с репьем: особенно интересно закатать его в чужие волосы. Потом дойдет до

комьев земли и дерна. А там и камни пошли в ход. После одной такой игры захромавший Петька-заика сказал:

– А-алеша был лу-учше тебя.

Что правда, то правда, Алексей ни с кем из ребят никогда не дерется. Но зато как свирепо он схватывается с Толей. И глупая привычка – всегда начинает с ультиматума:

– Отстань – съешь!

Глаза у брата останавливаются:

– Не лезь, говорю, сейчас будешь вопить: "Мама!"

Толя обычно доводил дело до конца и вскоре действительно кричал: "Мама!" Конечно, при этом он и сам, как мог, защищался.

У дяди многое напоминало об Алексее. Особенно в физкабинете. Только и слышишь от дяди: "Это Алексей постарался". Толя же долгое время побаивался хрупких колб и нескладных электрических машин: у него было предчувствие, что тут недалеко и до беды. И беда не заставила себя ждать. Как-то вечером Толя поставил большую лампу не на металлическую треногу (откуда ему было знать, что воздух в лампу поступает снизу), а прямо на стол. И часа не прошло, как все было готово, аккуратный бархатный слой сажи украшал все, что стояло, лежало и висело в физкабинете. "Да разве ты – Алеша", – прочел Толя в почужевших дядиных глазах.

Домой тянуло все сильней. Совсем по-детски ему хотелось увидеть маму! Нет, не увидеть. Когда восходит солнце, человек встречает его не одними глазами, он всего себя подставляет солнцу. Увидеть маму – это почувствовать ее взгляд на себе, теплоту ее глаз. Толя любил представлять тот миг, когда оставшиеся до летних каникул месяцы, дни, часы будут уже в прошлом. Он пройдет через двор, вступит в сени, возьмется на ощупь за косо поставленную скобку, от которой еще не отвыкла рука…

И вот он, этот миг. Толя почти бежит через узкий двор. Сразу приметил новую скамейку и курятник – Алексей постарался. Засматривает в окна, заранее улыбаясь, распахивает перед дядей дверь в сени.

– Принимайте своего бурсака, – проговорил в теплый полумрак кухни дядя.

Толя стоял на пороге и напряженно ожидал чуда, И чудо свершилось: откинув марлевую занавеску, из столовой вышла о н а.

В то остановившееся мгновение, пока она стояла у голубой занавески с чем-то темным в руках и не знала, куда девать это темное, Толя впервые увидел мать со стороны. Раньше, когда он привычно видел ее каждый день, его застал бы врасплох вопрос:

какая она, его мама, какие у нее глаза, какое лицо? В детстве он говорил: "Моя мама самая красивая". Но он точно так же сказал бы: "Солнце самое солнечное". Она такая, какая есть, другая – это уже не мама. Глазам ее, походке, лицу он мог бы дать лишь одно определение: мамино. Серые, черные, карие глаза – это у других, у мамы они – ласковые или сердитые.

Теперь, *со стороны,* Толя видит, что глаза эти светлые-светлые, как река в жаркий полдень. И мама не только для него, но и для всех красивая, и так хорошо, что она чуть-чуть полная и что она собирает пышные темно-золотистые волосы в простой узел, и ей так идет это белое в дымчатую полосу платье с короткими рукавами. Все это Толя впервые увидел и отметил каким-то новым мгновенным чувством. И напряженный залом бровей, не распрямляющийся даже при улыбке, по-новому видел Толя. Раньше он только ощущал его: в нем как бы собиралось то, что вызывало в нем ответное чувство радости, горечи, обиды или злости. Глупой детской злости!

– Ну что, сынок? Похудел как…

Так засветиться счастьем и так чуть-чуть печально спросить могла лишь мама. Единственный в мире человек, который понимает все и которому совсем не нужно, чтобы Толя был Алексеем.

– Я его не на откорм возил, – сказал дядя, здороваясь с военным, который вышел из боковой двери, скрипя хромовыми сапогами. Военный со шпалой – Толин отец. От него исходит волнующий, хотя и несколько чужой, запах: ремни, сукно. И еще – с детства знакомый запах махорки. Ничего другого отец никогда не курит.

Толе неудобно стоять под тяжелой, обхватившей его голову рукой, но он не уходит от папы. Будь это мама, он не задумывался бы над тем, постоять или отвести руку, отстраниться. Но это отец, и Толя томится в нерешительности. Однажды он получил письмо от матери, из которого понял, что папа обижается на его "здравствуйте" и "до свидания". Оказывается, нужно еще: "дорогие", "целую". Мама понимает, что не в этом дело, а с отцом надо как-то все учитывать. Когда отец уходил на финскую войну, Толя забрался в спальню, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку ножей о тарелки, к голосам гостей, и мучился от сознания своей черствости: он не мог плакать. Отец заметил его отсутствие и все истолковал по-своему. И мама потом сердито отчитывала Толю, но он видел, что она все понимает.

– Похудел, значит, учился, – говорит отец, больно прижимая к ремням Толину голову.

Мама, наливая воду в умывальник, отзывается:

– Что вы знаете? Иди умойся.

И, конечно, обязательное:

– Уши тоже.

Значит, Толя действительно дома.

– А это кто? – нарочно спрашивает дядя, с удивлением рассматривая Нину, которая кошкой повисла на ширме.

– Дядя, ну-у, – жалобно стонет сердитая Нинка.

– По матке скучает, – неодобрительно хмыкнула бабушка, – как малая.

– Да и не большая, дети же, – не сдержала раздражения мама и, стараясь сгладить невольную интонацию, начала пространно объяснять, что тетя Катя на курорте, что вернется она числа двадцать пятого.

А бабушка все та же, на все у нее свое особое мнение. Она выходила двенадцать детей без этих теперешних нежностей, восьмерых из них пережила и с неодобрением глядит на матерей, которые дрожат над ребенком.

– Еще бы – одно, – часто бормочет бабушка. – Было б у вас десять их – не до того было бы.

– Ну, а ты что не встречаешь гостя? – Голос дяди уже в спальне.

С Алексеем тоже, кажется, надо здороваться. Будто сговорившись, братья первые мгновения встречи заполняют какими-то посторонними словами, движениями, и вот уже упущен момент, когда обязательно нужно хватать зачем-то друг друга за руку. Алексей затягивает ремень на брюках, старательно отутюженных. На голове – гляди ты – прическа! Волосы у Алексея в мелкое колечко и сухие, чуб сваливается набок, как плохо, неумело завершенный стог.

– А, малеча явился, – произносит он довольно-таки радостно. Вообще-то он хороший парень, и дело совсем не в том, чтобы обниматься и лизаться.

Толя пошел поздороваться с дедушкой. Дедушку слышишь из соседней комнаты: в груди у него бушует астма. Усы совсем проржавели от махорочной копоти, а блеклые глаза все те же – умные, добрые.

Не удержался Толя, чтобы еще раз не пробежаться по дому. Дверей много. Когда переехали сюда, Толя обрадованно говорил матери:

– Ну, теперь не отлупишь: вкруговую бегать можно.

Каждая из комнат встречает Толю знакомым запахом, знакомыми вещами.

В столовой, которая одновременно служит и спальней для стариков, запах застоявшегося тепла, потертых сенников, сухого укропа, смоляков и сильнее всего – кожи (дедушка сапожничает).

В спальне две кровати и шкаф, приторно пахнет чистым бельем.

В большой комнате, которую в доме называют "залом", пахнет лаком от нового буфета. Тут зелено от фикусов.

И обивка дивана зеленая. Диван в этой обивке почти на всех фотографиях, сделанных Алексеем.

В кухне все упрятано за ширму. Бабушка и мама знают, как отец не любит, если что-нибудь лезет ему под ноги. Оставят на виду грязное ведро, корзину, веник – все это сейчас же летит в угол, как только он войдет в кухню.

– Ко мне больные ходят, а тут хлев сделали! – кричит папа, пиная ногой ведро, корзину, и обедать садится хмурый, будто ему повстречался по дороге лютый ворог.

Папа теперь лишь по воскресеньям наезжает из города (он служит на аэродроме), но корзины, ушат, ведра по-прежнему прячутся за ширму и оттуда трусливо пахнут мытой картошкой и теплым тестом.

Папа, по определению бабушки, "хозяин не в дом". Он знает лишь свою больницу. Мама, смеясь, рассказала однажды:

– Пришел за лекарством больной, к которому ты вчера ездил, и говорит: "Везу я Ивана Осиповича и показываю на поселковое стадо. Хорошая, говорю, доктор, коровка у вас, вымя по земле. А он: а какая тут наша?"

Толя остановился на пороге, будто исполняя какой-то обряд. В день отъезда он вот так же стоял на этом самом месте, стараясь запомнить себя *еще не уехавшим.* Тогда здесь стоял Толя, который еще не ездил к дяде, теперь тут Толя, который уже побывал там.

Не дожидаясь завтрака, Толя отправился к Миньке Барановскому.

Через полчаса друзья были в своем лесу. Солнце уже высоко, но здесь, под дубами, трава еще росит, щедро обмывает босые ноги. Дубы положили на землю большие тени. Кажется, что вышли из пахучего бора богатыри, остановились у края леса и смотрят на запад, а у ног – щиты.

Не понимая товарища, которому хочется побыть около дубов, Минька идет дальше, на горку, поросшую сосняком. У Миньки там гнезда, которые нужно показать Толе. Маленький, с большим горбатым носом, за который его прозвали Пилсудским, Минька занимается своим обычным делом: сосредоточенно выстругивает

палочку. Минькой же он окрещен по милости младшего братца, умершего год назад, который так и не научился выговаривать правильно Мишка, зато других научил говорить Минь-а.

Откровенно говоря, птичьи гнезда – это не то, что могло бы по-настоящему заинтересовать старых друзей сегодня. Как в жару пить, Толе хочется почитать вслух стихи: чужие, а среди них и свои. Радостно, когда слушают и не догадываются, что стихи-то твои…

Но друзья начинали с того, чем кончили год назад. У Миньки на примете много шмелиных гнезд. Можно создать целую пасеку. Когда-то Толя занимался этим. Улейца на манер скворечен, даже маленькие "колоды" – все было сделано, как у Жигоцкого, у которого всегда можно купить меду. Шмели, перенесенные вместе с сотами в палисадник, выползали на лоток, долго делали зарядку крылышками, нежили на солнце свои черно-оранжевые бархотки, потом легко снимались и улетали.

– За взятком, – радовался Минька.

Одни улетали, другие возвращались, и все шло, как на пасеке. Но когда друзья сняли крышку, осторожно приподняли мох и взглянули на темные, крупные, как орехи, соты, они опешили: все соты, даже те, что прежде были запечатаны, оказались пустыми.

Шмели не захотели быть Толиными пчелами.

– Куда же они летали? – недоумевал Минька.

А Толе тогда подумалось, что шмели летали на свое болотце: там они жили, а к нему являлись только на обед.

С пасекой не вышло. Но к тому времени его захватило другое. Толя взялся приручать скворца и галку. Приручить – это значит подружиться, и Толя подружился со своими птицами, особенно со скворцом.

Галка была хитрая и жадная. Она вечно торчала на базаре, попрошайничала, а однажды стащила у зазевавшейся бабы красную тридцатирублевку. Разбойница примостилась на крыше и, прижав лапкой бумажку, клювом стала отрывать клочки и бросать их вниз. Баба вначале испугалась, а потом озлилась:

– Бачили вы такую нечисть? Гэта ж босóта заводская выучила ее деньги красти.

Хлопцы визжали от. удовольствия. Толя похвастался дома талантами галки. Отец пообещал отдать ее кошке, а Толю заставил разыскать пострадавшую и вернуть ей деньги.

Скворец имел нрав тихий и мягкий. Толя и прозвал его Пушком. Это была ласковая и обидчивая птица. Галка, усевшись на плече, больно клевала в ухо, норовила в глаз: она все пробовала, нельзя ли

съесть. Пушок, тот мягко терся головкой о щеку и, как в окошко, заглядывал в Толин глаз черным глазком-бусинкой. Переступая дерматиновыми лапками, волнуясь, спрашивал: "Чуешш? Чуешш?"

– Чую, слышу, – отзывался хозяин.

Но Пушок нервничал, вертел головкой и улетал, видимо, не вполне уверенный, что Толя слышит все, что слышит он, Пушок. Если надо было позвать галку, Толя подражал ее гортанному:"У-гга, у-гга". Пушок летел на свой зов: "Чшш, чшш". Галка являлась, только когда была голодна, Пушок – в любое время и лишь на зов хозяина. У Пушка была какая-то своя память на ласку. Толя верил, что скворец помнил, как Толя отнял его, гадкого, голенького, у мальчишек, как поил и кормил его из губ…

И вот однажды душевные отношения с обидчиво-ласковым Пушком испортились. Случилось это, как всякое несчастье, внезапно. Толя из сеней позвал скворца. Черный комочек свалился с дерева и стремительно понесся к дому, почти касаясь земли. Когда комочек проносился над грядками, что-то белое метнулось вверх. Кошка! Толя закричал – Пушок вырвался и улетел. До самого вечера Толя ходил под соснами и все звал скворца. Но Пушок молчал, затаившись. Он, видимо, считал, что Толин зов и то страшное, что встретило его в огороде, как-то связаны одно с другим. И Пушок не отзывался, молчал. Толе казалось – обиженно, страдая. Как сделать, чтобы Пушок снова поверил ему? И Толя звал, звал… А потом стал хватать камни и швырять в своего любимца. Подошли мальчишки-дачники и охотно начали помогать ему. У Толи комок в горле стоял, а он со злобой метил в своего Пушка камнями и бутылками. Скворец перелетал с дерева на дерево и забирался все выше. Но от дома не улетал.

Так и ушел Толя спать, оставив его одного. А к утру все в доме переполошились.

– Что с тобой, сынок, где болит? – слышал Толя испуганный голос мамы. Плакать он начал во сне, да так и не мог остановиться. Наконец разобрались. Алексей оделся и вышел.

– Иди, на крыше уже ждет тебя, – сказал он, вернувшись.

С непросохшими глазами выбежал Толя, позвал. Скворец громко, голодно отозвался. Ниже и ниже, с опаской, бочком спускался он по крыше. Толя взобрался на сени и, все еще всхлипывая, пополз ему навстречу.

А потом Пушка украли дети дачников. Они и землянку завалили, в которой друзья прятались, играя в "красных" и "синих".

Сейчас Толя почти не обращает внимания на лесные секреты, открытые Минькой без него.

– Идем к нашей землянке, – просит он.

Землянка когда-то была их тайной. Рыли ее по вечерам, когда над поселком сгущались теплые влажные сумерки, а с болотца густо тянуло пьянящим запахом багульника. За несколько таких вечеров под деревьями в разных местах выросли желтые кротовые бугорки. На том же месте, где землянка, – ничего подозрительного. Лишь куча хвороста. Друзья вползали через узкую дыру под землю, лежали там на пахнущем шмелиным воском мху и упивались жутковатым чувством отгороженности от всего мира. Лежа в землянке, очень легко было представить мир без себя. На шоссе отдаленно гудят машины, распевно визжит заводская циркулярка. Где-то там, у горячей печи, обжигающей глаза оранжевым пламенем, – стеклодувы. На базаре, возле клуба – везде люди. Ничего не меняется от того, что тебя будто и нет на земле. Именно в эту секунду пропела бы циркулярка, если бы тебя вовсе и не было... Выбравшись наверх, друзья шли в молчании к поселку, связанные каким-то общим настроением.

Теперь на месте землянки лишь небольшое углубление, заросшее неестественно темной, почти синей травой. Видны почерневшие концы досок. Толя потрогал их ногой, и на мгновение неизвестно отчего ему стало тоскливо. Но только на мгновение.

Домой Толя прибежал, когда на заводе прогудел гудок. Одиннадцать часов. Толины глаза внесли в прохладный полумрак кухни яркую желтизну песка, которым был посыпан двор, бурый цвет ограды палисадника, распираемого зеленью, блеклую знойность июньского неба. И тут Толю встретил мамин голос. Это был совсем не тот голос, который он оставил утром, отправляясь к Миньке.

– Где вы все пропадаете? Не доищешься. Нашли время. Папа ждал, ждал и уехал.

И наконец она сказала:

– Война, сынок. С Германией.

Что-то засосало внутри – так бывает, когда качели летят вниз. Война! Вчера еще такое незаметное среди других слов, обращенное в книжное прошлое и неопределенно далекое будущее, слово это вдруг зловеще ожило, оно встало, как плотина, поперек всех мыслей, желаний, чувств. Не зная, что и как сказать матери, бледной и заплаканной (он только теперь увидел это), сын постарался сделать серьезное и даже испуганное лицо и поспешил уйти к мужчинам.

В спальне Алеша возбужденно хлопотал над дядиным чемоданом, а сам дядя переодевался, собирался в дорогу.

Толе не терпелось услышать, что скажет дядя. Но первым заговорить Толя не решался, опасаясь, что в голосе его все еще не

будет той серьезности, которой требует слово "война". Он молча сел на кровать. Посмотрел в окно. Там – залитая солнцем соломенно-желтая дощатая стена сарая, а выше – зеленоватое небо. Рядом с желтым голубое делается зеленоватым. Толя рисует акварелью, и ему это известно. Но не об этом сейчас надо…

– Война, дядя, да?

– Где ты был? Папа уже уехал на аэродром.

– А вы домой?

– К себе в военкомат. Может, и домой забежать удастся.

Дядю проводили к автобусу. Возвращаясь, свернули к радиоузлу, где толпилось много людей. Над приемником, выставленным в окне, – флегматичное и, как всегда, небритое лицо радиотехника Прохорова. Прохоров осторожно притрагивается к рычажкам, как бы опасаясь, что пугающе-торжественный голос, который оповещает о важном сообщении, вдруг пропадет…

Люди слушали, и такое было ощущение, что каждый стоит и подавленно соображает: что потерял он сегодня, что недоделал, не повидал, не успел? Еще никого из стоявших здесь, под, пришоссейными соснами, война не затронула, но уже общая тяжесть легла на плечи каждого.

Полдень, а это лишь первое сообщение о войне, начавшейся в три часа ночи. Не мы на территории врага, а он на нашей, его самолеты над нашими городами. Это озадачивает, но не пугает. Люди все-таки не понимают немца: что заставило его броситься на стену, заведомо несокрушимую? Вот-вот должно быть сообщение, что неожиданный наскок врага отбит. Что такое сообщение будет, верят почти все, его жадно ждет, хочет услышать и тот, кто завтра бросится на восток с детьми на руках, и тот, кто встретит врага на пороге своего дома с непреходящей ненавистью, и даже кое-кто из тех, кто скоро начнет подсчитывать свои обиды или кто через какой-то месяц повяжет на рукав белую тряпку полицая.

И если бы в это время, когда звучал тревожно-торжественный голос диктора, кто-либо сказал бритоголовому завкомовцу Пуговицыну, солидно застывшему у приемника, что через два месяца он добровольно станет полицаем, он искренне оскорбился бы. Пожалуй, не поверили бы в такое же превращение и братья Леоновичи, тощие и хохлатые, как удоды, сидящие рядышком на крыльце радиоузла.

Совершенно не поверил бы и Сенька Важник, что через полтора года он убьет заводной ручкой толстяка Лапова, который жарко дышит ему в затылок. Не об этом думает Сенька. Он выделяется среди окружающих не только удивительно темным загаром и любовно

наращенными бицепсами, но и выражением голубых глаз: в них – почти радостное возбуждение. Сенька обдумывает, как быстрее отхватить "кубаря". Если в военное училище податься – засидишься, и война окончится. Надо сразу на фронт.

Совсем другие лица у пожилых рабочих – озабоченные, серьезные.

И у женщин глаза туманятся тревогой и той почти извечной тоской, которая затягивала очи матери и жены, когда приходила весть о неведомо откуда явившемся "черном народе" – татарах, о "пранцузе", идущем по белорусской земле на Москву, о том, что с орудийным громом подходит "герман" и надо сниматься с обжитых мест и ехать куда-то в свет, в беженство.

Сообщений, которых ждали, не было. Но все равно упорно держались ободряющие слухи о первых успехах. В самом оптимизме, жадно-доверчивом, ощущалась большая тревога.

Она стала еще определеннее, когда вечером и в поселок донесся голос войны. У заборов, под соснами, по одному и молчаливыми группками стояли люди, прислушиваясь к упругим и каким-то оголенным стукам в землю: туг-туг, туг-туг-туг. Бомбили город.

– Пшеничка наша сыплется!

Это сказал дедушка. Толя поглядел на него сердито. Если бы это не дедушка сказал, можно было бы решить – враг!

Утром звонил отец, велел приехать в город. Когда выходили к автобусу, Толя немного задержался: затерялась его соломенная тюбетейка. Нашел за кушеткой и выбежал в сени. Все почему-то столпились в дверях. Через головы Толя мог видеть лишь небо, и потому он сразу увидел то, что всех держало в оцепенении: широкий ряд самолетов, неотвратимо и грозно плывущий с запада. Моторов не слышно, кажется, что это сон. И только когда прорвался грозный рев и что-то затрещало, как рвущаяся клеенка (да это же пулеметы!), все стало страшной правдой. Вот оно – война, смерть!

Толя метнулся назад в дом, вбежал в спальню, и таким уютным и безопасным показалось ему место под кроватью. Но он пока лишь сел на пол. Грохнуло в стены, в землю. Дом подскочил, как чернильница от удара по столу. Вместе с домом подскочил и Толя.

Когда он выбежал во двор, первое, кого стали искать его глаза, – маму.

– Беги в лес! – сдавленно крикнула она ему.

Толя даже не заметил, что мама осталась совсем одна, не подумал: а как же она? Теперь для мамы самое главное – его, Толино, спасение, он знал это и соглашался с этим с самым наивным детским

эгоизмом. Хотя, пожалуй, он ни о чем и не раздумывал в эти минуты, даже о том, куда и сколько он будет бежать. Что-то беспощадное надвинулось, нависло, и надо бежать, бежать, чтобы быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Обогнав идущих и бегущих женщин, Толя пронесся меж дубов, которые уже подобрали с земли тени-щиты, и ворвался в бор, гулкий и просторный. Людские голоса катились вслед ему, подхлестывали. Но вот они стали глуше: все слышнее мерное, покойное дыхание бора. Толя остановился. В самом деле, куда он бежит? Постоял, потом пошел назад. Опять ожили людские голоса, крики, заглушая шуршащее колыхание сосен, но теперь крики не пугали.

Идя к поселку, Толя думал, как бы найти Алешу. А вот и люди, многие с узлами, у женщин даже подушки. Тех, у кого белое в руках, зло, нервно ругают. Мужчины собираются группками, курят и возбужденно обсуждают: прилетят ли еще и когда прилетят. А вон Алексей в своих выглаженных брюках, рукава синей рубахи засучены. Рядом с ним Янек и Нина. Янек Барановский мало похож на своего младшего брата. Он старше Миньки всего на три года, но в такого детину вытянулся, что хоть ты его складывай, как плотницкий метр. Янек всегда сутулится, видимо, стесняясь своего роста и словно предлагая: можете подойти и сложить меня, если вам хочется.

Янек что-то объясняет женщинам и страшно размахивает длинными руками. Толя живо представляет, как он еще и моргает при этом. У Янека это так получается: зажмурится, как от резкого света, соберет веснушки на переносице, потом широко откроет глаза и глянет, будто только что на свет появился. Повторяет эту процедуру он без конца.

Алексей кого-то ищет, а Нина улыбается и показывает в сторону Толи. Толя нарочно отвернулся, сделав вид, что он тут все время. А если его не замечали раньше, не он виноват в этом.

Ночевать многие ушли в лес, и почему-то не в чистый сухой бор, а на болото, по-видимому считая, что место тем безопаснее, чем оно хуже. Корзуны тоже выбрались. Только дедушка отказался. Он даже разделся, укладываясь спать. Бабушка уговаривала его идти со всеми, ругала громко, как бы оправдываясь за "старого дурня", но мама почему-то совсем не сердилась на дедушку. А ведь дедушка оставался на верную гибель.

В лесу и ночью совсем неплохо. Пахнет теплой сыростью, подсохшее болотце щедро устлано мягкими моховыми подушками. Когда ночуешь в лесу, хочется смотреть в небо. Правда, и смотреть-то больше некуда.

Там, где город, стукнуло раз и сразу – второй. И вот – слышно – между звездами воровато крадется самолет, он уже над головой. Это он сбросил бомбы. Но почему позволяют ему улететь?

Опять вспыхивают разговоры о фронте. Высказываются веские предположения о наших и немецких стратегических планах. Вполголоса, конечно, ведь о шпионах столько всяких слухов.

Сколько ни слушай эти разговоры, сколько ни ходи в гости к соседям, а спать когда-то надо. И тут начинаешь понимать, как мало приспособлено для ночевки болото, и делаешь открытие, что и в войну нельзя не замечать комаров. Можно подумать, что сам теплый болотный воздух рождает комариные тучи. Будто сетка над головой висит, живая, озвученная. Вот от сетки отрывается вкрадчивый ноющий писк. Точно на паутинке, висит злодей на этом тоненьком писке, то подтягивается вверх, то опускается. Писк все нежнее, все настойчивее. Обрывается – и сразу обжигает руку, или лоб, или затылок. Бьешь по собственному затылку, комариную сетку словно ветром относит. Но лишь на миг. Снова опускается она, и опять вкрадчивый и зудящий писк, от которого кожа покрывается пупырышками, как от холода. Фу-ты, мерзость!.. И трут не помогает, разве весь этот мох поджечь…

Алексей спать не ложится, сосет папиросы. С некоторых пор ему это не запрещается. Тошно смотреть, как небрежно Алексей и Янек держат в губах свои цигарки. А какие важные лица у них при этом! И какие разговоры! Теперь и Толя мог бы задымить, маме не до того. Но ему противно такое ломанье, и он нарочно не станет курить.

И все же он снова завидует брату. Алексей послонялся по болоту, а потом собрался домой, не обращая внимания на мамины сердитые уговоры. Зато стоило об этом заикнуться Толе, как тут же пришлось пожалеть, что у него есть язык. И уйти не удалось, и все, что недослушал старший брат, досталось ему. А мама умеет донять словами.

Так всегда и во всем. Алексей, когда и поменьше был, умел без долгих разговоров на своем поставить. Зато предназначенная ему порция маминой заботы тут же изливалась на Толю. Возможно, потому и говорят женщины (Толе доводилось слышать):

– А младшего вы, Анна Михайловна, больше любите.

– Ох, меньше бы его любили!

А сейчас оставалось брать пример с бабушки. Закутав голову теплым платком, она тихонько сидит под сосенкой, будто и не слышит, что другие расходятся по домам.

К утру болотце почти опустело, хотя теперь-то и можно было ожидать самолетов. Поселковцы, ночевавшие под крышей, шуточками встречали "дачников".

Алексей уже встал, сидит над дедушкиным ящиком и приколачивает каблук, дедушка давится утренней порцией кашля и дыма, а посреди комнаты стоит Анюта, больничная кухарка, которую в поселке называют "полтавкой", и рассказывает, как вчера самолет гонял санитарок вокруг морга:

– Мы сюды – вин оттуда, мы туды – вин отсюда. А дивчата вси в билых халатах.

Немцы!

Опять звонил отец. Мама, очень возбужденная, объяснила, что папа советовал быть наготове. Может быть, придется уехать в деревню, кто знает. Но страшного пока ничего нет.

Толя снова умчался к клубу. Там, около трехтонки, много людей собралось. Пока Толя бежал, подошла команда красноармейцев. Черные, потные бойцы свалились под соснами. Их окружили, расспрашивают, но отвечает, и как-то неохотно, лишь молодой лейтенант. Каждое слово его ловят, пересказывают: "Перегруппировка… подтягиваются… разворачивают силы… по железной дороге…"

На машине говорят наперебой:

– Из Бреста.

– Горит все…

– Мой только посадил нас, а сам вернулся туда.

Высокая худая женщина, кутающая девочку в скатерть с бахромой, произнесла это "туда" с откровенной женской завистью и недружелюбно глядя на тех соседок, возле которых скромненько примостились какие-то толстенькие мужчины.

Поселковцы рассматривают беженцев с тревожным недоумением. А женщина с девочкой все приподнимается и смотрит, скоро ли шофер зальет воду в радиатор.

Уехали беженцы, следом потянулась команда красноармейцев.

– А пехота все пешедралом.

На сказавшего дружно набросились:

– Это же в тылу, всех не посадишь на машины.

– Будь уверен, техники там у нас хватит. Я был у брата, на самой границе, знаешь, сколько по железной дороге пушек и танков гнали.

У Миньки на огороде делают бомбоубежище. Их теперь роют все, появились даже специалисты, они переходят со двора во двор и поучают, как класть настил, сколько земли наваливать. Вот и здесь торчит сварливый пенсионер Тит и поругивает работников: это не так, то – тоже не так.

Пришел Алексей, отозвал Толю и сказал, что они едут в деревню.

Дедушка и на этот раз отказался трогаться с места, зато бабушка так заторопилась, словно боялась, что ее могут оставить. Нина вдруг по-бабьи подобрала губы, на глазах слезы. Уезжать, когда вот-вот мама ее приедет с Кавказа! Нина стояла над глуховатым дедушкой и объясняла ему вполголоса, что он должен сказать ее маме. Дедушка не понимал, переспрашивал, но Нина почему-то стеснялась говорить громче.

К вечеру были в деревне – в трех километрах от Лесной Селибы. Остановились у знакомого дорожного мастера Порохневича. Дом у него большой, под черепицей, в сторонке от колхозной улицы. За домом хороший сад.

В деревне слухи о фронте еще глуше, но разговоров больше. Досконально известно, что по другим дорогам войска движутся на запад. А что по "варшавке" идут и едут на восток – не страшно. Это потрепанные части отсылают в тыл, чтобы не мешали. И все же бомбоубежища роют обязательно там, где хлеба наилучшие, как бы подчеркивая, что теперь уже не важно то, что было важно вчера. А хлеба в этом году на редкость хорошие: "Будто к войне!"

Пятый вечер войны был ясный. Остро пахло росистым овсом. На западе – странные красные сполохи. Пронесся даже слух, что это фронт, но в такое никто не может поверить. По радио сообщили, что бои за Барановичами. Вот только наши подтянут силы…

Алексей еще засветло ушел в поселок разузнать, что там делают. Спать ложились без него, а ночью всех поднял радостный голос хозяина:

– Ну, слава богу! Вот когда наши силу двинули. Слышите?

Стекла дребезжали, будто кто тряс хату за углы.

Все, полуодетые, выбежали во двор. Порохневич куда-то пропал. Дрожа от ночной свежести, а еще больше от радостного возбуждения, Толя по-мужски поясняет женщинам:

– Это танки, много…

Тишина опускается с блеклого неба вместе с молочным предутренним светом луны, и в хлебных полях – прислушивающаяся тишина. И лишь там, где шоссе, стоит плотная стена грохота и рева. Эта стена высоко поднимается напротив деревни, а по краям круто

спадает: далекое приглушенное гудение уходит куда-то в сторону Слуцка и в сторону Бобруйска.

Потянуло к людям. На колхозной улице тоже слушают шоссе и тоже говорят почему-то вполголоса.

Заметили бегущего человека. Он то ныряет с головой в белые от лунного света хлеба, то выныривает по грудь, выбрасывая руки в стороны. Время от времени его будто волной сносит (видимо, когда в борозду попадает).

При виде этого барахтающегося, тонущего в белых хлебах человека, за спиной которого воет шоссе, какое-то беспокойство охватило людей. Впервые с тревогой подумалось о том, что́ ревело на "варшавке".

Издали прорвался низкий срывающийся голос:

– Не-е-мцы!

Протяжно, по-бабьи, завыла девочка-подросток и побежала куда-то в огороды.

До самого рассвета сидели в хате. Жалобно дребезжали оконные стекла, неумолимо приходило утро, а с ним вплотную подступало то, что уже свершилось, хотя еще и не вошло в деревню. В который уже раз Порохневич рассказывает:

– Подхожу. Что такое? Движутся с запада. Танки, а меж них мотоциклеты так и вьются. Я и сел, да назад, назад. А по житу бежит женщина, кругом ни души, а она кричит: немцы!

Человек этот не помнит, что и он так же бежал и кричал.

Противная мелкая дрожь переместилась куда-то внутрь, будто Толя льда наглотался. Он все еще с непонятным ожиданием смотрел из угла на застывшую у окна мать. Но именно в эти минуты окончательно рушилась в нем детская вера, что она может отвести любую беду.

Толя знает, что мама, охваченная ужасом, думает об Алеше: он там, где сейчас – немцы. Наконец прозвучал ее голос, глухо, издалека:

– Как же теперь, что теперь?

Порохневич, точно паутину снимая, провел рукой по худому, заостренному лицу и не отозвался. А Толя вдруг ощутил по-настоящему: немцы не только там, где Алеша, они уже здесь, все остается на месте, прежним, а ничто уже не прежнее. Рождалось жуткое чувство раздвоенности: будто во сне видишь себя мертвым. И хотелось скорее проснуться, чтобы убедиться, что это только сон.

Но *проснуться от немцев* уже невозможно. Скоро появятся они, и ничего ты не можешь сделать, чтобы этого не было.

Солнце, как вчера, всходило из-за гребня далекого леса, и, как вчера, от росы побелела трава. Прозрачно-зеленая рожь, в которой утопают колхозные гумна, дышит тяжело, всей массой.

И даже люди по каким-то своим: делам проходят по улице.

В дальнем конце деревни взревела машина. Вот оно! Ближе, ближе. Большая, с длинным, как рыло худой свиньи, радиатором. Из-под брезента посыпались в зеленом и черном, разбежались по дворам. Снова собрались, повскакивали в кузов, машина развернулась и ушла, черно задымив и застучав так, что эхо понеслось за гумна, к лесу.

Сразу стало известно, что немцы собирали яйца. А больше ничего. Видно, точно так же рассказывали бы о неведомых враждебных существах с другой планеты.

Медлительная и тихая тетя Поля поставила на стол тарелку с белой горкой яиц.

– С Христовым праздничком вас, – нехорошо усмехнулся Порохневич.

Он так и остался с ночи в фуфайке поверх нательного белья и в туфлях на босу ногу. Еще вчера он не решился бы показаться в таком виде перед чужой женщиной, но теперь он этого не замечает и сидит у всех на виду в кальсонах.

– Что ж, живыми в могилу ложиться? – говорит тетя Поля и принимается растапливать печь. – Иди вот оденься.

Хозяин удивленно осматривает себя и уходит в другую комнату.

Толя отправился на улицу. Шоссе не умолкает. Над пышными придорожными березами низко проплывают транспортные самолеты. Высоко в небе еще один этаж – истребители.

Толя видел, как три женщины прошли в сторону шоссе, и сам, осмелев, двинулся следом. Вот уже видны мелькающие между стволов берез белые кресты на темной броне танков.

Неумолчно кричит асфальт под стальными гусеницами, а сверху через каждые несколько минут обрушивают на землю оглушающий рев большущие "транспорты" с ясно видимыми маслянистыми, грязно-желтыми подтеками на широких крыльях.

День солнечный, голубой, нежная зелень заливает все вокруг. Только все это будто онемело, оглохло.

Толя осторожно подступил к канаве, где уже толпилась босоногая ватага мальчишек. Много тут и взрослых, особенно женщин. Молча смотрят на немцев, которые стоят в люках танков, сидят за пулеметами в колясках мотоциклов, повисли на подножках машин.

Немцы в жестких накидках лягушачьего желто-зеленого или грязного цвета, неподвижные, как истуканы. А многие – совсем голые: трусики, автомат на грязном от пыли животе, на шее – шелковая косынка. Во всем этом столько наглой самоуверенности, что людям за кюветом и обидно и страшно.

Тяжелый броневой клин, внезапно проломивший границу, стремительно и беспощадно врезался в живое тело страны. Люди, которые так неожиданно оказались позади линии фронта, выглядели растерянными и подавленными. Они вчера еще верили в скорую победу, а тут вдруг своими глазами увидели, с какой вселяющей отчаяние стремительностью враг катил на восток. Гнетущее ощущение страшной и непонятной катастрофы сковало людей. Что немец пройдет весь Союз, не думалось. Но катастрофой было уже то, что враг – здесь, а не мы у него, катастрофой были эти танки, эти немцы с кокетливыми шарфиками в трехстах километрах от границы. На голых немцев с автоматами смотрели люди, которых шквал событий не захватил, не стронул с места. И это особенно жутко: еще вчера было одно, с чем сроднились и своим прошлым и будущим своих детей, и вдруг все исчезло, пришло новое, стремящееся зачеркнуть то, что было, отнять то, что ожидало впереди. Люди даже не успели по-настоящему испугаться за свою жизнь.

Возвращаясь назад, Толя увидел, что мать идет, почти бежит навстречу ему. С тревогой подумал об Алексее. Но нет, это из-за Толи мама бежит, из-за него. Толя замедлил шаги, но, видно, никуда не денешься от приготовленных для тебя сердитых слов.

– Ты что это надумал… зачем ты так?

Толя постарался вырваться вперед, но мать, придерживая рукой рассыпавшийся узел волос, шла за ним, след в след.

– Я хотел только…

– У вас все так, а я с ума схожу.

– Ай, мама!

– Что "ай, мама"?

Нет, лучше помолчать. Скажи слово, его тотчас подхватят и затолкают тебе же в рот.

У калитки их поджидал Алексей. Хмурый, гармошка морщин наползает из-под чуба на брови. Мама спешит к нему, а он хоть бы с места сдвинулся.

– Ну что, сынок?..

– Ничего – немцы. Три машины заводские уехали. Успели.

Обедать Алексей отказался, посидел за столом, закурил и вышел во двор. Мама проводила его каким-то странным взглядом.

Заторопилась, стала шарить в сумочке. Задержала руку, потом подала Толе что-то завернутое. Смущенно сказала:

– Спрячь, ну что тебе, пусть будет.

Ничего не понимая, сын развернул потертый, пахнущий бумажной пылью пакетик.

– Это крестильный твой. Пускай будет на всякий случай. Вдруг немцы станут… Сделай это, сынок, для меня.

– На черта мне это, – глядя на позеленевший медный крестик, проговорил Толя голосом старшего брата.

Мать все с тем же непривычным смущением перед сыном пригрозила, нехотя улыбаясь:

– Вот поговори мне. Думаешь – большой. Отлуплю – будешь знать.

Она быстро отняла у него пакетик и положила в сумочку.

По улице пронеслись два мотоцикла, потом пошли танки, распирая грохотом улицу. И вновь стало слышно шоссе, к которому, привыкнув, перестали было прислушиваться.

Мать подошла к окну:

– Зачем я потащила вас сюда? Вот люди уехали. Алеша молчит, а я вижу. Что же я могла сделать, детки? И про Москву так говорят…

И она заплакала, убито, беспомощно, как плачут по умершему.

– Детки мои, вот и нет вашей жизни, ничего нет.

– Нигде они не будут, ни в Москве, нигде… Увидишь, как их попрут! – бессвязно заговорил сын, начиная постигать всю беспощадность того, что вломилось в их жизнь.

Стены дома внезапно вздрогнули от тяжелого взрыва. Еще и еще. Быстро вошел хозяин, за ним вскочил в хату Алексей и сообщил:

– Начался бой.

До самых сумерек грохотало за лесом. Деревня, которая недавно так беззащитно лежала перед пришельцами, сразу стала иной: люди перебегают улицу, шепчутся, на лицах тревога и надежда.

У Порохневича собралось несколько соседей. Двоих Толя знает. Высокий – Голуб, который когда-то Толе казался таинственным хозяином уходящей на Москву дороги. Когда этот человек тяжело шел по обочине или возился со щебенкой, Толя подбегал и смотрел. И то, что Голуб всегда молчит, было понятно: он молчит не один, а вдвоем с дорогой. Иногда появлялась другая фигура. Тяжело переломившись, длинный Голуб сдвигал песок к асфальту, а рядом по-воробьиному прыгал маленький человечек Повидайка и все что-то рассказывал. Лопата у этого человечка не для работы, а чтобы проделывать с нею разные штучки: быстро-быстро ковырнет что-то под ногами, потом

обопрется на лопату, затем откинет ее за спину, вскинет на плечо, снова опустит и снова ковырнет песок.

Сегодня Толя впервые рассмотрел Повидайку вблизи. Если на угловатом лице Голуба кожа темная, точно дубленая, то у Повидайки личико как у младенца. Странно видеть на нем седую щетину.

Соседи дымят махоркой и ждут. Говорят, машин на шоссе уже нет, поток их вдруг иссяк. Порохневич уходил куда-то и принес сведения: наши вышли из лесу и оседлали шоссе у моста. Мужчины стали рассуждать, нарочно или не нарочно сюда впустили немца. Еще недавно людям казалось непоправимой катастрофой то, что немцы уже здесь. А теперь радовались снова – каждому взрыву, каждой пулеметной очереди.

– Слышите, слышите? – спрашивают по очереди.

Если человек, счастливый своим завидным здоровьем, вдруг узнает, что он опасно заболел, он испугается, падет духом. Но наступит малейшее улучшение, и человек в этот миг будет более счастлив, чем когда был совершенно здоров. Вот такой короткой, но острой была радость и этих людей, которые еще утром считали, что случилось непоправимое. И ведь не знали они, чьи это пулеметы там беснуются, чьи снаряды рвутся. Радовались уже тому, что идет бой. Главное, чтобы не было тишины, чтобы не думалось: "Вот и все".

– Вот и все, – именно так и сказал Порохневич, когда бой притих. Лишь шуршит что-то вдали, точно по жести щебенку ссыпают.

– Автоматы, – сказал Алексей.

Последние несколько взрывов, и – тихо, тихо. Опять надвинулось то, что, казалось, отступило.

– А может, наш верх! – не сдавался Толя.

Порохневич проговорил:

– Машины опять идут.

– Все бы так держались, – будто споря с кем-то, отозвался Алексей.

Повидайка подхватил:

– Против русских могут только немцы, они народ техничный. Даже японцы, знаешь-понимаешь, не то. А вот глядите: в одна тысяча девятьсот пятом была война, потом – одна тысяча девятьсот четырнадцатый, а теперь тысяча девятьсот сорок первый. И там и тут, знаешь-понимаешь, кругом – пятнадцать… А когда еще будет пятнадцать: тысяча… две тысячи…

– Ну ты, "знаешь-понимаешь", – оборвал его хмурый Голуб, – помолчи.

– А какая польза? – тихо сказала о своем тетя Поля. – Побили их, а у каждого где-то мати.

Заговорил Порохневич:

– Голову сложить – дело не хитрое. Повидайка правду говорит: с немцем надо умеючи воевать. А кому тут воевать! Напекли лейтенантиков, вроде нашего Сашки. Им еще за гусями ходить. Мосты и те не пожгли, а их у нас по два на километре.

– Не трогай Сашу, – строго поглядела на мужа тетя Поля, – ты не знаешь, что с ним сейчас.

Но Порохневич как-то напрягся весь, худые щеки покраснели, он уже кричал:

– А где те, что гражданскую делали и все другое? Черт знает что! Мой начальник – пока сам цел был – говорил на совещании: теперь такое время, что мы должны подбирать кадры не по делу, а по надежности. Такой вот и спрос с них теперь. А шпионы-то настоящие целы, пстрыкают ракетами. Вот вам!..

Ишь ты – "вам"! А ты теперь кто? Думаешь, что всему конец. Вот ты когда раскрылся! А еще говорили, этот Порохневич партизаном был.

Уже с неприязнью глядел Толя на сухолицего человека с жесткими черными волосами, которые будто в самую кость вросли. Он лихорадочно готовил горячие и торжественные, как клятва или проклятие, слова, которые он сейчас скажет этому человеку. Но Толю опередила мама:

– От этого, Лука Никитич, не легче, кто бы там ни был виноват. Учили, учили детей…

Но Порохневича будто подменили. На его костистом лице, перечеркнутом прямыми черными усами, все перекосилось.

– Кричали: мы, мы, у нас – то да се. Где все это?

И этот человек, всегда казавшийся таким сдержанным, свирепо и грязно выругался и ушел, хлопнув дверью.

Голуб крякнул.

– Ну, я это… пойду.

За ним потянулся было Повидайка, но у порога задержался.

– Две тысячи сто девяносто третий.

Никто не понял.

– Тоже, знаешь-понимаешь, пятнадцать.

– Ты хотя эту переживи, – буркнул Голуб, – а то считает…

Перед тем как перебираться в поселок, мама сходила туда сама. Вернувшись, устало рассказывала:

– Зашла в аптеку, там один чемодан поставила, чтобы не держать все дома. Где там! Даже аптеку разграбили. На полу – столько всего. Из города я медикаменты как раз привезла. Начали немцы, а кончить нашлись и наши.

Толя не мог не взглянуть на Порохневича. Ну, конечно же, думает: "Вот вам!" Этот человек как бы присматривается со злорадством к тому, что делается, и можно думать, что он доволен, если подтверждается его какая-то нехорошая мысль.

– Одного даже застала, – продолжает свой рассказ мама, а Толя уже и на нее злится. – Этакий дубина, десятиклассник, ползает по грудам лекарств и пакетики разрывает. Я ему: "Что ты тут потерял? Думаешь, они тебе привезут?" Ухмыляется – дурак дураком…

– А что, немцам оставлять? – не выдержал Толя, заметив противную усмешечку Порохневича.

– Какие же вы все дурные – молодые, – сказала мать. – Теперь-то и насядут болезни. Немцам что? Болейте, помирайте. Не знаю, пригодится ли, а кое-что я отобрала, что отличить можно было.

Это похоже на практичную маму.

В тот же день пошли домой. По шоссе, не сбавляя скорости, непрерывным потоком мчатся машины с удлиненными радиаторами или совсем тупорылые. Эти непривычно безносые вот-вот, кажется, кувыркнутся через голову. Па кабинах и капотах машин – красные полотнища с белым кругом, в который заключен похожий на паука черный крест-свастика. Для своих самолетов, наверное. А наших, выходит, не опасаются. Почему? В кювете лежит наша полуторка, ее, говорят, догнал первый танк и просто столкнул с шоссе. Пугающе желтеет свежий холмик земли. По белым от пыли канавам и между придорожных деревьев идут люди. Их много, они какие-то пришибленные. Кажется, что ночью во время сна чья-то чудовищная рука сгребла людей с огромной территории и швырнула их на землю – и вот те, что уцелели, разбредаются, сами не зная куда. Упоенные успехом, первые немцы не обращают внимания даже на людей в полувоенной одежде. Немцы спешат в Москву.

В поселке

Участники событий, конечно, воспринимали и осмысливали происходящее непосредственно и узко; события несли их в своем потоке, и каждому видны были лишь ближайшие волны этого потока, хотя каждый жадно стремился заглянуть как можно дальше.

Те, которых мчали моторы к сердцу Советской России – навстречу гибели, верили в своего фюрера, как верят, вынуждены верить разбойники в удачливого, всех подчинившего своей воле атамана, в его везучесть и прозорливость. Пока что фюрер всегда был прав и не правы оказывались те, кто принимали всерьез угрозы авторов мстительного Версальского диктата, те, кто боялись немедленной расплаты за вторжение в Рейнскую область, опасались, что Франция и Англия вступятся за Чехословакию, шептали о неприступности линии Мажино, опасливо косились на Америку, пугали русскими просторами, резервами, дорогами, партизанами. Во всяком случае, спокойнее, если веришь в кого-то самого прозорливого. Далеко заглядывать не стоит: будущее все-таки страшит. А что, если это только начало, а впереди годы и годы войны все более безнадежной, и потом – новый Версаль?.. Нет, все хорошо, русские бегут, Красной Армии уже нет…

– Wolf, wo hast du denn deine Mundharmonika? Spiel nochmal das russische Lied… "Wenn mein Liebster sagt adieu, tut das Herz, mir so weh"…

– Was für eine schöne Bruststimme hat die Kowalowa.

– Oh, Sängerinnen haben immer eine schöne Brust. Sie soll eine Deutsche sein. Es gibt ja viele Deutsche in Russland, irgendwo an der Wolga… Dort herrscht ständig Hunger.

– Wolga, Wolga, Mutter Wol-ga…

– In sechs Wochen sind wir da.

– Ist das im Kaukasus? Ich will mich wenigstens noch rasieren vor Moskau. Als wir in Paris einzogen… Na, du Schwein, schneuz dich mal bischen vorsichtiger.

– Bist selber ein Schwein, mit so 'ner Fresse willst du nach Moskau!

– Kannst dir deine Wut für Amerika aufheben.

– Hinter Moskau fängt Sibirien an. Huh, da ist's kalt.

– Sibirien schenken wir den Gelbhäutigen, den Japanern. Der Führer gibt's ihnen gern. Was anderes ist Indien. In Indien liegt Englands Kraft, hat mal jemand gesagt[1].

---

[1] – Вольф, где твоя губная гармошка? Еще разок эту русскую… "До свидания милый скажет, и на сердце камень ляжет"…
– У этой Ковалевой прекрасный грудной голос.
– О, у настоящих певиц всегда хороший бюст. Говорят, она немка. В России много немцев, на Волге где-то… У них там всегда голод.
– Волга, Волга, мать родная…
– Через шесть недель мы будем на Волге.
– Это на Кавказе? Успеть бы побриться перед Москвой. Когда мы въезжали в Париж… Свинья, знай, куда сморкаешься!
– Сам ты свинья, с такой мордой в Москву захотел.
– Побереги свою злость для Америки.

У тех, кто тащился по пыльным кюветам, у тех, кто следил за нескончаемой волной нашествия, был свой взгляд на события. Поскольку они были живы, они не верили, что это конец всему. Люди эти не полагались на чью-либо удачливость или интуицию, они только понимали, что на их стороне что-то большее, чем сила техники, и потому в глубине души верили, что дело лишь во времени. Немцы уже здесь – это непонятно, это ошеломляет. Но Россия велика, и она всякое перевидала. Это они тоже помнили, хотя, может быть, некоторые и не думали об этом, а лишь старались не поддаться первой волне, казалось, заботились лишь о том, чтобы уцелеть.

У других были мысли серьезнее: о фронте, о воинском, о партийном долге. Ручейками текли они на восток по лесным и полевым дорогам, уходили на юг, где между двумя немецкими клиньями, охватывающими Полесье, скопилось немало боеспособных советских дивизий.

В поселке – не протиснуться. Улицы, базарная площадь, школьный и больничный дворы – все запружено машинами. Оставлена только полоса асфальта, по ней в одном направлении движется грохочущий поток.

Под ногами вороха пестрых бумажек, жестянки, бутылки. На каждом шагу разделывают свиней, дымят кухни, немцы в одних трусах бреются на подножках машин, на жестяных ящиках от снарядов. И тут же неподалеку несложные сооружения: яма и доска над нею, жердочка для устойчивости. Над ямами сидят немцы уже совсем голые, одна рука на жердочке, в другой журнал с рисунками. Читают. Эти насесты везде, и, как нарочно, на самых открытых местах – прямо в окна людям.

Дико слышать среди всего такого знакомого, своего, чужую речь, которая хочет звучать по-хозяйски, уверенно.

Дедушка встретил домашних, как встречает старожил новоселов. Пояснил, как следует держаться, если *они* заходят и гергечут. Если последовать дедушкиному примеру, немцы будут очень поражены: такая большая семья, и все до единого глухари. Хорошо дедушке, он и в самом деле недослышит, ему и притворяться немного остается. Правда, дедушкина тактика не смутила немцев: они не получили "яйко", зато забрали всех несушек. Уцелела лишь наседка, упрятанная под ящик. Утром заглянул дедушка в курятник:

– За Москвой Сибирь, брр, холодище!
– Ну, Сибирь мы подсунем желтомордым япошкам. Фюрер им охотно подарит. Индия – другое дело. Сила Англии в Индии, сказал кто-то.

– Ничего не понимаю. Одни головки, а остального нету. Ну, не прохвосты ли? Поотрубили тесаками головки и положили на жердочку, каждую на то место, где курица сидела.

Оказывается, сын соседа Жигоцкого тоже дома. Он появился во дворе с лопатой, шумно поздоровался. Теперь обычное приветствие звучит: "Значит, и вы не уехали?"

На этот косвенный вопрос мама ответила тоже вопросом:

– И вы не уехали, Казик?

– Ой, не говорите, Анна Михайловна. Скорее приехал, да и то нет: притопал. От самого Вильнюса. Все, верите, чемоданы посеял. И велосипед, хороший был – сплошь никель. Как пелось: "Мы сегодня к походу готовы". Вот оно чем обернулось. Веселого в этом мало, к сожалению.

– Вы учительствовали?

– Инспекторишкой был, Анна Михайловна, ездил туда-сюда.

Когда-то он не так судил о своей должности. Во всяком случае, когда Казик приезжал в отпуск, трудно было даже определить, кем он работает. Каждый имел право догадываться, что у него где-то очень серьезная должность и очень значительная жизнь. На это умел намекнуть и папаша Казака.

Мама не то чтобы недолюбливала Казика, но всегда относилась к нему как-то настороженно. Это потому, что она терпеть не может саму Жигоцкую, у которой Корзуны когда-то снимали комнату. Толе же всегда нравилось видеть и слушать Казика. На нем был отблеск какой-то особенно интересной, нездешней жизни. И все в этом человеке особенное. Даже походка. Идет он наклонясь вперед, но как раз в меру, чтобы свободнее и шире взмахивать руками поперек хода. И этот взмах: вначале двумя руками вправо, потом двумя же – влево, не у всякого еще и получится. Толя пробовал, но от этого его походка делалась не внушительнее, а совсем наоборот: точно он водки выпил и вот-вот песню затянет. К такому взмаху рук и все остальное необходимо: рост, тонкое чистое лицо, хорошо отглаженный костюм, вежливые и при этом умные глаза. Что и говорить, всего этого у Толи не было: коротыш, голова, как большой шар, проклятые щеки, наверное, и сзади из-за ушей видны. Глаза у Толи, положим, тоже не глупые, но чтобы одновременно были вежливыми – не так это просто. Толя даже перед зеркалом тренировался: раскроет глаза широко-широко и выдавливает в них из себя всю доброту и ласковость, как из тюбика нужную краску. Глаза делаются вежливые-вежливые, но одновременно становятся такие глупые...

У Казика и это и все другое получается красиво: где бы ни остановился, достанет расческу, вскинет левую руку, а правой начесывает волосы. Проведет раз-другой и продует, проведет – продует. От постоянного причесывания, говорит он, волосы закрепляются. И это у него от культуры, а не потому, что голова грязная.

Сегодня Жигоцкий в брюках какого-то ржавого цвета, безрукавка блеклая и помятая, но в голосе, в жестах – прежняя уверенность.

– Готовьтесь, хлопцы. Скоро и вас кликнут.

– Что, куда? – конечно, пугается мама.

– Ничего страшного, – повертывая на плече черенок лопаты, бодро отозвался Казик, – к общежитию. Рабочих выселили, приказано двор подровнять. – Приглушенно предупредил: – Да вот и новое начальство.

За забором остановился коротконогий толстяк Лапов. У него одышка, и потому особенно заметно, как он старается на новой должности. Поздоровался (это директор столовой со знакомыми поздоровался) и тут же прокричал, еле видимый из-за забора (это уже голос старосты):

– Собирайтесь к двухэтажному! С инструментом, да побыстрее. По два раза просить не стану. Отвыкайте. – И уже отходя: – Они к порядку приучат.

– Идем, идем, – почти весело откликнулся Казик и тихо добавил: – Вот она, грязь земли, всплывает.

Около большого здания общежития уже собралось человек двадцать с лопатами. Вновь прибывающие неловко усмехаются, неудачно шутят и стараются побыстрее затеряться среди других.

Появился очкастый офицер, с ним меленький с наползающими на затылок плечами Шумахер – местный немец, который стал или которого сделали переводчиком. Механика Шумахера все знают, вернее, знали как человека смирного, работящего. Но это было до войны – десять дней назад.

Не поднимая глаз и ниже обычного опуская голову, Шумахер объявляет:

– Пан офицер приказал все сровнять, глину и кирпич в яму свалить – туда.

– Пан, а пан! – громко, как глухого, окликает очкастого немца старый Тит, сварливый, как баба, пенсионер. Голос у Тита неожиданно тонкий: немец даже вздрогнул. – Пан, Москва что, а?

Немец махнул рукой:

– Москау капут, – и еще что-то по-своему.

Казик подтолкнул локтем Толю. Когда отошли в сторону, сказал:

– И откуда таких понабралось? Этот старик, говорят, за ящик конфет подрался с какой-то бабой.

Казик шумно и энергично то к носилкам приступает, то за лом хватается, но ничего не делает. Молодец, этот немцам не слуга. Глядя на него, Толя совсем было уселся на груду кирпича, но Алексей поднял его: очкастый смотрит.

Кое-как двор пригладили. Разрешено было расходиться. На базарной площади, заставленной машинами, людей остановил молодой прыщавый немец. Он что-то заорал, стал хвататься за кобуру. По всему видно было: молодец этот пьяно негодует, что есть на земле вот эти люди, на которых он набрел. А люди стояли и переглядывались, некоторые старались обойти его, уйти: перед ними было непонятное существо, которое зачем-то надо видеть здесь, у себя дома. Неизвестно, какие повадки у этого существа, что оно способно сделать в следующий миг.

Разминулись кое-как, но тут же появился другой.

– О, арбайтен, гут, гут! – воскликнул щуплый немчик, чем-то очень довольный. И тут же, точно повстречавшиеся ему люди и на свет родились для того, чтобы выполнить его распоряжения, он стал делить: цвай – сюда, драй – туда и еще драй – туда. Кого – ящики с машин стаскивать, кого – солому сваливать. Заметил и Толю, обрадовался, будто знакомого встретил. – Ком, ком, – и пошел впереди.

Толя вынужден был брести за ним. Немчик указал на старый веник – Толя поднял. В Толе все бушевало: злость, слезы, стыд. Он уже догадывался, куда его ведут, и думал лишь об одном: смотрят ли вслед им? Пришли к дощатой уборной, немчик показал и неодобрительно скривился: не гут! Первое побуждение – побыстрее прикрыть за собой дверь. Но это уже и совсем глупо: знают же, кто за дверью прячется и что делает там. А ведь Толя и не собирается ничего делать. В дверную щель он видит, что к немцу подошел еще один, остановились и уходить не думают. Не сидеть же здесь вечно, а чистить – дудки, сам! Э, да это же двойное помещение, можно перемахнуть через невысокую стенку и выйти в противоположную дверь.

До забора Толя отходил не дыша, сердце стучало где-то в глотке. А скрывшись за забором, даже присвистнул злорадно. Иди, принимай работу!

Объяснив маме, где задержался Алеша, Толя уселся на завалинке послушать, что рассказывает соседка Надя. Толя знает, что семья

начальника гаража уезжала в беженство. И вот, пожалуйста, Надя уже здесь. Она очень похудела, скулы почернели, отчего лицо ее стало совсем мальчишеским. Волосы только что вымыты, косы – короной. Энергичная и решительная в каждом движении, Надя выглядит очень молодой, хотя ей уж под тридцать и у нее двое детей. Скуластое лицо ее грубовато, но при улыбке оно делается даже красивым: у рта неожиданно вспыхивают лучистые ямочки, а темные глава становятся озорными. Но нет улыбки – и лицо ее снова тяжелеет, грубеет.

На вопрос о муже сказала непонятно безразлично:

– В пледу иди в примах. Видела я, как бабы за сало выручают себе примаков. Ищет своего, да и выручит пятерых. Какой-нибудь пригреется. За золото профессора можно в мужья добыть.

Деланная усмешка вдруг сошла с лица женщины, глаза углубились, стали совсем черные.

– Пленные – страшно. Как они могут так с людьми, Анна Михайловна?

– Что я, Наденька, знаю? Знаю только, что в плохое время дети жить начинают. Учились, учились…

– А наши-то? Бегут, а нам вот, бабам, теперь с глазу на глаз с этими. Ну, пусть мой только вернется!

Угроза прозвучала так наивно-серьезно и искренне, что мама рассмеялась:

– Чудная ты, Наденька.

Взбивая густую пыль, на обочину съехало с десяток машин. Пососкакивали немцы и расположились под соснами, густо усыпав серую траву. Один, кажется, направляется сюда. Нет – мимо. В палисаднике тревожно, будто хоря почуяв, закудахтала последняя хохлатка. Немец повернул назад. Надя с выжидательной усмешкой, а мама с напряженно-серьезным лицом (оно у нее теперь постоянно такое) следили за ним.

Скользнув стеклами пенсне по лицам женщин, немец поднял с земли кусок доски и вошел в цветник. Ход мыслей человека в мундире не был, кажется, тайной для хохлатки, возможно; тут действовал какой-то вековой куриный опыт, только хохлатка сразу же забралась в сиреневую чащобу и затихла, будто и нет её на свете, будто ее уже съели.

Но у человека в блекло-зеленой шкуре был свой опыт. Он присел, вгляделся и начал действовать доской. Немец добился своего, выгнал птицу, и теперь она носилась от забора к стене и обратно.

Вспотевший немец снял пенсне, протер стекла, видимо, тоже вспотевшими пальцами и тайком взглянул на женщин, молча наблюдавших. Снова принялся за дело, но уже как-то нехотя, вынужденно. Другие немцы смотрят сюда, и странно: ни одной шуточки в адрес своего камрада. Их, кажется, интересует только результат. Камрад все более неохотно занимался своим делом, лицо его постепенно темнело, а за стеклами мелькало что-то похожее на смущение. И кажется, человек этот все больше и больше начинал замечать двух женщин, которые с интересом смотрели на него. Видимо, на какой-то миг исчезла в его сознании та пропасть, которую вырыли между ним, немцем, и всеми остальными людьми. Теперь здесь был обыкновенный хозяин велосипедной мастерской, отец троих детей-школьников, приличный немецкий горожанин, который если когда и поднял яблочко под магистратными насаждениями, то лишь для того, чтобы обтереть его и положить на более сухое и видное для садовника место. И вот он на глазах у хозяев ворует их собственность. Немец из-за плеча еще раз взглянул на женщин. Одна из них, белозубая, с косами, поймала его взгляд и улыбнулась нагло и поощрительно: ну, ну, продолжай. Краска смущения сменилась багровостью. Немец заорал что-то, размахивая длинными руками.

– Идите в хату, Толя, Нина, – конечно же не забыла сказать мама.

Надя с той же выжидательной усмешкой на скуластом лице глядела прямо в пенсне немцу.

Тот вдруг швырнул доску и пошел к шоссе.

– Анна Михайловна, по-моему, мы победили? – весело спросила Надя.

"Моральный контакт"

Жизнь в поселке замерла. И каждый день, казалось, что-то обламывалось, рушилось, как это бывает в опустошенной пожаром коробке многоэтажного дома. Людей сковывало тяжелое чувство оторванности от того, что все дальше уходило на восток.

Рабочие теперь каждый день собираются под соснами возле заводского клуба: покурить из десятых губ, словом перекинуться. По шоссе идут и идут машины, хотя уже и не так, как в первые дни.

– Да, – произносит жилистый шофер с удивительно крупным и, наверное, очень твердым кадыком. Это брат Сеньки Важника. Проводив глазами дымную колонну дизелей, выплюнул горящий уголек, оставшийся от цигарки, и поднялся. – Со всего света.

– Не наши полуторки.

Про полуторки сказал заводской слесарь Застенчиков. Он один тут в кепке: опасается показывать немцам свою стриженую "солдатскую" голову. Большой козырек мельчит и без того не крупные черты его бледного, нервного лица.

– Расскажи, Застенчиков, как повоевал, – попросил Сенька, глядя в небо.

Сенька и теперь не теряет спортивного вида, ходит в футболке, белых тапочках. Только все движения у него с какой-то ленцой, на загоревшем лице – апатия. Он всех лениво, но зло поддевает, язвит без конца. Странно, что он так быстро приблизился к взрослым. А когда-то Толя почти дружил с ним. Сенька наведывался за книгами. Признавал лишь Дюма, Жюля Верна и романы, у которых давно потерялись обложки. Он всегда командовал, даже парнями старше его по годам. Те, которые ходили с ним на рыбалку, рассказывали на зависть другим, как "рыбный атаман" ночью устраивал им "Владимирово крещение": загонял палкой в холодную темную воду.

Теперь Сенька просто не замечает таких, как Толя.

– Расскажи, – упрашивает он Застенчикова, усмехаясь прилипчивыми голубыми глазами.

Застенчиков предпочитает отмалчиваться. Но Сенька не скоро отстанет.

– Надолго у командира отпросился?

– Ты бы попробовал, это не акробата в клубе ломать, – не выдержал, отбрехнулся Застенчиков, нервически морща прозрачный, будто из целлулоида, нос.

– Ну, как же, там же стреляют.

Недружелюбный смех взорвал Застенчикова.

– Попробовал бы сам с трехлинейкой против брони. Прет немец, а мы не оборону занимаем, не закапываемся, а навстречу ему – шух, аж до самой Лиды. На дороге он нас и встретил. В обозе нашем снарядов кот наплакал, зато брусья и "кобыла" для таких спортсменов, как этот. – Застенчиков одарил взглядом невозмутимого Сеньку. – Видим, колонна немцев пылит. Лежим в канаве, посоветовались: помашем, позовем, пускай идут сдаваться. Поднялись: "Ком, ком, товарищи!" Как врезали нам…

Босоногий мальчуган, всаженный в батьковы штаны, как в мешок, авторитетно поддержал Застенчикова:

– Самый главный командир Павлов приказал танки и самолеты разобрать и бензин вылить, всех командиров в гости к себе собрал, а немец взял и напал.

Сенька отметил:

– И этот с Застенчиковым Лиду брал.

– Пшел спать, – щелкнул мальчугана по лишаистой голове Коваленок. Он тоже вернулся "оттуда", его тоже окружили. Но этого парня с девичьей талией и всегда веселыми глазами не поддевают. "Разванюшу" (так все называют Ивана Коваленка) не смутишь. А может быть, потому не трогают его, что он не оправдывается и не говорит о том, что все и сами хорошо видят: о силе врага.

– А броня у этих не очень, – неожиданно произносит Разванюша, провожая взглядом броневики.

– Пробовал?

– Нет… так.

– Поздно прикидываешь, под Смоленском уже.

Только что пришагавший рыжий грамотей Янек возразил, смущенно моргая:

– Еще только Рогачев взяли. В их газетах пишут.

– Ну, а мало оттяпали? За Днепром уже. Во, сколько отпускников дома загорает!

Угрюмый брат Сеньки Важника сунул свои большие ступни в "трепы" – деревянные рабочие "босоножки" – и сердито закончил:

– Прут, и все тут. Нечего дураков тешить.

В голосе человека звучало злое отчаяние, похожее на неверие тяжелобольного в хороший исход болезни, отчаяние, рождающееся от мучительного напряженного желания и ожидания такого исхода.

Особняком от всех сидят двое с мешками, жуют.

– Откуда, туристы? – переключился на них Сенька.

– Мы, ребятки, из Западной идем, из заключения, – быстро отозвался широкобородый старик и ловко, почти не отрываясь от земли, передвинулся поближе. Молодой остался на месте.

– Освободили вас, значит? – поинтересовался Сенька.

– Выходит, браток.

– От своих вызволили, вот, – издали угрюмо бросил молодой.

– Поздравляем, – сказал Сенькин брат и, стуча "трепами", потянулся на сигаретный дымок к другой компании.

Будто оправдываясь и одновременно враждебно широкобородый послал вслед ему:

– На пять минут опоздал – судили. Разве это порядок – так делать?

– Ну, а чем вы там занимались?

– В Западной-то? Укрепления строили.

– Ну-ну, – что-то разрешая Сенька Важник.

– А что вы тут язвите? – вдруг вмешался Леонович-младший. – Вот твоего бы туда батьку, посмотрел бы я, как весело тебе было бы.

Тощие хохлатые братья Леоновичи, как обычно, сидят рядышком.

– А кто тебе сказал, что мне теперь весело? – спокойно отозвался голубоглазый Сенька. – Это ты веселись, придет батя.

– Я не про то, – замялся Леонович, вертя больной, вечно забинтованной шеей. Но тут же еще больше вскипел: – До войны ты с нами и знаться не хотел. "Враги народа!"

– И теперь я тебя не желаю знать.

– Хорошо-о мы вас понимаем! – уже с открытой злобой кричал Леонович, хватаясь за грязный бинт. Старший Леонович одернул брата:

– Ладно тебе.

У себя во дозоре Толя столкнулся с Порфиркой. Бывший завхоз больницы ходит теперь с винтовкой. Один глаз под черной повязкой, отчего второй – какой-то подсматривающий. Здоровым оком Порфирка скользнул по окнам, потом что-то холодное проползло поперек Толиного лица. Заметив в окне маму, которая, отстранившись, наблюдает за нам, Порфирка нехорошо усмехнулся и завернул в сени, предоставляя Толе закрывать за ним дверь. Не здороваясь, сообщил:

– Новинского поймали.

Он словно ожидал, что этой вести обрадуются. Но хозяйка даже да поняла.

– А куда он убегал?

– Никуда. Он не мужчина, а баба – тайным агентом был.

– Так ведь все знают, что Новинский – женщина. Вы же работали в больнице, должны помнит. Больной человек. Ваня его… эту женщину лечил. В ту войну она санитаркой была, контузило, вот и осталась мания одеваться мужчиной. – Мама говорила, волнуясь: – Вы объясните им, Порфирий Македонович. Это же ни для кого не тайна.

– Ого, – ухмыльнулся Порфирка.

Казалось, даже повязка на правом глазу чернела издевательски. Повернулся к двери и приказал:

– Всем быть около школы. Ясно?

Порфирка ушел. За окном проплыла вытянутая крысья мордочка. Паскуда! Странно, что этот немецкий шпион и теперь носит черную повязку.. Толю совсем не удивило бы, если б обнаружилось, что у Порфирки цел и второй глаз. А что он был шпионом – об этом все говорят. Старый Жигоцкий вспоминает, что за две, недели до

начала войны Порфирка приходил покупать мед – и все заводил разговор о каких-то больших переменах, радость из него так и перла.

Мама пошла, куда приказал Порфирка. Толя сразу шмыгнул следом.

Посреди школьного двора иглой стоит пионерская мачта над трибуной. Еловая жердь снизу вытерта детскими руками до костяной желтизны.

Собравшиеся – это заметно – не понимают по-настоящему, что здесь должно произойти. Хлопцы переглядываются. Новинского все хорошо знают. Толиным однолеткам этот морщинистый чудной человек когда-то казался немного колдуном, особенно когда он выходил из лесу со стадом коз. Козы бегали за ним, как собаки, даже в магазин. Детям Новинский всегда улыбался ласково, по-старушечьи, но они, чувствуя какую-то тайну, сторонились его, поддразнивая издали.

Почувствовав, что толпа зашевелилась, Толя постарался протолкаться к трибуне. При этом он с опаской поглядывал, нет ли поблизости мамы.

Из школьного сарая вывели человека, зябко кутающегося в зеленую плащ-накидку. На морщинистом желтом лице человека – стеснительная, виноватая улыбка. Порфирка толкнул его к ступенькам, ведущим на трибуну. Наверху, опершись о мачту, поджидает их высокий офицер. Бросается в глаза крупный перстень на его тонком пальце. С ним еще двое – в штатском. Пока человека в плащ-накидке подталкивали вверх по ступенькам, офицер достал книжечку и стал что-то вычитывать. Потом повернулся туда, где толпа была гуще. Понимающе улыбаясь и, видимо, рассчитывая на ответные улыбки, он начал:

– Мы будем иметь с вами, как по-русски говорят, – офицер заглянул в книжечку, – мужской разговор. Русские граждане, провидение вложило в руки фюреру меч против большевистских варваров и англосакских плутократов. Некто из вас думает: поживем – увидим. Так по-немецки нельзя. Место в новой Европе будет иметь только тот, кто с нами будет иметь моральный контакт. Мы желаем иметь с вами моральный контакт. Вам надоели большевистские эксперименты и, – офицер поднял глаза, – агенты. Их вы нам покажете, а пока мы вам одного покажем. Гут? Добре?

Офицер поглядел на толпу, потом на тех в штатском, что стояли рядом с ним, и улыбка сползла с его лица, как кожица с гнилого яблока. Лицо пожелтело, в глазах промелькнула растерянность.

Люди внизу угрюмо молчали.

Офицер потянул к себе женщину, жалкую, безучастную, и стал, выламывая руки, срывать с нее грязную хламиду. Порфирка бросился помогать.

Толпа сжалась, как сжимается от боли тело человека. По глазам ударила желтая нагота дряблого старушечьего тела. Лицо жертвы выражало даже не страх, не боль, а одно лишь огромное непонимание. Офицер оттолкнул старую женщину к Порфирке и торжествующе оглянулся, как фокусник, уверенный в эффекте. Но внизу угрюмо, тяжело молчали. Офицер виновато взглянул на немцев в штатском и с торопливой злобой выхватил из-за широкого голенища резиновую палку. Хлюпнул удар по человеческому телу. Толпа отшатнулась. Отвратительный и страшный звук раздался еще и еще раз в такой тишине, что, казалось, можно было слышать, как вверху по твердой, глянцевой синеве скользят грязные облака.

Офицер злобно и растерянно глядел вниз, будто не эта старая больная женщина, а он сам стоял голый перед сотнями человеческих глаз. Он еще раз ударил свою жертву по дрожащим рукам, крикнул что-то и сбежал вниз. Женщине набросили брезент на плечи, солдат и Порфирка потащили ее по ступенькам вниз. Испуганно тараща на людей злобный глаз, Порфирка тянул женщину за руку к сараю, сзади ее прикладом подталкивал солдат. Женщина бежала за Порфиркой и старалась ступать на пальцы: ногам было колко. Ревматические, с синими венами ноги ступали по земле, как по жаровне.

Вечером стало известно, что женщину расстреляли в лесу. Казик, сообщивший это, сказал:

– На низменных инстинктах стараются играть. Заметьте. На том и хотели бы установить, как тот офицер выразился, моральный контакт.

Казик – учитель истории, он умеет все объяснить. А Надя более по-женски увидела:

– А как отшатнулись люди, когда он ударил. Вы видели, как все вместе отшатнулись от трибуны? Немцы даже растерялись.

– Они дураки, русской истории не знают, – опять перехватил разговор Казик. – Вера Засулич полгода охотилась за градоначальником Петербурга и стреляла в него за то, что он приказал высечь заключенного. А заключенного она даже не знала.

Мама увидела все совсем просто:

– Несчастная женщина.

То, что произошло на школьном дворе, оказывается, и есть "новый порядок". За малейшую провинность человека тащат в комендатуру и там бьют "гумой" – проволокой, обтянутой резиной. "Гума"

служит не для наведения порядка военного времени. Для этого имеются средства более решительные. В приказах с черным орлом каждый абзац заканчивается словом "расстрел". "Гума" же, видимо, является чем-то привычным для самих немцев, как надпись "Курить воспрещается" или "Не сорить".

Немецкие солдаты, которых офицеры били по щекам, сочувствия не вызывали. Этому Толя не удивлялся. Он сам на таких немцев смотрел с мстительным злорадством: вот вам за то, что вы так охотно воюете!

Многое ему передавалось от взрослых. Дума о немце-товарище держалась в людях даже после того, как увидели немца-оккупанта у себя дома, самодовольного, безжалостного. С какой надеждой передавали, что в неразорвавшейся бомбе обнаружили записку: "Чем сможем – поможем".

Значит, есть те, в кого столько лет верили!

Постепенно ожидание сменилось разочарованием, злой насмешкой и обидой. Потом остались лишь ненависть и презрение – круг сомкнулся, как зеленый глазок в радиоприемнике, когда он настроен на одну волну. Но временами, и как-то очень легко, в этом глазке снова образовывался разрыв, и в него прорывались иные звуки. Довоенная, казавшаяся теперь наивной, простецкой, надежда на немца-рабочего, оказывается, не умирала: она жила где-то глубже, как внутреннее чувство. И хотя это чувство вроде бы не излучало ни тепла, ни света, оно сохранялось, как уголек под пеплом. Малейший повод – и оно снова и снова вспыхивало.

Отец Казика рассказал однажды:

– Старуха моя – не вам про нее говорить, пожили с ней, знаете, стала большевиков ругать. Поддобриться к нашему немцу захотела, холера ее знает? Немец слушал – он немного разумеет по-польски, – слушал, а потом – хвать газету, порвал и сует всем по клочку. Соседка как раз сидела у нас – и ей. И кричит: "Коммунист, Москва, форштейн?" Всем, дескать. Потом вырвал бумажки из рук – бабы даже перепугались, – сгреб к себе: "Фашист, капиталист, розумешь, пан?" Да за манатки свои и дверью – хлоп. Не знаем, что и думать. Может, проверял, а может, и по-другому надо понимать.

Вот он, *тот* немец! Толя восторженно глядел на всех, на просветлевшие лица, и ему почему-то хотелось сказать: "Ага, что я говорил!"

– Да, но что из того? – как бы стремясь зачеркнуть Толину радость, промолвил Жигоцкий. – Во-он они где уже. А этот сгоряча брякнул, а теперь, понятно, жалеет, боится.

Еще бы, перед кем бисер метал! Разве Жигоцкие поймут? А та старая ведьма – ох, как в эти минуты ненавидел ее Толя! Он вдруг почувствовал стыд перед *тем* немцем, хотя никогда в глаза его не видел. Каково было немцу, сохранившему в таких испытаниях свою веру в Советский Союз, слушать все это здесь!

В знойный пыльный день во двор к Корзунам завернул старик с тощим мешком за плечами – из тех, которые все еще куда-то бредут по дорогам. В окно Толя видел, как тяжело ступает босыми ногами уставший дед. Он весь пропылился, мешок измаслен по́том. Старик вошел в сени и пропал: не заходит в дом и не выходит назад. Мама открыла дверь:

– Заходите, дедушка, как раз картофельные драники заделала.

Мама теперь готовит завтраки и обеды в больших чугунах и кастрюлях: и на таких, как этот дед.

Дед все не входит, в темных сенях по-молодому блестят веселые глаза. Мама, раскрасневшаяся у печки, встревоженно обрадованно всматривается в лицо незнакомца.

– Входите, никого чужого.

– А она гостеприимна, как всегда. Все еще не узнаете? А я не раз переступал этот порог.

И вот незнакомец уже сидит на диване, и видно, что отдыхает не только ногами и спиной, но и лицом: складки тупой усталости и безразличия, которые так старили его, когда он шел через двор, разгладились. Несмотря на черную, окладистую бороду, лицо его, оказывается, совсем под стать молодым веселым глазам.

Бородач поднялся и стал рассматривать фотографию отца. Ему известно, что отец успел эвакуироваться из Бобруйска, а потом из Гомеля вместе с аэродромом. Почему не уехал, как остался: он сам – не говорит.

Мама поведала незнакомцу тревожную семейную тайну:

– Тут прошел слух, что Ваню немцы казнили. Есть такой Пуговицын, так ему его шурин сказал – он из плена прибежал, – что сам видел, как… Я ходила к тому Захарке. Будто бы Ваня немецких офицеров отравил, они его и… Но я не верю этому Захарке.

– Да, в голод намрутся, а в войну наврутся.

И Толя не верит. Но когда пошли разговоры, и мама по ночам тихонько плакала, он тоже глотал слезы, отвернувшись к стенке, чтобы брат не слышал.

Чернобородый вдруг спросил:

– Захарка – это фамилия? Помнится мне такая. А тот – Пуговицын? Гм…

– Захарка на спиртзаводе фельдшером работал, а Пуговицын был тут в поселке заведующим заводским складом, а теперь в полиции.

Чернобородый незнакомец промолчал, потом промолвил:

– Время, что и говорить. Знаю только, что Иван из тех, кто крошатся, но не гнутся.

Такие разговоры про отца заставляют Толю внутренне дрожать от гордости за него и от какой-то запоздалой, виноватой нежности к отцу. Но слухам про отравленных офицеров и про расправу над отцом и он не верит. Не верит потому, что вообще не может представить его в плену – опустившимся, жадно-голодным, избиваемым. Нет, у него сразу бы вспыхнули бешенством глаза, и все было бы кончено. Как мог бы он войти в доверие к тем офицерам: ни ловчить, ни приспосабливаться он никогда не умел! И в большом и в малом отец всегда был одинаков.

В Толино воспоминание прорвался голос незнакомца:

– Помню я этого Захарку и, кажется, Пуговицына. Не верьте ни единому их слову. Ваня знал... Помните, у него были неприятности. Я тогда еще в райисполкоме работал, и у меня про Ваню спрашивали.

– Вот оно что! – протяжно проговорила мама. – Ваня мне и говорил, что заявление писали двое. А кто – не сказал.

Папа был очень мягок с людьми: "голубка", "голубчик". Но он мог быть и неожиданно резким. Однажды Толя повстречался ему на базарной площади. Папе нравилось бывать на людях с Алексеем или Толей. Маме он говорил:

– Ты посмотри на них – догоняют уже батьку!

Дома это было еще терпимо. Но не на базаре же мериться! Толя, смущенный и сердитый, вывернулся из-под руки отца и постарался поскорее отойти с ним от товарищей. Как всегда при врачебном обходе поселка, в руке у отца была глянцевитая палка, которую он в такт ходьбе перекидывал через руку, будто дорогу вымеривая. У сельмага отца остановил бритоголовый Пуговицын. Было заметно, что он сильно угостился: круглые глаза его выражали попеременно то пьяное умиление, то беспричинную обиду. Насаженная на тонкую шею, по-птичьи вынесенная вперед голова его описывала весьма заметный круг, но ноги стояли крепко. Пуговицын стал невразумительно благодарить отца за то, что он, Пуговицын, ходит по земле, хотя мог бы удобрять ее собой, не будь в поселке такого врача. (Пуговицын перед этим тяжело болел.) Морщась, отец сказал:

– Хорошо, голубчик, живи здоровенький. Поспи пойди.

И повернулся уходить.

– А-а, я, значит, пьяница? А ты? Женушка кто у тебя? Из кулачков… То-то же! Думаешь, не знают… люди?

Отец круто обернулся, глаза у него страшно остановились. Пуговицын, сразу протрезвевший, отшатнулся от поднятой палки. Забыв про Толю, отец быстро пошел прочь.

Женщины, которые толпились у базарных рядов, не поняли, что произошло, но они знали врача и потому дружно набросились на Пуговицына:

– Залил очи.

– Надо же, до того человека довел, что палкой, как от собаки…

– Мало доктор к тебе бегал?

Но женщины тоже были смущены. Чтобы Корзун, который к больному чуть ли не в белье среди ночи спешит, мог вот так, палкой?

– Подумаешь, цаца! – отбиваясь от слов женщин, крикнул Пуговицын. Но лицо его выражало совершенно трезвую растерянность.

Все это промелькнуло у Толи перед глазами, пока незнакомец изучал фотографии, а мама готовила ему поесть. Меньше всего Толя мог думать, что именно в этой комнате он еще увидит Пуговицына, вот так же рассматривающего папин портрет.

Слушая веселого незнакомца, мама и сама будто вернулась в довоенное. Как-то очень молодо улыбается, в голосе звучит чистая, звонкая струна. Кажется, вот-вот откроется дверь и войдет приехавший на воскресенье отец…

Но Толя хорошо помнит, какое теперь время, и не отходит от окна. Чернобородый заметил это и понимающе подмигнул Толе, заставив его покраснеть от удовольствия. Толя был уверен, что он охраняет не совсем обычного окруженца. За последнее время пришлось ему видеть немало людей, напоминавших о довоенном, о том, что ушло, отступило на восток. Однако те люди были лишь осколками чего-то дорогого, но растоптанного. А в этом незнакомце все было иным, и сам он будто прямо пришел из прежней жизни, и все в нем говорило о довоенном, как о чем-то существующем, и не только там, на востоке, существующем, но и здесь, везде, где есть наши люди. Человек не произносил ободряющих слов, но его спокойное и слегка ироническое отношение к немцам, которые столько дней обдавали его пылью, весело-синие глаза, в которых таился намек на то, о чем говорить нельзя и нет нужды, – все это возбуждало восторг и чувство влюбленности, которое Толя легко дарит людям волевым, сильным и обязательно замкнутым.

Прощаясь, гость сказал маме:

– Не будем терять из виду друг друга. Я еще надеюсь посидеть за этим столом с Иваном Иосифовичем. О медикаментах договорились. Берегите себя и детей.

Мама вышла за ним в сени. Вернувшись, увидела сияющее лицо младшего и многозначительное, нахмуренное – Алексея. Сказала, как о чем-то совершившемся:

– Ну, вот…

– Я его помню, – вдруг заявил Алексей. – На машине из города все приезжал. Денисов? Он?

Семья растет

В один из летних дней появилась мамина младшая сестра с Павлом – мужем. Она росла вместе с Толей и Алексеем, и потому они всегда называли ее просто Маней.

Переступив порог, Маня беззвучно заплакала, худенькое веснушчатое личико ее по-детски беспомощно перекосилось.

– Оленька утонула.

– Ой, что вы! – испуганно воскликнула мама. – Как же это вы?

– Мост был подпилен, а наша подвода первой шла, пока добежали, достали… – объяснял Павел.

– Это он все, эвакуироваться, ехать…

– Ну побили бы нас дома, – быковато насупившись, отстаивал свою правоту муж.

– Мы все живем, а Оленька…

– Еще неизвестно, что будет, – с ненужной настойчивостью продолжал возражать муж. Подвижные желваки и крючковатый нос выдают в нем упрямца.

Мама с упреком оборвала его:

– Перестань, Павел.

Потом тихо сказала, видимо, про свое, затаенное:

– Неизвестно, где убережешь.

– Правду говорите, милочка, – подхватила соседка Любовь Карповна, которая первая увидела гостей и зашла вместе с ними. В каком-то горестном упоении она пропела: – Еще, может, мертвым завидовать придется, как в старых книгах сказано. Бог знает, где мой Витя теперь. Сколько этих эрапланов сгорело!

Слеза повисла на щеке у женщины, прозрачная, крупная, похожая на ее граненые стеклянные бусы.

– Сходила и я два разика в город, – продолжала в какой-то лишь ей понятной связи Любовь Карповна, – думала, возьму что на этих

складах. Люди же целый месяц тянули. Семечек только и принесла, да сахарку немножко, мокрого, с песком. Там такого наслышалась и навиделась, не доведи господь...

Маня и Павел поместились в зале. Семья собиралась, росла. И так было не только у Корзунов. Многие семьи стали больше, чем до войны. Люди гибли, но и крыш становилось меньше.

Мама, казалось, вся ушла в заботы о том, как прокормить восемь человек. Сразу увидели, какое это богатство для семьи – корова. В лесу теперь столько пастухов, сколько в поселке коров, каждый за своей ходит. Домашним пастухом сделался и Толя. Они вдвоем с Минькой хозяйничают в лесу. Тут им и прежде не было скучно, а теперь в лесу не только гнезда и грибы. На каждом шагу можно набрести на снаряд, мину, промасленную накидку, патронные подсумки. Глазастый грибник Минька и тут удачливее: обе винтовки – его находка. Толя слишком уходит в себя, как только остается наедине с лесом. Он начинает вслушиваться в тревожное гудение затерянной в лесу асфальтки, рисует радостные картины: вот он подходит к дороге, а там уже наши танки, его останавливают красноармейцы, расспрашивают про поселок, про немцев...

И теперь, как прежде, у Толи с Минькой все тайны общие. Все, что они подобрали около шоссе и в лесной чаще, на таком же точном учете, как когда-то гнезда. Скажет один: "около болотца", "под выворотнем", "в дупле" – другой уже знает, где это и о чем идет речь. Самая большая и опасная их тайна – шесть цинковых коробок с патронами от русской винтовки. Коробки эти целую неделю валялись в кювете на виду у всех. Это было время, когда пацанов захватила горячка изучения всего, чем замусорила землю война. Пустив коров в березовый молодняк, они без конца ковырялись в гранатах, жгли желтый, мылоподобный тол, крутили головки у снарядов, а из патронов "делали" порох и тоже жгли его. Непонятной и потому пугающей была беспечность немцев, которые оставили неприбранными цинки с патронами. Пастухи рассуждали: это они нарочно, хотят проверить, нуждаются ли жители в таких вещах. И если это было действительно так, то их опыт удался: цинки внезапно исчезли. Заросшая синей травой яма, где когда-то была землянка, приняла их.

Самая бесполезная вещь – мины и снаряды. И как поганок всегда больше, чем боровиков, так и этой дряни в лесу больше всего. Даже болотце мостили ими: весело это – ступать по снарядам. Пробовали бросать снаряды в старый пришоссейный колодец – не взрываются. Но скоро и им нашли полезное применение. Если разложить большой костер и пристроить на нем такую чушку –

здорово бахает. Только успевай убегать. Не раз жители, да, пожалуй, и немцы вздрагивали от непонятно близких взрывов. Пастухи научились палить "беглым": для этого нужно столько костров, сколько есть снарядов. У Толи возникла мысль, которой он тут же поделился с Минькой: вот бы под мостом такой костер разложить! В кустах возле моста, как нарочно, две бомбы лежат.

Видимо, подозревая, что в лесу Толя не одни грибы и ягоды собирает, мама старательно передавала ему все слухи о деревенских ребятах, которые что-то там ковыряли и остались без пальцев, без глаз.

Ну что ж, уметь надо, а не умеешь – не берись!

Взрывы в лесу очень тревожат маму. Всякий раз она встречает Толю так, будто они бог знает сколько не виделись, и обязательно говорит:

– Да пропади она, корова эта! Не пущу больше тебя. Так неспокойно.

Немало усилий приходится затратить, чтобы убедить маму, что в лесу не опаснее, чем в поселке. И утром опять собирает она своего "пастушка". Жара стоит, а она: "Надень еще одни штаны, роса такая, возьми галоши". Она готова и шарф предложить, хотя знает, что Толя отмахнется от всего. Но не повторять этого каждое утро мама не может: она будто виноватой чувствует себя перед Толей. Как же, она сама посылает его туда, где стреляют! Толя все это отлично понимает. Но он тоже не может удержаться, чтобы не буркнуть что-либо Алексеево:

– А ну его! Ай, отстань, мама!

То, что у Толи постоянное и, по мнению других, небезопасное дело, уравнивает его с Алексеем. Толя рад, что он наконец перестал быть лишь тенью старшего брата. Но ему немного совестно, что его веселые прогулки в лес считают работой и награждают за них такой виноватой лаской.

В лесу хорошо. Особенно любит Толя, когда набегает короткий и щедрый августовский дождь. Вздрогнут вдруг вершины, точно они первые увидели что-то вдали. Старые ели сразу нахмурятся, как-то приспустят тяжелые лапы. У них шапки-шлемы, им за ворот не нальет. Береза, та иначе встречает дождь: зашумит вся и давай закидывать голову-вершину, пьяно раскачиваться. Любо видеть буйную радость березы, усевшись под смирной, домовитой елью, где так сухо, что повернешься – обязательно сучок треснет. По иглам скатываются тяжелые светлые капли и оставляют за собой прозрачный гребенек. Проведешь по холодной цепочке капелек губами – горьковатый вкус хвои.

Но вот дождевые потоки начинают пробивать хвойный шалаш. Натягиваешь на голову немецкую накидку. По бумаге звучно ударило. Раз и еще раз. Снизу сквозь провощенную бумагу видишь, как упруго отскакивают от тебя водяные шарики, оставляя значки. Капель все больше, ты уже начинаешь звучать, как барабан. Просто невозможно не выскочить на открытое место. На тебя льет, ты уже – целый оркестр. Что-то заставляет человека горланить, подбрасывать ноги как можно выше. А коротыш Минька грибом сидит под елкой и беззвучно смеется, морща свой "пилсудский" нос.

Тем временем коровы обязательно забредут в чащу. Хлюпаешь раскисшими ботинками по теплым травянистым лужам и, не видя еще коров, орешь на весь лес:

– Ку-уды!

В таком лесу и про немцев забудешь.

Жигоцкие

Часто стал наведываться отец Казика. В Толином представлении он какой-то не стареющий. Белые аккуратные усы, улыбка бывалого человека, чуть нависающая фигура заботливого хозяина – "пчелиного бога" – таким Толя помнит его, сколько помнит самого себя. Жигоцкий – неотделимая частица мира, с которым Толя сжился именно в ту пору, когда предметы и люди окружают тебя вплотную и потому навсегда остаются в памяти. Белоусый Жигоцкий, его большой дом, кубики-ульи под старыми щедро-рукастыми яблонями, высокая рожь (она желтела и там, где потом построили больницу), маленькая лужайка, весной желтая, а потом прозрачно-белая от одуванчиков, и над всем – толстенный дуб, с которого озирает окрестности домовитый сухоногий аист, – все это часть Толиного детства.

Жигоцкий – человек не пьющий и не курящий. "Пчела не любит пахучих", – говорит он, но соседи считают более существенным то, что "пахучих" не любит "пани Жигоцкая".

Тем не менее у Жигоцкого есть своя страсть. Когда еще Корзуны жили у него за стеной, старик засиживался у них в комнате до полуночи: говорить он может часами, были бы охотники слушать. Задолго до того, как Толя читать выучился, человек этот был для него живой книгой. Рассказы, небылицы и были Жигоцкого так врезались в сознание, что сделались как бы собственным воспоминанием Толи. Иногда Толе представлялось, что он сам помнит здешнего помещика с острыми тараканьими усами, видел его дворец в сосновой глухомани (место это и назвали "Лесная Селиба") и даже красавиц, которых

усатый таракан привозил и увозил в закрытой коляске. Толе почему-то очень жалко было красавиц. "Помнит" Толя и бородатого купца-старовера, который пришел пешком и откупил у пана Горецкого его рессорную коляску, землю, лес и дворец с красавицами. В придачу он получил лесника. Этим лесником был Жигоцкий. Купец понаставил лесопилок, пустил стекольный заводик. Мастеров-стеклодувов выписал из Польши. Леса поредели, и тогда стали загораться лесопилки. Когда пожар вспыхнул на самой большой – с тремя станками, надо же было оказаться поблизости леснику Жигоцкому. Он собрал рабочих, пообещал им от имени хозяина благодарность. Все три станка были спасены. Явились какие-то людишки, долго лазили по пожарищу вместе с хозяином. На чем-то не сошлись, и страховки хозяин не получил. Лесника Жигоцкого погнали со службы.

Тут, бывало, в разговор вмешивалась сама Жигоцкая.

– Так тебе, дурню, и надо, лез, куда тебя не просили. Вот и пошел в батраки.

– К тебе, матушка.

Это звучало чуть-чуть горько. Жигоцкий в самом деле батрачил у своего будущего тестя, да так, кажется, и перешел в батраки к собственной жене. Выдали за пего "паненку Анелю" потому только, что даже ладный хутор не приманивал женихов к плосколицей невесте, которой словно позабыли нос приставить, а когда спохватились, кроме стручка фасоли, ничего под рукой не оказалось.

Недавно Казик позвал хлопцев к себе. Толя испытал странное ощущение, точно заглянул в музей своего детства. Все тут сохранилось таким, каким осталось в его памяти. А дом Жигоцких действительно чем-то напоминает музей: старинный черный комод, стеклянные колпаки над белыми фигурками святых, высокий сундук в углу. Когда-то Толю очень занимали все эти картины в аккуратных рамках: люди с острыми, будто приклеенными усами целятся в тетерева, а у ног их – странные собаки с подтянутыми к самой спине животами. И люди, и собаки, и даже тетерев, в которого стреляют, – все такие спокойные, довольные, позы такие красивые. Вдоль стен нерушимым рядком стоят старинные стулья с гнутыми ножками и подозрительными дырочками в сиденьях. Сколько Толя помнит, никто никогда на них не сидел. Для этого есть "из магазина" – дубовые.

Даже на Жигоцкую в этот раз Толя смотрел с удовольствием.

Как медведица, сползла она с печи и подарила гостям улыбку. Улыбка у нее такая: края широкого рта, желтые морщинки около ушей и даже дырочки в носу-стручке – все дружно устремляется к глазам, но маленькие глазки смотрят по-прежнему внимательно и

подозрительно. Старуха Жигоцкая сделалась еще более квадратной, и ее сильно пригнуло к земле. Ходит она полусогнутой, так и кажется, что человек носит свою спину, как дверь, которую зачем-то взвалили на него.

Толя знал, что мама не любит эту женщину. Но на сей раз он не испытывал к ней никакого враждебного чувства. Все-таки эта старуха – тоже частица его детства. Медовым голосом она поинтересовалась, как живет дядя и в каком классе Толя (это теперь-то!). Таким же сладким голосом Жигоцкая, бывало, кричала с крыльца: "А хай вас, миленькие, совсем уже вынесут, как вы носитесь, курам садиться не даете". – Это чужим детям. "Не нажретесь вы никак, миленькие мои". – Это уже своим.

Тем же голосом, нараспев, она и мужу кричала, да так, чтобы квартиранты слышали! "Не выпалила маланка[2] очи тебе, как ты уже познал дорогу к ним..."

Пожалуй, нет такого слова, из которого она не смогла бы сочинить ругательства.

После того как Корзуны выбрались на казенную квартиру, Жигоцкий почти не заглядывал к ним. Старуха отучила. Да и каждый был занят своим. Жигоцкий с утра уходил на пасеку. Он работал в колхозе, хотя жил в поселке. Толе запомнилось лишь одно его посещение. Жигоцкий побывал на выставке в Москве, и тут он уже не мог обойтись без слушателей. Толю радовали восторги Жигоцкого, словно это он показал Жигоцкому и выставку, и Москву, и метро, показал и заставил его поверить во что-то, в чем этот белоусый говорун в глубине души очень сомневался.

В последнее время Жигоцкий является к Корзунам каждое утро, как на службу. Еще бы, столько новостей! Вначале его приглашали завтракать, но он всегда отказывался. Привыкли, что все за столом, а у печки сидит белоусый человек и нескончаемо повествует:

– Гумно вчера раскрыли у меня. Солома нужна, а в колхоз поехать далеко им. Жито скосили на корм. И немцы уже не хозяева. Вот помню в ту войну. Приглянулась им коровка, кругленькая, как линек. Попрыгали около, гер, гер, но пастухи сказали им, что стельная, – не забрали. Взяли бычка. А это что? Что ты хлеб глумишь, ни себе ни людям? Жито пожелтело совсем, кони и не взяли его, я ходил смотреть: притоптали, испоганили. Разве по-хозяйски это? Помню, перед войной, – продолжает Жигоцкий без всякого перехода, – с председателем я поспорил. Привез инструкцию: овец

---

[2] Молния *(бел.)*.

доить. Когда это было, чтобы у нас тут молоко отбирали у сосунков? Вымудрила там чья-то голова. Нет, так не пойдет! Хозяйство – это хозяйство, крестьянин есть крестьянин, как ты его ни называй. Земля хозяина, души требует, а потом все остальное. Товарищи это понимать не хотели.

Павел, выскребая из чугунка остатки каши, не смолчал:

– Эти не нравятся, товарищи тоже плохи были.

Тут поспешил вмешаться Казик.

Когда Казик и его папаша вместе, начинаешь понимать, в кого удался говорун Казик. Старый Жигоцкий больше видел, но Жигоцкий-младший – более тонкий дипломат.

Вот и теперь Казик умело отвел разговор:

– Слышал про встречу Лесуна с комендантом? Пошел он в комендатуру, дескать, я единственный тут единоличник, а потому мне налог следует меньший.

– Что правда, то правда, жулик один такой на весь сельсовет, – весело сказал Жигоцкий-старший. (О Лесуне всегда говорят с улыбкой.)

– Комендант ему и говорит, – продолжал Казик, – ты прежней власти не слушался, а теперь наши законы нарушать хочешь? Приказал дать "гумы" и выгнал.

Павел засмеялся злорадно:

– Эти его сагитируют, если нам не удалось.

Мама строго поглядела на него и, с трудом сдерживая раздражение, сказала:

– Не наше это дело. Еще неизвестно, кто какой. Лапов и Пуговицын какими активистами были, а теперь? До войны на каком-то собрании Ваня наш стал говорить, что вот двор возле столовой захламлен, а Лапов вскакивает: "Надо раньше очистить наши ряды…" Главное, чтобы человеком был. Да и ни к чему разговоры такие теперь, Павел.

Маме (Толя видит) очень не нравится, что Павел слишком сблизился с Казиком. Она как-то добивалась у Павла:

– Ты, может, сказал и про то, что член партии и откуда пришел?

Павел возмутился, даже плечи сердито вздернул, но заметно было, что если он и не рассказал, то готов был рассказать.

– А он тебе признался, что тоже в партии… кандидат или как это? Я уверена, что и не заикнулся.

Может быть, под влиянием мамы, но Толя тоже настороженно относится к Жигоцким. Не нравится ему, как белоусый старик произносит: "А товарищи Смоленск сдали". Или: "Опять товарищи

целую армию отдали". И снова: "Да, не рассчитали силенок своих товарищи". Для этого человека "товарищи" – что-то постороннее. Толя иногда начинает верить, что больничная стряпуха Анюта не сочиняла, когда рассказывала, как Жигоцкие встречали первых немцев:

– Вин попереду, а тая ступа за ним переваливается. Хлиб и силь на рушнику: "То вам от нас".

А потом старуха кричала через больничный забор:

– Очистилось солнце! Не будет этих ваших больниц на моей делянке. Понасели, понаставили па-аскудства! Это все Корзун лез не на свое. Подохнете теперь!

Правда, немцы не спешили возвращать землю старухе. Они приспособили больницу под комендатуру, а поскольку сарай бывших хозяев этой земли был рядом, туда они раньше всего и заглянули. И довольно удачно: там их поджидало двенадцать пудов стонущей от жары свинины. И даже солома нашлась, чтобы осмолить ее. Об этом в поселке говорили с веселым злорадством.

Странные они все-таки люди, во всяком случае, старуха. До войны и старая Жигоцкая любила напомнить, продавая медок или сметанку, что все сыновья ее вышли в люди:

– Ах, милочка, Михась мой писал, что не может приехать. И у Казика, и у Кастуся – все не выходит приехать. За большую службу им отвечать надо. А так разве я понесла б на базар, и к своему столу пришлось бы.

И вот теперь она точно позабыла про сыновей, судьба, будущее их ее не волнуют: кусок земли, что под больничным двором, для нее роднее всего. Впрочем, соседи давно знают, что такое эта Жигоцкая. Старик не раз жаловался им:

– Вы думаете, почему Кастусь уехал в тот же день, как приехал? Не было дома этой заразы, я взял и принес молоко из погреба. Влетает – не поздоровалась, ничего – сразу к гладышу: "Ты какое взял? Я отстаивать его поставила". И пошло. Сын хлопнул дверью, он у меня хлопец горячий, майор, и – бывайте здоровы. Только деньги шлет и ни слова письма.

Говорили, что один Казик умеет ужиться со старухой.

Павел

Конечно, мама преувеличивает, но и так, как Павел, тоже нельзя. Он готов довериться всякому, кто только ругает немцев. Интересный он, Павел, все у него просто и ясно. Послушать его, так ничего страшного нет в том, что немцы уже под Москвой. И о том,

как война начиналась, у него какие-то свои представления. Правда, у них на Полесье немцев сдерживали долго. Однако вот и Маня тоже там была, а видела она совсем другое. Павел без конца может рассказывать о том, как крепко держались кавалерийские дивизии усача Оки Городовикова[3], сколько немцев "накрошили" бронепоезда, про пулеметчика, который сорок тысяч патронов выстрочил из "максима", пока добрались до него немцы, про мальчишку, который бросил гранату в офицерский автобус. И не столько словам, сколько лицу рассказчика веришь: глаза поблескивают каким-то внутренним огнем, крепкие желваки ходят, как рычаги. Павла слушать радостно. Но маму его рассказы раздражают. Происходящее кажется ей куда более серьезным и тревожным. И, главное, в этих рассказах, настойчиво упрощающих события, – весь Павел. Вот так же легко относится он и к тому, что сейчас делается вокруг. Подведет всю семью под виселицу и даже не заметит.

Маня в тон старшей сестре тоже учит осторожности своего мужа. Но слова ее от Павла отскакивают, и тогда стеснительная со всеми Маня ругает мужа "дурнем".

Хорошо еще, что Павел не принимает ее слова всерьез.

У Мани свои, не похожие на Павловы, впечатления.

– Жара, наши измучены... Раненых не успеваем осмотреть, черви, мухи...

– Мухи, – усмехнулся Павел.

– А у тебя всегда хорошо, – отмахивается Маня с доброй своей улыбкой, но тут же с неожиданной злостью кончает: – Было бы все по-твоему, не дошли бы они вон куда.

Павел только хмыкает в ответ. Вера у этого человека простая и твердая: мы – это мы, и следовательно, мы их бьем и побьем, что бы они там ни брехали.

Войну он принял без особенной растерянности, принял такой, как она началась. Работая в сельпо, снабжал красноармейцев заготовленными по колхозам продуктами, а когда немцы двинулись в глубь Полесья, вошел в истребительную группу, жег на мосту немецкие танки. Послали его вывозить семьи – поехал. Гомель уже пал, но Павел не хотел верить слухам. И только после того, как сам убедился, что ни выехать, ни выйти уже невозможно и когда так страшно погибла его девочка, Павел подчинился обезумевшей от горя жене. И тогда они пришли в Лесную Селибу.

---

[3] Городовиков О. И. (1879–1960) – генерал-полковник, Герой Советского Союза; в гражданскую войну командовал 2-й Конной армией; в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Западном и Сталинградском фронтах.

Сам не густо зачерпнувший грамоты – он из тех, кого называют "выдвиженцами", – Павел легко проникается уважением ко всякому, кто может поразить его широкими знаниями. Конечно, если этот человек тоже ненавидит немцев и готов что-то делать. Маме не нравится его шушуканье с Казиком, Павлу приходится оправдываться. Но он не умеет скрыть, что считает все это бабьими капризами. А может, и впрямь мама незаслуженно переносит на Казика свою женскую неприязнь к старой Жигоцкой?

Бой

В полном снаряжении пастуха Толя стоит у окна и ждет, когда Минька подгонит свою корову. Что это? Согнувшись, оглядываясь, по канаве бежит немец в белых штанах сапера. Во всей фигуре бегущего такой бабий испуг, что Толя даже хихикнул от удовольствия.

– Что там? – из-за ширмы высунулась взлохмаченная голова любопытной бабушки.

– Немца кто-то спугнул.

Подошла мама, потребовала на всякий случай:

– Отойди, еще выстрелят.

Из другой комнаты донесся веселый голос Павла:

– Пулемет на радиоузел тащат, к бою готовятся, что ли.

И тут, словно жуки, выпущенные из большой коробки, по канаве поползли разноштанные немцы: белые, зеленые, черные. Все это выглядело довольно забавно, но сердце у Толи стучало где-то у самой ключицы: подступает то страшное и таинственное, что скрывается за словом "бой".

Оттого, что самоуверенные и наглые немцы так заметались, забегали с рогулями-пулеметами, оттого, что все они так насторожились, казалось, что из лесу должен выйти кто-то нечеловечески сильный и бесстрашный. На другой стороне шоссе немцы втаскивают пулемет на аптеку. Вот передний немец встал на верхнюю перекладину лестницы и, держась за крышу, ударил сапогом в чердачное окно. В тот же миг прозвучал орудийный выстрел. Немец пригнулся, а второй, что подавал ему пулемет, испуганно припал к лестнице.

К Толе подбежала мать, дернула его за рукав.

– Садись на пол, за печку. Алеша, Павел, с ума вы посходили!

Отодвинули кровать, чтобы всем уместиться за печкой, на окно Алексей навалил бабушкин сенник. От чего солома может защитить – неизвестно, но опасность как бы сразу отодвинулась.

И вдруг загрохотало, забушевало, точно прорвало плотину. Казалось, весь грохот навалился на стены дома. Временами он отступает, но тут же обрушивается с еще большей яростью. Бабушка, которая раньше других нашла место за печкой и сидит в самом уголке, забеспокоилась, что-то судорожно тащит из-под себя. И вот – над головой у нее эмалированный таз, бабушка поддерживает его за края, бескровные изжеванные губы ее растянулись в чудную какую-то улыбку.

– Бронеколпак, – первый не выдержал Толя.

– Мати, а мати, – отозвался сидящий на кровати дедушка (он один не на полу), – гляди, а то немец в окно за красного посчитает.

– Оставьте. – Мама попыталась оборвать охватившее всех нервное веселье. Но даже Маня, у которой вот-вот посыплются веснушки с побелевшего лица, и та улыбается.

Стрельба постепенно отступала от стен дома, стало слышно, где стреляют: около больницы, возле клуба, в лесу.

Взрывы какие-то проламывающие, а короткие пулеметные очереди очень похожи на звук, будто отрывают доску с большим ржавым гвоздем.

Кто-то, показалось, очень грузный, пробежал за стеной. С невольным уважением Толя подумал о тех, кто сейчас на улице, кто способен бегать, стрелять, тогда как ему и за толстой печкой не по себе.

Бой длился неизвестно сколько, это определить было так же невозможно, как только что открывший глаза человек не может сказать, сколько он проспал: пять минут или пять часов. Время слилось в одно бесконечное мгновение. Но вот стрельба затихла и не вскипела снова, лишь отдельные выстрелы потрескивают. Павел поднялся и, не обращая внимания на шипение Мани, пошел на кухню.

– Немцы ходят.

Значит – все-таки немцы. Они уже выползли из канав, толкутся около аптеки, ходят по шоссе. Пожар! Пылает двухэтажное общежитие. Пламя лижет черные плотные клубы дыма, обжигает им брюхо, они судорожно перекатываются, как от боли, рвутся вверх.

Минуту назад всем хотелось одного: увидеть своих, красноармейцев. Но теперь подумалось: а что будет с нами?

– Спалят, – еле слышно сказала Маня, – они у нас и людей, всех…

И вот теперь, когда бой кончился, пришел настоящий страх. Что вздумают делать эти чужие люди, от которых хорошего ждать не приходится?

Много потом было дней и часов, когда над поселком, над жителями нависала мстительная жестокость врага, но никогда поселок не был так беззащитен и беспомощен.

Приказано было собраться на базарной площади. Оповещал Лапов. Теперь он, толстый, весь в поту, всунулся в хату и не поздоровался. То, что ходили не сами немцы, немного успокаивало. Хотел отправиться Павел, но мама решила, что женщине безопасней. Она вышла за калитку и остановилась, напряженно всматриваясь в сторону аптеки. Подбежав к окну, обращенному к шоссе, Толя сначала почувствовал что-то до боли знакомое в людях, которых он увидел, а уже потом дошло до его сознания: это же красноармейцы! На поле четверо в пашем обмундировании. Стоят, будто связанные друг с другом, напряженно повернутые к чему-то, чего отсюда не видно: загорожено аптекой.

– Расстреливают! – громко крикнул Алексей.

Внезапно с людьми что-то сделалось: крайний широко взмахнул руками и отвалился назад, а второй обхватил живот и боком, боком пошел вперед, тихонько опустился на колени, потом так же тихонько прилег. Третий уже лежал. А автоматы все трещали. Последний, самый высокий, падал долго. Он ступил вперед, потом назад, точно накренилась у него под ногами вся земля. Мучительно медленно, тяжело, как подпиленное дерево, он повернулся и упал лицом вниз.

Вбежала мама.

– Никуда не выходите, боже…

Из-за аптеки показались немцы, встали около убитых. Потом привели мужчин с лопатами. Убитых понесли к лесу. Снова никого не стало видно.

В дом вскочила Анюта.

– Ой, милые, и Прохорова, что на радиве, забили. Там за хливом лежит. Ох, лишенько, чего я дочекаюсь со своим сухоруким несчастьем.

Так Анютка всегда называла своего второго мужа Мовшу. Но жили они душа в душу. Дома у них всегда все орут: Леник – малыш от первого мужа, Мовша, а больше всех сама Анютка. Но в этой шумной, крикливой семье всегда весело. Толе нравилось у них бывать.

– Кому, Анютка, твой Мовша нужен? – неуверенно успокаивает женщину мама, не отрывая взгляда от окна.

Анютка ожила еще больше, как печка, в которую плеснули керосином:

– Любушки, так приходил уже одноглазый черт. Они с моим, когда работали в больнице, четвертушки все распивали. А тут влез в

хату, поводил бельмом, ничего не сказал и ушел. Чует мое сердце! Вчера Мовша без этой звезды ихней вышел, так немец до самого дома гнал его и все кулаком по голове бил.

– Уйти бы ему, – поведя плечами, как от холода, сказала мама. – Правда, уговори его, Анюта. Нельзя же ждать.

– А куда, а где спрячешься? И кому он шо сделал, над ким начальником был, это сухорукое несчастье? Надо мною только и начальник.

Когда Анюта лопочет, не поймешь, плакать или смеяться ей хочется больше. У нее все вместе. Вот и теперь в слезе смешинка блеснула: кому-кому, а ей-то хорошо известно, кто у них в доме начальство.

– Ты не ходи, Аня, – сказал Павел, – лучше я.

– Не выходите, – только и ответила мама и ушла.

Явился рослый, плечистый фельдшер Грабовский. У Корзунов он прост – Владик. Взрослую профессию он приобрел перед самой войной, а друзья у него остались прежние: Алексей, Янек, даже Толя.

– Слышали, что Генка отколол?

Это он про радиста Прохорова. Оказывается, во время боя Прохоров вышел из дому и прямо на улице стал перевязывать раненого красноармейца. Его и схватили. Владик говорит о Прохорове с неподдельной лаской и любованием. Но кажется, что для Владика самое важное и интересное в поступке радиста то, что Прохоров был "как земля".

– Ночью мы первача хватили, я только под утро домой добрался. Генка на карачках выполз к раненому.

Рассказчик напирал на это. Возможно, Прохоров и его поступок так понятней ему были, а может, хотелось ему хоть через это приобщиться к тому, что сделал радист.

Мама вернулась скоро. Разговор с жителями у немцев на этот раз был "профилактический". Сначала они все ждали кого-то. Шумахер с ног сбился, бегая за прибывающим из города начальством. Наконец было объявлено: если бы раздался хоть один выстрел в спину немцам, поселок был бы сожжен, а все жители расстреляны. Это было невероятно свирепо, но все сразу поверили, что немцы так и сделали бы. Стало известно, что случай с Прохоровым они готовы были использовать как предлог для такой расправы. И если этого не случилось, то лишь потому, что кому-то из них не захотелось уничтожать такой удобный для войск пункт на шоссе. Людей и поселок спасла асфальтка.

В комендатуру забрали хозяйку, у которой Прохоров квартировал. Соседки хотели увести к себе ее девочек-близнецов, по им не разрешили. Пятилетние девочки в одинаковых пальтишках бежали между конвоиров, ухватившись за платье матери, которая одной рукой несла узелок, а другой все искала то одну, то другую головку. Останавливалась, ее толкали, заставляли идти, девочки громко плакали, женщина опять и опять останавливалась. Их провожали сотни глаз. Вечером женщину с девочками увезли в Большие Дороги. Там – жандармерия, СД.

Несчастье на этот раз миновало остальных. Но теперь каждый видел перед собой зловещую черточку: переступишь – смерть тебе и твоим близким. Другой переступил – ты тоже в ответе. Те, которые провели эту черту, были, видимо, убеждены, что она заставит людей окаменеть в неподвижности.

Толя нашел случай ускользнуть к Миньке. Говорят, около клуба есть что посмотреть: заложили немецкое кладбище. От боя и еще что-нибудь должно остаться. Указав на винтовку с разбитым прикладом, Толя прошептал:

– Это наши, чтобы немцам не досталась.

Но Минька трезво возразил ему:

– Сами немцы. Они так делают. Об землю – и все.

– Идем за аптечный сарай, там красноармейцы были, – предложил Толя. – Гранатами через крышу перебрасывались. По одну сторону немцы, по другую – наши.

У сарая, пропахшего лекарствами, друзья и дышать перестали от волнения. Глядя на расщепленные гранатами бревна, на побитую пулями крышу, Толя ясно представил, как стоял у этого угла красноармеец. И пустые гильзы валяются.

Вот тут одного ранило, он полз к лесу. Песок смочен чем-то густым. Кровь!

– Второй тут стоял, – шепотом сказал Минька.

– Он гранаты кидал. Владик рассказывал. Давай туда, где их закопали, пойдем.

Но Минька состорожничал:

– От комендатуры увидят.

Толя смотрел на пятно, желтеющее возле леса, и ему не хотелось верить, что человек, который час назад стоял вот на этом следу, теперь там, под песком. Начал прикидывать, где тут можно спрятаться. На поле – нет: картофельная ботва низко сжата коровам на корм. Разве только в сарае – там много ящиков, до самой крыши. Или в зарослях одичалых колючих слив, что около сапожной.

– Гляди, Толя, шинель.

Толя вздрогнул: вот она! Заглянул в сарай: ни одного ящика. Шинель – наша. Похоже, что ее кто-то уже поднимал и бросил у самого входа. Вся в бурых пятнах.

– От дыма. Видишь, полы обгорели, – отметил Минька.

Толя даже задрожал от восторга.

– Видишь, бой какой был.

– При чем тут бой? Ночевал и дневал человек у костра – вот и все.

Минька всегда прав.

– Идем туда, – почему-то шепотом позвал Толя.

Начали продираться в колючую сливовую рощицу. Скоро Минька отстал, не понимая, чего ради он должен обдирать лицо и руки. Толя полез один, ища глазами старый полузасыпанный колодец. Сруба над ним нет, не зная, можно и ввалиться в яму. Совсем не рассчитывая увидеть кого-то, а просто, чтобы убедиться, что все это лишь его фантазия, Толя заглянул в яму... Ему захотелось сесть на землю. В яме пучится зеленая человеческая спина. Там, где у человека шея, все затекло кровью, стриженая, в коричневых пятнах голова вяло прислонилась к черной стенке.

– Ну, что? Вылазь! – где-то очень далеко голос Миньки.

Толе захотелось поскорее выбежать туда, где Минька, на солнце, и там все обдумать. Он стал выдираться из кустов.

– Оцарапался как, – удивленно уставился на него Минька, – ты что?

Близко стучат по асфальту сапоги немцев, а там, за спиной у Толи, беспомощно лежит на стенке неглубокого колодца стриженая голова. Пройдя вперед, чтобы не видно было его лица, Толя глухо отозвался:

– Да ну его, только обдерешься.

От волнения и тревоги Толя даже не заметил, что он совершает предательство по отношению к другу, с которым у него все тайны общие. Кое-как отделавшись от товарища, который теперь уже стеснял его, Толя заспешил домой.

– Мама, – позвал он ту, кого всегда звал в критические минуты, и сам удивился своему сиплому голосу.

– Чего тебе? – спросила мать, выходя из зала. Увидев восторженно-таинственное лицо сына, испугалась. Прикрыв дверь в комнату, где слышен голос Казика, спросила: – Что случилось?

– В колодце за аптекой человек.

– В каком колодце, какой человек?

– Раненый, наш.

– Ты с ума сошел. Где ты там лазишь, нашли время…

И еще что-то мало относящееся к делу шептала мама, заталкивая Толю за ширму, в угол. Потом приказала:

– Не ходи в комнату, у тебя все на лице. Никому – ни-ни. Слышишь?

Толя пошел в столовую.

Бабушка, уткнувшись в угол кровати, дремлет. Ей очень неудобно лежать поперек кровати, но положить голову на подушку – это значит спать. И хотя бабушка все равно проспит часа два-три, но проспит их как можно неудобнее. И во всем она так.

– Норов такой, – говорит дедушка.

Бабушка и всю жизнь свою прожила вот так – "ногами к подушке". До переезда к сыну ни сама она, ни дедушка никогда не съели и не выпили того, что еще свежее и вкусное.

– Обязательно дождется, чтобы скисло или сплесневело, – весело вспоминает дедушка. – Все деньги копила. Из "миколаевок" мыши труху сделали за печкой, "керенки" сами пропали.

Но и у дедушки под сенником покоится сберегательная книжка. (У бабушки – отдельная.) Пять тысяч дедушкиных и пять бабушкиных, вырученные за дом и постройки, "ляснули"[4], по определению дедушки.

Втиснувшись за стол, Толя уселся на кушетку и от нечего делать стал смотреть, как дедушка вощит дратву.

– Может, скинем в подкидного? – предлагает Толе дедушка, откладывая работу на кровать. Не может не зацепить и бабку: – Бабушка-старушка, у тебя денег кадушка.

– Без карт своих и часину не выдержит, – доносится откуда-то из-за кровати, куда завалилась бабушкина голова.

– Яна уже тут! – восклицает дедушка. – Как же без яе? Гэта баба и в гробу не улежит. Заиграет музыка – сразу выглянет. Ей до всего дело.

Бабка приподнимает помятое, с прилипшими седыми волосами лицо и говорит:

– И то правда, помру скоро, здоровья нету.

При любом разговоре у бабушки главный козырь: "помру".

– Помрешь – закопают, – говорит дедушка, тасуя самодельные карты (теперь все самодельное), – думаешь, наверху оставят тебя, людям под нос.

---

[4] То есть пропали (от белорусского *ляснуть*).

– Эт, старый дурень, – не очень сердито завершает бабка очередную перепалку с дедом и идет в кухню.

Синеватый и словно шашелем источенный дедушкин нос окунается в поднявшиеся ему навстречу прокуренные усы – дедушка смеется. И тут же начинает кашлять. Всего ему, даже смеха, отпущено в ограниченной дозе. Но о смерти он никогда не говорит. Куда интереснее вспоминать о том, как когда-то у него под кроватью стояла аптечная бутыль со спиртом.

– Дай же, боже, не забыться, перед смертью похмелиться, – торжественно провозглашал дедушка всякий раз, когда протягивал руку за бутылью.

Хотя дедушка только отчим папе, но всем в семье он ближе, чем бабушка. Мама всегда любила его, а с бабкой не ладила.

На дне аптечной бутыли теперь сухие мухи, но дедушка все держит ее под своей кроватью.

Проиграв дедушке раз-другой, Толя все же пошел в зал. Тут все в сборе. За столом сидит медноволосый Янек, на диване Казик с гитарой на коленях и с неизменной расческой в руке, посреди комнаты стоит Павел.

– Э, что там! – Павел машет рукой. – По-фронтовому тут ничего уже не сделаешь. У нас на Полесье…

Сердитый взгляд Мани помешал ему высказаться.

– Женщины их в лесу встретили, – заговорил Казик, продувая расческу, – один красноармеец крикнул: "Не горюй, мамаша, сделаем теперь ему крышку". А их всего-то человек двести. Когда по деревням проходили, жители дивились: сухари грызут, а в дом зайти, попросить – нельзя. И где фронт, ничего не знают.

– Может, потому у них и планы такие смелые были. – Это вымолвил Янек, краснея и зажмуриваясь. Завел привычку моргать, как курица. – А знаете, – проморгавшись, решается продолжить свою мысль Янек, – наши крепко бы воевали, если бы не так все пошло с самого начала. Эти не знали, где фронт, и, видите, шли, чтобы отрезать целую армию. Если бы на самой границе… это самое…

Тем он и кончил. Когда Янек берется длинно говорить, он напоминает человека, впервые севшего на велосипед: человек, может быть, и дальше ехал бы, но не верит сам, что он едет, а не падает, и потому побыстрее старается упасть. Воспользовавшись падением Янека, на велосипед уверенно вскочил Казик и покатил, поблескивая спицами.

– А здорово все начиналось, я из окна наблюдал. – Это было сказано так, будто человек по меньшей мере снаряды подносил. – От

комендатуры немцы попятились даже, но потом из города машины подошли, а то неизвестно еще, чем бы кончилось...

В который раз уже через комнату проходит мама. Никто, кроме Толи, не придает значения тревоге, напряженно суживающей ее глаза. Мать чувствует его понимающий взгляд, хмурится, а когда до нее доходит наконец, кто это так назойливо напоминает о себе, она приказывает:

– Иди... воды там наноси в бочку... или куда.

Напросился? Топай!

Когда легли спать, Толя все-таки вышептал брату свою тайну. А тот, наглец, тут же поднялся и пошел и другую комнату шептаться с мамой и Павлом. Пойти б и Толе туда, но, чего доброго, придется ночью за водой ехать.

Утром его разбудил деревянный стук и смех в столовой: Павел и Алексей толкут просо. Интересно, что было ночью? В спальню вошла мама. Толю, как щенка под колесо, опять потянуло на многозначительные взгляды.

– Что ты лодыря корчишь, – наконец нашла на ком разрядить нервы мама, – работников полная хата, а корове скоро в хлев не влезть.

От Алексея тоже ничего не добился: строит из себя конспиратора.

Днем, валяясь с книгой на кушетке, Толя услышал разговор мамы с Павлом. Раз все они такие, Толя вправе и прислушаться.

– До сих пор не опомнюсь, – шепчет мама, – ночью передумала все и в ужас пришла. Могли всю семью загубить. Никто тебя не видел с ним? Никто? Смотри же, ни слова никому. Умоляю тебя! Особенно Казику твоему.

– При чем тут мой? – обиделся Павел.

– Твой или не твой... я прокляну тебя, если ты детей погубишь. И свою семью тоже.

– Ну брось, Аня, я не маленький.

– Что брось, это не шуточки...

Толя даже посочувствовал Павлу. Когда мама такая, с ней просто невозможно разговаривать.

"Толики"

Немцы все ленивее сообщали о своих успехах, будто их победа – дело уже окончательно решенное. Это особенно подавляло. Жители поселка (не только они!) не знали, конечно, что именно в эти дни в

событиях наметился поворот, который обрекал армию оккупантов на истощающую, затяжную войну, а следовательно – на неизбежное поражение.

Страшными усилиями, большой кровью немецкие танковые дивизии были приостановлены на центральном направлении. Смоленск явился тем рубежом, где сама немецкая техника, сильно потрепанная и поизносившаяся, где немецкий солдат, встретившийся с первым широко организованным сопротивлением, где натренированный на европейских блицкригах мозг немецкого штабиста вдруг остановились перед задачами, которые нельзя было решить немедленно.

Восточную кампанию Германия начала проигрывать еще тогда, когда на Западе высчитывали – одни с отчаянием, другие с политиканской тупостью, – сколько еще недель и дней продержатся Советы.

Окончательный перелом в ходе мировой войны наступит гораздо позже – на берегах Волги. Но перелом этот станет возможным потому, что вопреки всему советский воин сорвал блицкриг Гитлера кровавым летом 1941 года, когда русская земля, казалось, тесной стала для русского солдата, когда она, казалось, широко лежала перед танками врага.

Немецкое командование еще располагало глубинными резервами, чтобы через некоторое время возобновить и продолжить наступление, оно сохраняло стратегическую инициативу, но эта инициатива уже не являлась безраздельно господствующей, как это было в Польше, во Франции, на Балканах. Немцы впервые по-настоящему ощутили встречную стратегию. И это было больше, нежели стратегия военного командования. Казалось, немцам навязывало свою стратегию все: территория, настроения многонационального народа, советская идеология, сама русская история. Кошмаром нависала русская история над теми, кто пошел путем Наполеона. На каждом шагу она бесстрастно напоминала: двунадесять языков – было, отступление русских армий в глубь страны – было, Смоленск – было и даже Москва – тоже было, но потом был пожар Москвы, кружащая где-то в морозных просторах армия Кутузова, партизаны, устланная трупами голодная Смоленская дорога, страшная переправа через Березину, а там – разгром в собственной стране. Книга мемуаров благоразумного маркиза Коленкура, когда-то предрекавшего Наполеону поражение в России, небрежно всунутая в багаж в Берлине, уже в Смоленске побывала в руках у немецкого генерала, а под Москвой она стала его апокалипсисом.

Может быть, инстинктивно, но Гитлер пытался бороться с русской историей, он стремился обойти ее глубокую колею. Отчасти

потому он не хотел делать Москву первоочередной целью наступательного плана 1941 года, считая, что нужно нацеливать армии прежде всего на захват Украины, Крыма, Кавказа. Москва вызывала в нем тайный страх. Мстя за него, кровавый маньяк грозился уничтожить, сровнять с землей столицу русского народа после ее окружения. Гитлер надеялся, что техника двадцатого столетия позволит ему обойти колею, проложенную Наполеоном, совладать и с русской территорией, и с русскими резервами.

И после Смоленска инициатива все еще была за немцами, но за успехами германских армий вдруг стали обнаруживаться крупнейшие стратегические и морально-политические просчеты, тревожная мысль о затяжной позиционной войне, о катастрофе проникла даже в холодные мозги прусских штабных и нештабных генералов. Беспокойство, неуверенность немецкого сухопутного командования выразились в стремлении некоторых генералов убедить Гитлера отойти от его первоначального плана. План этот предусматривал, что группы армий "Центр" после взятия Смоленска, прежде чем возобновить наступление на Москву, должны помочь другим группировкам выйти на оперативный простор и решить основную экономическую цель войны: включить в экономику рейха богатства советского Юга. Браухичу, Гальдеру, Гудериану все еще казалось, что хороший план определит желательный для них исход войны, что все дело в том, чей план окажется лучшим, чей план будет принят к исполнению. Ефрейтор обязал генералов выполнять его план, и война оказалась проигранной. Но она точно так же была бы проиграна, если бы действовал план генералов, если бы ослабленная центральная группировка с невероятно растянутыми и обнаженными флангами "шильным" наступлением сразу же ринулась на Москву.

Война могла быть иной по планам, по тактическим и даже стратегическим успехам, по жертвам с той или другой стороны, по занятым или незанятым городам, но она не могла быть иной по исходу. Встретились не просто две армии и даже не два народа, в жесточайшей схватке столкнулись два мира. И победить мог лишь тот мир, который открывал людям путь в будущее, достойное Человека.

После боя жители Лесной Селибы яснее ощутили, что борьба продолжается и здесь, далеко от фронта. Правда, в лесах все меньше оставалось окруженцев. Люди уходили на восток, многие погибали. Некоторые осели по деревням – таких называют примаками. Даже в поселке они есть.

Но уже в первые месяцы войны выявилась совсем особенная разновидность окруженцев. В ближайшие от стеклозавода деревни

стали наведываться трое парней. Самого заметного из них, веселого золотозубого ленинградца, зовут Анатолием. С этого и пошло: "Толики".

– А "Толики" опять в Покрова приходили. У каждого вещмешок гранат, как яблок! Разгуливают.

– Явятся в хату: "Эсминец "Керчь" эскадры топить не будет!" Это у них такая поговорка. "Покорми, бабка, на вечеринку опаздываем".

О "Толиках" говорят с удовольствием, осторожно выспрашивают о них у деревенских. Трое парней уходят куда-то, пропадают по неделям. Ну, кажется, и до этих немцы добрались. Но нет, ребята снова появляются – веселые, беззаботные, словно и не висит над ними вся немецкая армия.

Все, что ни делают они, вызывает у поселковцев лишь одобрение. В Покрова заявились на вечеринку, потанцевали, веселя деревенских франтов разбитыми сапогами, а потом вынесли в круг скамью и предложили садиться на нее тем женихам, кому понравились их "кирзы" и у кого сапоги покрепче. Покровские женихи сконфуженно натянули их "отопки" и быстренько по домам: как бы не предложили им и оружие в придачу.

Девчат пошли провожать "Толики". Об этом за клубом говорят с веселым одобрением. Вдруг как бы ожила старая неприязнь к покровцам: "Шляхтюки!"

"Толики" ничего такого и не сделали еще, они лишь приходили и уходили куда-то. Они не рвались за фронт, не шли в плен, не оседали в теплых вдовьих углах и при этом всем поведением своим как бы говорили: "А нам и так неплохо".

Сами того не сознавая, парни эти, так беззаботно живущие на виду у немецкой армии, обнаруживали и демонстрировали людям слабинку врага. Ведь на глазах у жителей гибли организованные воинские части, многим могло казаться: до тебя, только пошевелись, немцы дотянутся мигом. А тут открыто расхаживают трое вооруженных красноармейцев и, похоже, не чувствуют себя обреченными. У них даже девчата на уме. Во всех рассказах о "Толиках", сознательно или бессознательно, но выпячивалось именно это: беззаботность и даже безалаберность их.

Толе всегда нравилось его имя. Почему оно хорошее, он никогда не задумывался. И вдруг понял: человеку нравится собственное имя, если хоть один человек на земле произносит его ласково. А тут весь поселок бредит "Толиками". Это не имеет отношения к Толе? В Толиных мечтаниях – имеет. "Толики", видно, и не подозревают, что

их четверо, что их всегда сопровождает скромный, но смелый парень – тоже Толик.

Трое парней, о которых так много всяких разговоров, не убили ни одного немца (во всяком случае, не было слышно), но они одним своим беззаботным существованием делали нечто большее: они убивали страх перед всесилием врага, помогали людям избавиться от первого оцепенения.

Жителей забавляла война местного коменданта с "Толиками". Узнав об их появлении, комендант аккуратно наведывался в эту же деревню, но почему-то лишь назавтра.

Оказывается, не так уж трудно быть неуловимым, особенно если тебя боятся ловить.

Однажды, прикатив тачку с ушатом в больничный двор, Толя наблюдал такую сцену. К коменданту, сидевшему на раскладном стуле на крыльце, Шумахер подвел Хвойницкого – человека с неестественно белым и уныло длинным лицом.

Когда-то он был пожарником в Лесной Селибе. У пацанов он имел кличку: "Сорок это". За каждым словом у него – "это": "Эй, вы, это, кто тут курит, штраф, это". С детьми у Хвойницкого велась настоящая война, и у каждой стороны была своя тактика, свои приемы защиты и мести. За высокой заводской оградой – старый прудок. До речки от поселка три километра, поэтому хлопцы, которые поменьше, не брезгали и тинистой ямой, где чего только нет – и битые бутылки, и мазут. Заводская охрана гоняла купальщиков, поэтому раздевались они перед оградой, чтобы не оставлять преследователям трофеев. Хвойницкий гонялся за детьми с особенным остервенением. Он всегда появлялся из-за белой слесарной внезапно, с явным намерением не просто прогнать, а поймать. Случилось, что он чуть не утопил семилетнего мальчугана. Купальщики, светя мокрыми задами, улизнули через заранее приготовленный лаз, а один не успел и спрятался под деревянный настил. Хвойницкий выковырял его оттуда прутом, мальчишка отплыл, сколько мог, а Хвойницкий все стоял и не выпускал его на берег. Неумелый пловец начал захлебываться. Хорошо, что подручный кузнеца вышел как раз по своему делу и увидел это. Он в сапогах вскочил в воду, вытащил мальчишку, потом подошел к старательному охраннику и огрел его так, что тот сам оказался в воде. Судить вначале взялись подручного кузнеца, но сняли с работы Хвойницкого. Вспомнили тогда и про то, что Хвойницкий когда-то был "культурным хозяином" и платил "твердый налог".

Этот враг Толиных сверстников стоял теперь перед сонным комендантом, переминаясь с ноги на ногу. Ему очень не хотелось говорить в присутствии рабочих, которых пригнали пилить дрова. Но комендант не считал нужным уходить в душные комнаты. Рыхлое и широкое книзу, точно давшее осадку, лицо коменданта было недружелюбным, сердитые глаза выражали раздражение безвольного человека, которому вое надоело. Комендант уставился в усыпанную ядовито-зелеными прыщами физиономию Хвойницкого и требовательно ждал. Хвойницкий сообщил, что трое "большевиков" ночевали в Покровах, а теперь завтракают. Комендант с грозным неудовольствием выслушал его, что-то сказал молодому офицеру с франтоватыми усиками (говорили, офицер этот из тех русских, что бежали когда-то от революции). Немецкий русский скучающе извлек портсигар и дал доносчику две сигареты. Подумал и добавил еще одну, видимо, сообразил, что большевиков было все же трое.

Шумахер сказал:

– Можете идти…

– Куда… это… идти? – тупо спросил Хвойницкий.

Он, видимо, рассчитывал, что, как только пан комендант узнает про тех большевиков, их сметет с лица земли какая-то беспощадная сила. А тут, выходит, плохо будет не "Толикам", а ему, доносчику, – это он прочитал и в ухмылках рабочих.

В Покрова немцы поехали, но, конечно, только назавтра. С ними отправился и Хвойницкий, чтобы забрать в поселок семью. Когда экспедиция возвращалась, нагрузившись всякой живностью и прихватив двух колхозников, на которых донес Хвойницкий, немцев обстреляли. И, как нарочно, поплатился лишь комендант. Его ранили в живот.

Оказывается, он имел все основания не искать встречи с "Толиками".

Схваченных в Покровах колхозников поместили во внутренней больничной уборной. Приезжая к помпе за водой, Толя слышал рвущиеся из оплетенного колючей проволокой окошечка крики и страшную возню. С людьми что-то делали.

На другой день Толю послали на чердак снять белье. Сверху он увидел, как вдруг распахнулась дверь комендатуры, два немца сволокли с крыльца бородатого человека, совсем голого. Следом вышли еще немцы, самый последний выбежал, как бы боясь опоздать. Человека швырнули на траву, он вскочил на колени, но его притянули за голову к земле. Немец ударил его палкой, второй замахнулся, но никак не может приноровиться, чтобы не задеть тех, что сидят у

человека на руках, на ногах, на голове. Наконец и второй опустил палку. Ритмично и звучно, как выбивают вальками мокрый холст, били человека. Это было так страшно, и это страшное совершалось с такой деловитостью, что все казалось диким сном. И тут человек закричал. Он словно не сразу понял, что с ним делают. А тут понял, понял, что его убивают, и закричал. И будто само тело его поняло это, и оно, убиваемое человеческое тело, кричало протяжно, на одной ноте. Тошнота сдавила горло, Толя привалился к лестнице, чтобы не упасть вниз. По карнизу пробрался к нему соседский кот и мягко потерся о руку. Толю будто обожгло это ласковое прикосновение.

Не отрываясь, он смотрел на белую человеческую спину, слышал замирающий, всхлипывающий крик. Ужасным и непонятным было то, что солнце по-прежнему широко разбрасывало теплые лучи, небо нежно голубело, береза доверчиво касалась ветвями красной крыши комендатуры. Все было прежним, но в нем, в Толе, что-то изменилось в те минуты, пока кричал убиваемый человек: будто вошел кто-то в большую, ярко освещенную комнату, щелкнул выключателем и погасил часть лампочек.

Человека убивали бесконечно, и вот эта бесконечность вдруг оборвалась. Резче стали слышны удары, крик пропал.

Немцы взошли на крыльцо, закурили. Неподвижное тело страшно белело на траве.

А второй убежал. Его повели расстреливать в лес.

Когда после залпа Порфирка направился с лопатой к яме, из нее пружиной взметнулось что-то белое и исчезло в ельнике.

Человек, видимо, упал в яму за какое-то мгновение до залпа. И когда он вскочил на ноги, растерявшиеся немцы даже не сразу начали стрелять.

Через несколько дней опять появились "Толики". Их было уже четверо.

За клубом говорили:

– Опять кто-то поплатится.

– Ну, теперь "Толики" хитрее стали. Прошли по всем хатам, ни одной не миновали. У одних – попить, у других – огонька.

– Попробуй кто донеси: у тебя тоже были. А не были, значит, ты и есть самый подозрительный.

– Смекалка. Партизаны.

Так услышал Толя слово, пришедшее на смену "окруженцам", "примакам", "Толикам", слово, которое давно носилось в воздухе, – *партизаны!*

Часть вторая
Дом мой – крепость моя

"Приехал" Виктор

В конце сентября "приехал" Виктор. Так по привычке и сказала Любовь Карповна, испуганная и счастливая. Теперь слова живут как-то по-другому, с иным значением и точно цена им другая. Выплыли откуда-то из дедушкиного прошлого "волость", "пан", "бургомистр", "господин", "полицейский". Слова эти вязли в ушах, в памяти оживало: "У бурмистра Власа бабушка Ненила..." Казалось, среди живых стали бродить покойники. Оттого, что жизнь загрязняли слова мертвые, враждебные, нужнее и теплее сделались те слова, которые когда-то употребляли, может быть, недостаточно бережливо, как праздничную одежду в будни. Теперь "товарищ", "советский", "коммунист" – это надежда на самое малое и на самое большое: на то, что жизнь не кончилась.

И будничные слова звучат ныне по-другому и означают совсем не то, что означали до войны. Раньше, услышав, что приехал Виктор, Толя бежал к Петреням помогать Виктору разбирать чемодан с красками и альбомами. Теперь "приехал Виктор" означает вот что.

– Я тонко сплю,– рассказывает Любовь Карповна.– Сдается мне, на завалинке кто-то ползает, стену царапает, по окну достанет и опять по стене. "Мама, мама", – будто зовут меня. Не проснусь никак, все забыла, где я, что я. Толкаю локтем в стенку и кричу: "Романыч, проснись, Витик наш на дворе, Витика в кроватке нету". А сама руками лапаю, кроватку хочу найти. Это же надо, чтобы такое причудилось, сколько лет тому. Проснулась, страшно-страшно мне сделалось, к окну – ничего не видно. Когда посветлело, вышла, глядь – боже! Человек под окном, черный, оборванный. Порфирка по шоссе бежал, чуть не кликнула его.

– Этого еще недоставало,– сердито сказала мама, а Толе подумалось, что Любовь Карповна была лучше, пока она не проснулась.

– Я ж не знала, кто это, – оправдывается женщина с нелепыми стеклянными бусами на худой шее,– а как разглядела: о боже, сыночек! Тяну в хату, как неживого, а сама дрожу, чтоб не увидели. Надо доктора, а я боюсь, к вам прибежала.

– Отнесите бургомистру что-нибудь,– сразу распорядилась практичная мама,– а я приду с Владиком. Скажите там в волости,

что он из Витебска добирался, в армии не был. Не пожадничайте только, а то я вас знаю.

Последние слова прозвучали ненужно резко, но мама редко когда разговаривает по-иному с людьми, которых мало уважает. И тем не менее Любовь Карповна бежит к ней по всякому делу.

Любовь Карповна заохала:

– Нету ничего такого. Что и придумать, не знаю. Часы у меня есть, еще Романыча. Он же так любил Витю, хотя и не родной был. – И тут же стала уверять зачем-то: – Да он, милочка, и не был в армии, авиаклуба своего он и не окончил, пришел в цивильном, невоенном.

– Хорошо, все равно несите, – бесцеремонно оборвала ее мама, – о сыне речь идет.

Любовь Карповна согласно закивала головой и убежала.

– Верь ей, – раздумчиво проговорила мама, – занесет какую ломачину, только разозлит того бургомистра.

Порывшись в шкафу, она вытащила новое золотисто-белое покрывало.

Несколько раз мама уже хотела снести его в деревню, обменять на продукты, но все откладывала.

– Отнеси к Петреням, – сказала она Толе, – во что только завернуть?

Толя – с готовностью. Это же к Виктору! Мимо комендатуры, через шоссе – вот и дом Любови Карповны. Дом очень старый, но большой. Вся вторая половина приспособлена под кладовую. Забор завалился, но чего только нет во дворе: дырявая канистра, корзины, ящики (вот они где – аптечные!) и даже жестяные подставки-гнезда для мин и снарядов. Толя невольно присмотрелся: не притащила ли хозяйственная Любовь Карповна и парочку мин к себе во двор?

Без стука вскочил в кухню. Любовь Карповна колдует над раскрытым сундуком, оклеенным изнутри старыми медицинскими плакатами.

– Вот, – подал сверток Толя и заглянул за дощатую перегородку.

На высокой (хоть лестницу подставляй) кровати – одни подушки. Но дальше, на лежанке, есть кто-то под ворохом постилок[5] и одежды.

– Спасибо твоей мамке, – пела Любовь Карповна, – не знаю, как можно и отблагодарить за такую вещь. Ты, Толенька, побудь с Витиком, холодит его, бедненького.

И она убежала. Сколько ее помнит Толя, всегда она жила вот так – все на ногах.

---

[5] Домотканое одеяло *(бел.)*.

Побыть с Виктором? С трудом верилось, что Виктор сейчас здесь. Толя подошел к лежанке, приподнял край фуфайки. Сделал он это с таким чувством, словно совершал что-то нехорошее, пользуясь беспомощностью больного. Заглянул в лицо и поразился: как похож этот чужой, заросший, темный, как земля, человек на Виктора! Над правым глазом глубокая складка, широкие ноздри напряжены, как бывало у Виктора, когда он сосредоточен, и волосы тоже Виктора – черные досиня. Только с одной стороны какие-то ржавые, вроде огнем схваченные. Сухие губы быстро-быстро шевелятся. Толя почти испугался, когда человек вдруг открыл темные, внимательные – совсем как у Виктора! – глаза и, спокойно глядя Толе в лицо, сказал:

– Правый тоже барахлит, до поля не дотянем.

– Что, что? – заспрашивал Толя.

Но глаза закрылись. С колотящимся сердцем Толя отошел от лежанки, сам не понимая, почему его так испугали открывшиеся глаза. Сел на застланную домотканой постилкой кушетку.

Все тут знакомо. Слева, у двери, плита, свежепобеленная, потолок еще больше провис, стены оклеены выцветшими медицинскими плакатами и старыми газетами. На перегородке ходики с рисунком: вверху малец в большой шапке, лаптях и с книжкой, хата с надписью: "Школа", внизу смешной трактор с самоварной трубой и бородачи с красным флагом. Эти ходики, наверное, отсчитали часов больше, чем Толя их прожил. В углу, рядом с иконами, – портрет Любови Карповны. Этот портрет Виктор сделал с фотографии, еще когда начинал учиться в художественном техникуме. Нескладная фигурой, но молодая и даже красивая, белолицая и круглолицая Любовь Карповна стоит, опершись на круглый столик, – такой она была, когда первый раз овдовела. По требованию заказчицы Виктор ярко размалевал и платье и ланиты женщины на портрете, потом хохотал, довольный своей работой. Мамаша его притворно сердилась, но заметно было, что именно такой она себе нравилась – ярко раскрашенной.

Ниже, в сторонке, – нарисованный углем портрет человека в старой, еще "царской", армейской форме. Отчим. Он умер от туберкулеза. А вот таким был в детстве Виктор: глазастый, с оголенными ноздренками, сердито-серьезный. Хорошая дружба была у Виктора с отчимом – старым лекарем. С Любовью Карповной такой близости у Виктора не было. Между ними постоянно шла непонятная Толе война. Виктор грубил, зло подсмеивался над Любовью Карповной, язвил над ее скупостью, она же ругала его всегда во

множественном числе: "абибоки"[6], "объедалы". Виктор приезжал домой только на каникулы. Вначале Любовь Карповна разговаривала с ним ласково, голосом больного и слабого человека. Но сын не принимал этого тона, и тогда начиналось обычное. Мать ругала "бездельников", которые только и умеют "жрать", а сын весело интересовался:

– Кстати, что там в духовке у тебя? Каша?

В день отъезда сына Любовь Карповна снова превращалась в больного и тихого человека, стараясь не замечать иронических взглядов сына. Собираться Виктору недолго.

И привозил и увозил он плоский деревянный ящик с красками да чемодан с альбомами. Все остальное было на нем, и все серого цвета: костюм, пальто, кепка. Серое, оказывается, тем удобно, что подходит для любой поры года. Белья у Виктора никогда не водилось: трусы и летом и в мороз.

Независимость и умение Виктора легко обходиться самым малым, всегдашняя его веселость и одновременно какая-то сосредоточенность – все это очень нравилось Толе. И мысли у Виктора всегда такие смелые. Он уверен, что все зависит только от самого человека, от его "силы воли" – любимое его выражение. Это было ново для Толи, "как в книгах", а потому особенно восхищало его. Когда Виктор рассказывал про Рахметова, казалось, что этот удивительный человек, заставлявший себя спать на гвоздях, такой же хороший и близкий его знакомый, как те веселые и почему-то всегда голодные студенты, с которыми он жил в одной комнате. От худощавого, но кряжистого сына Любови Карповны всегда веяло здоровьем и силой. В одних трусах, босой, он нырял в сугробы, с ног до шеи растирался сухим снегом, а потом брал колун и, не одеваясь, шел разбивать крепкие, как сам он, сосновые комли. Виктор всерьез доказывал, что всякая болезнь – самовнушение и саморасслабление:

– Древние говорили: "В здоровом тело – здоровый дух". А еще лучше: "Сила воли, здоровый дух делают здоровым и мое тело".

Больше всего восхищала Толю легкость и простота, с какой Виктор умел расставаться с вещами, нужными ему самому, хотя доставались ему они совсем не легко: за счет студенческих завтраков и ужинов. Научил Толю играть на мандолине, а так как у Толи не было инструмента, отдал ему свой; начал учить Толю рисовать и тут же подарил набор масляных красок и пачку бумаги – "александрийки". Но однажды мама дала Любови Карповне кусок материи на белье

---

[6] *Абибок* – лежебока, лентяй *(бел.).*

Виктору. Толя увидел, какими холодными могут быть у Виктора глаза и каким жестким голос.

– Это что, за мандолину заплачено? – спросил он, сведя брови.

Любови Карповне удалось убедить его, что материю она сама купила.

А потом Виктора внезапно исключили из техникума. Но он остался в городе – работать. Приезжал еще реже и сразу как-то повзрослел.

Хотя Виктор был на пять лет старше – это не обижало. Алексей, бывало, только и думает о том, как бы отвязаться от младшего братца, будто ему на горбу приходилось его таскать. Виктор же шел с шестиклассником Толей не куда-нибудь, а к девушке. Странные это были посещения. В доме Леоноры тесно от согнутых под потолком фикусов, на огороде, под окнами – везде цветы. Пол прогибается, но крашеный, даже широкие щели в полу чистые, как на кухонном столе у хорошей хозяйки. Толя входил в этот дом, прячась за друга, и всегда старался побыстрее добраться до своего места. Место это – в уголке дивана, и он стремился к нему, как человек, не умеющий плавать, стремится к берегу: не думая о том, хорошо ли он это делает, с каким лицом. Про лицо лучше и не говорить, какое уж там лицо у человека, который вот-вот захлебнется. Но и доплыв до дивана, Толя не обретал уверенности. Он занимался тем, что беспрестанно краснел. Толя не всегда даже догадывался поздороваться со строгой иконоподобной Леонориной мамашей. Когда белолицая и большеглазая чернявка Леонора из приличия обращала внимание и на друга Виктора, тот жался в угол, испуганно прятал глаза. Леонора очень нравилась Толе, впрочем, ему нравились все девушки, которые были старше его. И он боялся этих девушек постарше: их улыбчивые и всепонимающие глаза читают тебя, как букварь. Быть рядом с этими существами неловко и жутковато, но это такая радость – тайком смотреть на продолговатое и словно светящееся личико Леоноры. Толя боится смотреть, но глаза его опять и опять замечают, что черный джемпер очень натянут, даже разрежен на груди. Толя уверен, что Леонора обо всем догадывается, и глаза его по-мышиному мечутся, жмутся, когда их настигает взгляд девушки. Как только в его сторону обращаются царственно невозмутимые очи Леоноры и при этом в них загорается легкий интерес ("Что этот мальчик так вспотел?"), Толины руки начинают хватать все, что лежит или стоит поблизости: книгу, пепельницу, бахрому скатерти. Но где-то, очень-очень глубоко, вспыхивает мысль, что девушка неспроста так внимательно посмотрела на него. Он даже старается слегка приоткрывать рот и напрягать подбородок, чтобы

лицо не было таким отвратительно круглым. То, что в эти минуты он становился на пути своего друга, который так доверчиво брал его с собой, Толю мало смущало. Куда там! В эти минуты он желал своему другу самого плохого: чтобы тот был и рябой, и глупый, и вообще неприятен Леоноре. Кстати, Виктор и сам вовсю старался быть неприятным девушке: дерзил, хватал ее за руки так, что даже больно ей делал. Толя чуть не в рот смотрел своему смелому другу, словно видел перед собой укротителя змей. Сам он умер бы раньше, чем осмелился прикоснуться к руке Леоноры. А Виктор будто сознательно старался прогнать спокойствие и холодную приветливость с красивого лица девушки. И когда это удавалось ему, когда краска (Толя с удивлением догадывался, что это цвет удовольствия, а не гнева) ложилась на нежные девичьи щеки, Виктор смотрел на нее каким-то другим, вспыхивающим взглядом.

Такой вспыхивающий взгляд у него, когда Виктор доволен положенными на холст красками: отстранится и любуется. Хлопцам, Янеку и Алексею, он говорил про Леонору:

– Это же античное лицо. Линии какие! И такое же спокойствие. И вдруг оно оживает: линии те же, а свет изнутри иной, точь-в-точь – деревенская девушка, стыдливо держащая фартук у рта. Сочетание, а?

Как он теперь встретится с Леонорой? Она ведь здесь и стала какой-то вызывающе красивой. Наряжается будто назло всей той бедности и грязи, что заполняет теперь все вокруг. Рядом с Леонорой легко было представлять того, вчерашнего Виктора. А вот этот Виктор, обросший, постаревший, беспомощный?.. Да он ли это там за перегородкой?

В Толином сознании Виктор неотделим от всего, что осталось в довоенном. В теперешнюю жизнь Виктор не вошел еще ни словом, ни осмысленным взглядом, ни поступком, и совершенно невозможно представить, как вчерашний Виктор возможен в сегодняшнем. О чем бы заговорил он, выйдя из-за перегородки? Толя даже посмотрел с непонятной тревогой за перегородку.

Он почувствовал облегчение, когда увидел наконец бегущую через двор Любовь Карповну. Вбежала и затараторила. Все уладилось, бургомистр взял покрывало. Любовь Карповна поставила греть воду, разобрала свою высокую постель. Казалось, она только теперь поверила, что сын дома.

Толе вспомнилось, как однажды он все же видел Виктора жалующимся. С неожиданно свежей обидой он рассказал маме про

то, как "мамаша" после смерти отца "сплавила" его к дальней родне, чтобы он не мешал ей "быть молодой". Толя даже помнит слова его:

– Я никогда не знал матери, а только неискреннюю чужую женщину.

Возможно, если бы Виктор увидел вот эту суетящуюся счастливую Любовь Карповну, что-то могло бы измениться в этой странной семье.

Вошла мама, за ней в низкую дверь влез Владик и сразу направился к больному с лицом озабоченным и строгим. Спустя какое-то время Толя услышал слово "тиф", по-разному повторенное Владиком, мамой, Любовью Карповной.

– У него кризис на исходе, как мог добраться он в таком состоянии? – удивился Владик.

Вспомнилось: "сила воли".

Мама предупредила Любовь Карповну:

– Не проговоритесь никому. Они тифозные дома сжигают вместе с больными.

– Сохрани и помилуй, боже!

Толя пишет стихи

Толя был поэт – об этом знал лишь он сам. И если у Толи не всегда ладилось с друзьями, это можно было понять: они не знали, что он поэт, и относились к нему так, как если бы он не писал стихов. Сам же Толя легко шел на ссору: ему и с самим собой не скучно.

Начинал учиться в школе он несколько странно: уже в первом классе ему разбили голову, во втором – два раза. Обстригая ранку и безжалостно обрывая Толин скулеж, папа всякий раз интересовался: что будет в десятом? А Толе просто не везло. Станут перебрасываться камнями через крышу – кому попадет? Толе, конечно. Один старшеклассник, который уже изучал законы физики, рассудил:

– Это у него голова большая – притягивает.

Читать Толя не любил до четвертого класса, с тяжелым смирением брался он за книжку. Миньке объяснял: научиться хорошо читать можно по любой книге. И показал другу брошюру о картофеле, которую он пытался осилить. Прыщеватая и красневшая даже перед школьниками молоденькая учительница русского языка, которая все ходила к маме за мазями для лица, подарила Толе однотомник Пушкина. Толя прежде всего взвесил его в руке: какие есть книги толстые! Брошюра о картофеле куда-то затерялась, и Толя взялся за Пушкина. Стихи заучивать он не любил. Но очень скоро обнаружил,

что среди обычных слов в голове у него поют удивительно звучные, круглые, праздничные слова:

Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана.

Будто "уши отложило" ему. Толя вдруг уловил, что все слова живут не сами по себе, что они ударяются друг о дружку и звенят, как весенние сосульки: *он – Купидон, грезы – слезы, мама – упрямо…*

А однажды проснулся он каким-то удивительно легким, счастливым, как просыпаются только в детстве. Солнце колышет прозрачные, словно из лучей, шторы, в кухне голоса, и среди них – мамин, за окном кричат мальчишки: весь мир уже проснулся и ожидает лишь тебя…

Я лежу, гляжу в окно –
Все мне очень мило.
Над страной взошло давно
Дневное светило.

Что это? Да это же стихи, *его* стихи! Толя повторил, правда – стихи!

Вошла мама, взглянула на счастливое лицо сына и так хорошо сказала:

– Полежи, сынок, помечтай.

Как она угадала?

Жил с тех пор Толя в постоянной работе, будто нашел удивительный механизм и занят тем, что беспрестанно проверяет: действует ли?.. "Звезды смотрят вниз – кот полез на карниз", "Мне не спится – земля вертится"…

Когда-то Толя любил рассматривать все предметы снизу, изучать то, что скрыто от глаз взрослых: залезал под кушетку или кровать, под стол и лежал там, пока мама не выгонит. По ее мнению, он занимался тем, что спиной вытирал пол.

А тут на него новое нашло. Ему нравилось теперь ко всякой вещи сызнова примеривать ее название. "Хле-еб". Почему это – "хлеб", а если – "стол" или "чернильница"? Почему хлеб обязательно – "хлеб"? А если про дерево сказать – "человек"?

В голове у него был страшный кавардак.

– Толя, ставь стулья и зови обедать.

– Почему – "стулья"?

– Что почему? Обедать надо, папа сейчас придет, некогда ему вас ждать.

Все в мире приходилось называть наново. Деревья – "зеленые". А если сказать – "красные"? Нет, само слово "зеленый" будто окрашено в цвет деревьев.

Но когда Толя читал Пушкина, вещи и их наименования не вызывали сомнений: все тут на месте, кажется, что это Пушкин первый назвал небо – "небом", соловья – "соловьем", шатер – "шатром". С этого и началось удивление, а потом и то, что нельзя назвать иначе, как любовью. Толя влюбился в Пушкина, как влюбляются в живых: стыдливо, мечтательно. Он даже на свидания ходил к Пушкину.

В одном из классов (дядя жил в школьном здании) висел портрет. Этот Пушкин был по-особенному приветливый, черты лица не резкие, бакенбарды мягкие. Случалось, что после уроков, когда уже начинали густиться по углам вечерние тени, Толя *шел к Пушкину.* Как полагается для свидания, брал с собой книгу. Заглянет кто-либо в класс – что скажешь? Приходил к Пушкину? А так – читал.

Толя садился за парту, смотрел в порывистое и светлое лицо на стене и даже что-то говорил:

– Вот, опять я...

И было ему печально и сладко в эти мгновения. И еще было ощущение чего-то жутковатого, запретного, ему самому непонятного. Уходя, он прощался с глазами Пушкина, а потом из коридора засматривал еще раз, зная, что снова и снова встретится с провожающим и приглашающим взглядом.

Пушкин – тот, что в строчках, и тот, что на портрете, – отвечал на всякое Толино чувство: с ним одинаково полно можно быть и счастливым, и грустным, и спокойным, и неспокойным. Когда Толя был еще в пятом классе, Пушкин подсказал ему, что печально-сладкое томление, которое мучило, это не что-то запретно-постыдное, а, наоборот, очень красивое. Оно называется: "любовь", "нега", "печаль". Через Пушкина он узнавал самого себя, у поэта он находил слова, называющие Толины переживания. Названия были самые неожиданные, но лишь такие и устраивали Толю; в своих стихах Толя именовал беленькую, глазастую Лялю "коварной", "жестокой девой", себя величал "пустынником одиноким", лоб свой – "челом", встречу во втором классе с Лялей называл "роковой". "Коварство" же беленькой девочки заключалось в том, что она не догадывалась о настоящих Толиных чувствах, когда он, угрюмо опустив глаза и упрятав подбородок в воротник, старался прошмыгнуть мимо. Правда, прятал глаза он от страха перед приветливой девочкой, а бычился, наклонял голову, чтобы лицо не казалось таким круглым. Но Ляле, видимо, было

все равно. Она бегала и смеялась с теми, у кого на "челе" не имелось "печати рока".

Раньше, когда маме говорили, что у нее красивый мальчик, "совсем как девочка", Толя буркал из-под маминой руки:

– Сама ты красивая.

А тут он стал часто смотреться в зеркало. И огорчался: не лицо – одни щеки, так и хочется ткнуть пальцем. Очень кстати ему сделали кубанку, удлиняющую лицо. Толе она так полюбилась, что он даже на печи в ней сидел. Но и в кубанке Толя готов был два километра крюка задать, только бы не встретиться с Лялей. Глаза у нее такие дружелюбные, словно выкатываются тебе навстречу, вот-вот что-то скажет. А заговори она с ним, Толя провалился бы сквозь землю. Вот он и шмыгал мимо, злобно хмурясь. Девочка провожала его удивленным взглядом, приветливая улыбка на всегда бледном личике ее иногда сменялась тревогой, обидой. Толя не знал, что живущая без матери и отца девочка очень чувствительна ко всякому злому взгляду, слову. Но и Ляля тоже не знала, как ласково и жадно смотрел в ее сторону Толя, когда она его не могла видеть. В темном клубном зале, когда механик кинопередвижки заряжал новую часть, Толя вскакивал и смотрел, смотрел туда, где сидела Ляля, вспыхивал экран – он прилипал к стулу. Иногда движок долго не заводился. Публика стучала, мальчишки свистели, один Толя был доволен. Кино часто кончалось тем, что механик подходил к экрану и объяснял, что было бы в картине дальше. А Толя спешил к выходу, чтобы, притаившись на веранде, увидеть хотя бы Лялину тень.

Однажды произошло ужасное. К празднику возле клуба фотографировали пионеров. Волосатый фотограф долго прикидывал так и этак. Потом вывел из группы Лялю и стал высматривать еще кого-либо. От мысли, что могут приметить и вызвать его, Толя вспотел, налился краской. И, может, потому его и заметили. Дальше все происходило, как в страшном сне. Фотограф велел Ляле и Толе лечь перед группой "голубками" – голова к голове. Оправив каким-то очень взрослым движением белое платьице, Ляля опустилась на траву. Толя не мог шевельнуться, уши его пылали. Волосатый требовательно надавил на плечо. А все смотрят и, конечно, смеются. Правда, Толя ничего не слышал и не видел, он лишь помнил, что возле его ног – Ляля. Пришлось сесть, пришлось и лечь на локоть, но все это Толя делал под нажимом, словно все суставы у него проржавели: не выпрямили ему левую ногу, она и осталась поджатой. В этой судорожно поджатой ноге, казалось, собралось все его внутреннее напряжение.

– Головками поближе – не уколешься, – потребовал безжалостный фотограф.

Лялины волосы коснулись щеки, Толя испуганно дернулся. Так и на карточке получилось: он – темен лицом, смотрит исподлобья, ковыряет стеклышком землю, а головкой к нему – доверчиво спокойная Ляля.

А потом уехала Ляля с братом и теткой-учительницей. Толя тосковал, и ему противно было видеть других шестиклассниц. Особенно не полюбилась ему худющая черноволосая Валя. А она, как нарочно, все попадалась ему на глаза. У Ляли самое заметное – доверчивые глаза да бледное личико. У этой сразу бросались в глаза широко расставленные, наивно-бесстыжие бугорки под платьем. Ходила она как ветер, разговаривала громко, смеялась так, что в другом конце коридора услышишь, и всегда распевала свое "Сулико". И еще любила задавать учителю вопросы, тоже наивно-бесстыжие. Услышит от хлопцев слово и просит пояснить. А бедный учитель не знает: выгнать ее из класса или в самом деле объяснять. У хлопцев Валя ходила в героях: вот это девка, казак!

И вдруг Толя почувствовал, что влюбляется и в эту. Как почувствовал? Вот он уже перестал замечать, что Валя уродливо худая (оказывается, она гибкая, подвижная), лицо у нее не вытянутое, как еловая шишка, а тонкое и чертовски умное, она не нахальная, а смелая и веселая. Толя теперь сознательно старался приблизиться к Вале, даже подружиться с нею до того, как Валя станет для него пугающе-недоступной. Он уже понимал, что, если заранее не сумеет приблизиться к девочке, чтобы хоть не бояться разговаривать с нею, смотреть ей в лицо, потом он не сможет этого сделать и опять будет мучиться издали. Толя искал случая заговорить с Валей, но, поскольку у него уже была тайная цель, он терялся и вел себя так, что потом стонал, как от зубной боли: "Глупо, глупо..." Все это лишь ускорило приход уже знакомого ему страха перед девочкой. Валя заметила, что этот головастый чудак ее за что-то невзлюбил: сторонится, не глядит! Ну и пусть!

Все повторилось, но на этот раз Толя тосковал острее и мечтал слаще.

И тут возвратилась Ляля. Увидев Толю возле школы, она подбежала, засмеялась, Видимо, она обрадовалась ему так же, как школьному двору, липкам, знакомом пионерской мачте, но все же ее первое движение, такое непосредственное, на какой-то миг разрушило стену мучительного отчуждения, воздвигнутого Толиной трусостью. Теперь все от Толи зависело.

– Уже приехала? Скоро.
– Мы с тетей в Пятигорске были. Как там хорошо!
– Горы…
– На Машуке были, где убили Лермонтова.

Толя промолчал. Но промолчать для него было так же опасно, как для человека, идущего по узенькой кладке, сбиться с ноги.

– А что у нас тут? – помогла ему девочка.
– Ничего.

Толины глаза, как от режущего света, болели от доверчивого взгляда простеньких голубеньких глаз девочки. С этим "ничего" он и поспешил сбежать.

Но с того момента Толя понял, что любить – радостно. А Валя? О ней он думал уже с неприязнью, как бы мстя ей за свою несмелость, за свою тоску. Он уже не помнил, что то же самое он пережил и "по вине" Ляли.

Прошло несколько дней, и Толя уже не понимал, кого ему хочется видеть больше: Лялю или Валю. Он слонялся по поселку, каждый вечер убегал в клуб, даже вечером выходил на шоссе, где шаркают подметками хлопцы постарше. Если ему удавалось издали видеть смуглянку Валю, он думал и про беленькую девочку с добрыми глазами. Он и во сне видел, чувствовал их как что-то одно.

Потом Ляля уехала насовсем, а следом и Валя. А Толя писал о них в своем тайном дневнике. И когда у дяди жил. В тетрадке у него все меньше было "роковых страстей", "коварства", хотелось писать о дожде, о дороге…

Сырое небо без конца
Водой сочилось. И сам воздух
От влаги весь разбух, казалось,
Отяжелел и вязким стал.
Казалось мне, что вся земля,
Тоскливо-серая, как небо,
Сплывет через края куда-то…

Это были невеселые стихи, по они принадлежали ему, и оттого, что, по его убеждению, стихи хороши, Толе было очень радостно, когда он их писал, а потом без конца читал самому себе. Он был в том возрасте, когда сама грусть по ушедшему, неосуществленному живет в человеке как обещание чего-то еще более радостного, нужного, большого. Впереди было столько всего: там была жизнь!

Пришли немцы – и это все тоже стало "довоенным", как бы осталось за чертой.

Толя любит вот так сесть над открытым сундучком, смотреть на книги, на свой дневник, на школьную тетрадку стихов и думать. Когда-нибудь Толя будет вспоминать о происходящем теперь, как о прошлом. И вот этот миг тоже будет тогда в прошлом: *Толя сидит над своими книгами, в соседней комнате стучит молотком дедушка, мамин и бабушкин голоса на кухне, а за стенами дома – немцы.* С усилием попробовал представить, что комендатура, волость, полицаи, неизвестно чем и для чего живущие люди – все это осталось бы навсегда. Даже представить не смог: перед глазами сразу встала стена.

Толю позвали. Опять за водой? Нет, песок понадобился ножи чистить. Война войной, а у мамы в голове еще и это. Захватив старое ведро и лопату, Толя побрел к шоссе: там, под соснами, есть специальная яма. Вот тебе и раз, кто-то умный свалил сюда мусор! Толя направился к другой яме. Тут в холодном песке ковыряется Надина девочка. Над нею висит соседский пузан, сопит сопливо и глядит на красные, как гусиные лапки, Инкины ручки, а свои зябко прячет в длинные рукава фуфайки.

– Ну, дайте мне, – сказал Толя.

Он не умеет разговаривать с малышами, и ему всегда кажется смешным лицо брата, когда тот возится с "лупатенькой" (так он Инку называет) и даже целуется с ней. А вообще-то Инка забавная а, правда, лупоглазая: когда смотришь в большие, верящие и такие ожидающие глазенки этого человечка, невольно и сам начинаешь широко открывать глаза, округлять их навстречу Инке. Вот так же нестерпимо хочется зевнуть, когда видишь, как рядом кто-нибудь ртом ловит сон.

Инка выбралась из ямки и ссыпает Толе под лопату черный песок, да еще глядит так, будто Толя за тем и пришел, чтобы играть с нею.

– Инка, немец твоего котика забрал.

Соседка Надя рассказала, что ее Инка прячет за печкой от немцев котят. Она, конечно, убеждена, что раз кур взяли и поросеночка, так уж котят, тепленьких, с пушистыми хвостиками, схватят сразу. Толины слова зажгли тревогу в черных глазенках. А Толя продолжал:

– Во-он пошел.

Действительно, через Надин двор шел немец. Тревожным женским взглядом проводила его Инка, личико ее такое озабоченное, точно дома у нее – куча детей. Толе стало жалко ее.

– А ты сбегай, погляди.

Инка с опаской потопала к дому. Ее товарищ, путаясь босыми ногами в фуфайке, последовал за ней. Отбежав, остановился и грозно глянул на Толю, а потом еще быстрее замелькали его чистые клубничного цвета пятки.

Толя набрал полное ведро желтого песка и вылез наверх. По шоссе, как заводные, шагают в ногу два немца. Инка и ее товарищ громко кричат у себя во дворе:

– Ладуга, ладуга, не пей нашей воды!

А красиво встала радуга над лесом: точно ободок зеркала, в которое смотрится желтая осенняя земля. Какая поздняя радуга! Толя прикинул, как про это можно сказать в стихах. Стоя над ямой, разжал ладонь и выпустил лопату: насколько войдет в песок? Железо звякнуло. Доставая лопату, Толя ковырнул землю. Удивился – мешковина! Он соскочил вниз и стал тащить из-под тяжелого песка тряпку…

По шоссе идет караул с моста, напротив комендатуры часовой потрошит корзины женщин.

Толя сел на край ямы и, беззаботно помахивая ногой, проводил невинным взглядом немцев. А самого дрожь бьет. Немцы свернули к комендатуре, в Надином дворе нарочито громко ("наперегонки") смеются дети. Толя опять соскользнул вниз. Хорошо бы пересчитать, но и так видно, что гранат больше десятка. Новенькие, зеленые. Кто мог зарыть их? Или это немцы собрали, что осталось после боя? Первое побуждение – присыпать находку песком и уходить подальше – исчезло и не возвращалось. Будь тут одна или две гранаты, Толя просто отнес бы найденное к Миньке, они разобрали бы их – и на том конец. Но тут целый склад. То, что гранат много, что даже знать о них – опасно, направило Толину мысль в еще более опасное русло: гранаты необходимо перепрятать. В сарай? Надо с Павлом посоветоваться.

Толя перешел к другой яме, расковырял мусор, сделал лунку поглубже, потом вернулся к ведру, высыпал из него песок и торопливо сунул в ведро тяжелый влажный мешочек, сверху присыпал песком. Он чувствовал, что делает много лишних и подозрительных движений и переходов с места на место. Но он как-то отупел, думал лишь о том, чтобы поскорее все окончить. И опять пошел к приготовленной ямке, опрокинул ведро, привалил гранаты песком и мусором. Все это он проделывал, удивительно ясно сознавая, что спрятал плохо и слишком неосторожно, но думал об этом с непонятным безразличием.

– Где ты пропадал столько времени? – встретила его мать. – Еле ноги переставляют, слоняются, как мертвые. Когда я вас научу!

Ну, пошло! Мама теперь так только и разговаривает, сердится. Постоянное раздраженно резче обычного ломит ее брови. На высоком неспокойном лбу морщины, раньше их Толя не замечал.

Толя смолчал, чувствуя свою вину за то, что так глупо возился со своей опасной находкой, и за то, что он не скажет о ней маме. Скажешь – совсем разнервничается, а Толя будет в ответе за все: и что война, и что немцы, и что гранаты ему под лопату попадаются.

– Мусора навалили там, – оправдывался он.

– Все у вас так.

– Ай, мама!

– Что ты айкаешь? С ума скоро сойдешь, а они еще тут…

"Они" – это обо всех, но прежде всего о Павле. Мамино постоянное раздражение все чаще наталкивается на встречную обиду и раздражение Павла и бабушки. Даже Маня дуется. Чем чаще и злее она ругает мужа, тем реже заговаривает со своей старшей сестрой.

Толя все это замечает, и, хотя он не любит видеть маму такой, какая она сейчас, он на ее стороне. Он всегда на ее стороне.

Когда Толя сообщил о находке Павлу, у того глаза загорелись.

– Запалов не видел? Желтые такие карандашики.

– Нет, не видно там.

Оказывается, не такая это ценность, если без запалов. Толя не выдержал, сказал и про две винтовки, и про цинки с патронами.

– У нас все есть.

– У кого это?

– Ну, у нас с Минькой.

Павел вдруг погас, точно вспомнил о чем-то.

– Не лезьте вы в дела эти.

Что это он, от мамы научился?

– А где у вас? Забрать надо, а то попадетесь еще.

– Я скажу Миньке.

– Нет, нельзя. Не говори.

Толя колебался. Но товарищеская солидарность и общая тайна мало значили там, где кончалась игра и начиналось настоящее. А тут было уже настоящее.

С немцами по-немецки

Жизнь в Лесной Селибе шла своим чередом. В домах, которые поближе к шоссе, разместились на постой офицеры. Павлу с Маней пришлось перебраться в комнату к старикам. В зале засел немец в черной форме. Его сразу так и прозвали: "черный". На кухне

сделалось тесно от необычайно подвижного переводчика-познанца. Он день-деньской варил и кипятил что-то черному немцу и его овчарке. С поваром-переводчиком бабушка скоро поладила. Дедушка над ней посмеивался:

– Шляхта моя застенковая хоть наговорится с паном. А то век с мужиком промаялась.

– И правда, что мужик, – отмахивалась бабушка, – эт!

– Как ты промахнулась так, мати, что за мужиком свековала?

– Бо молодая, дурная была.

У бабушки уже было двенадцать детей, когда, овдовев, она выходила за "мужика", но это в расчет не берется.

– Поучись у этого, как панам готовить, и нам слаще чего сделаешь, – советует дедушка.

А любопытного много. Пока "черный" сидит, запершись с собакой (хоть бы урчали там, а то – ни звука), денщик-познанец разливает очередную порцию еды хозяевам, а чтобы не слишком обжигало им нутро, он воровато помешивает пальцем в тарелках.

– Цо пан роби? – поражается бабушка.

Ловкий повар, бойко смахнув с пальца горячую жижу, скороговоркой поясняет:

– Э, вшистко едно![7]

"Черный" и его овчарка едят очень часто, но все одну и ту же горохово-бобовую тюрю. На второе им носят чай. Ни "яйко", ни "млеко", кажется, не интересуют хозяев повара-познанца.

Ровно в полдень черный немец и овчарка выходят "на шпацир". "Черный" идет впереди, подтягивая левую ногу, за ним – овчарка, сзади марширует познанец. Хотя у "черного" нет никаких знаков отличия, встречные немцы, завидев его, деревянно стучат каблуками. Но, миновав опасность, некоторые переглядываются с денщиком, и тогда познанец тоже начинает подтягивать ногу и ковылять.

Однажды "черный" заметил это. Он подозвал познанца и начал, как парикмахер, спокойно обрабатывать его физиономию оплеухами. Овчарка по долгу собачьей службы беззвучно оголяла клыки, но в глазах у нее чисто собачье удивление: перед нею было существо, которое не огрызается и не убегает, когда его бьют.

Дома "черный" все время сидит "у себя" и, кажется, никого не замечает. И его старались не замечать. Но пока он не уехал в Большие Дороги, где, по слухам, возглавил СД, у всех в доме было такое чувство, как если бы в соседней комнате поселился хищный зверь. Его

---

[7] Э, все равно! *(польск.)*

не слышно, но, может быть, в эту минуту он уже стоит у двери, сейчас толкнет ее мордой и войдет…

Наведывались и другие немцы. Но их умело выпроваживал познанец, пугая своим шефом. Непонятен этот носатый, с напомаженным пробором человек. Хочется почему-то верить, что за маской франта и шута кроется что-то. Павел и тут верен себе: пытается распропагандировать его, заговаривает о фронте, Москве. Познанец делает шутовские глаза и машет пальцем перед носом у Павла.

Интересный разговор с одним немцем произошел у Нины. Ома мыла кухню, когда кто-то сильно рванул дверь.

– Матка, мильх!

Из столовой Толе все было видно.

"Матка" Нинка, раскидав косички, с тряпкой в руке стоит перед большим немцем, замурованным в смолисто-черную накидку. У немца офицерская фуражка с высокой тульей. Вздернув топкие плечики к ушам, как она это умеет делать, Нинка очень серьезно говорит:

– Не форштейн.

Офицер вытащил из кармана перчатку и "доит" ее за пальцы.

– Ферштейн?

– Форштейн, – радостно взмахивает косичками Нина.

– Гиб мильх.

– Не форштейн.

Тогда офицер снял фуражку, сделал у лба "рога" и промычал очень даже похоже. Спросил:

– Ферштейн?

– Форштейн.

– Гиб мильх.

Нина даже лопатки свела от непонимания, а рукой, в которой мокрая тряпка, для вящей выразительности взмахнула перед лицом гостя:

– Нихт форштейн.

"Нихт" у нее получилось даже здорово, не хуже мычания немца. Лакированный козырек офицерской фуражки звонко опустился на несообразительную Нинкину голову.

В дом быстро вошла мама.

– Что тут? Чего он хочет?

– Мо-ло-ка, – сквозь плач сердито пропела Нина.

Из соседней комнаты донесся голос познанца:

– А, зрозумяла, поняла!

– Иди принеси кувшин, – приказала мама.

Всхлипывая, Нина осторожно обошла большого немца, долго не возвращалась из кладовой, принесла молоко и, обойдя немца, подала маме.

А когда сели обедать, бабушка пожаловалась:

– Нехта всю кладовую молоком залил.

– И надо же, – догадалась мама, – сплеснула все же сливки на пол.

Вечером в столовую заглянул познанец, как всегда прилизанный, с неопределенной усмешкой в шалопутных глазах. Пощупал Нинкину голову:

– Ферштейн?

Нина сердито сбросила его руку и полезла на печь.

– Пенкна паненка, хорошая, – совсем развеселился познанец и удалился, легкий и шумный, как пузырь с горошинками.

Скоро в зале поселился другой офицер. В первый же вечер он вошел в столовую, где при коптилке играли в карты. На него старались не глядеть, и он тут же удалился, показалось, даже смущенный. Он какой-то неловкий в движениях, лицо в оспинах.

Утром явился Казик. Увидев немца (тот вышел в кухню с бритвенным прибором), Казик громко провозгласил и даже руку вознес:

– Ес лебе геноссе Сталин! Няхай жыве!

Немец от неожиданности даже голову вздернул, как испуганная лошадь, и тут же покраснел густо-густо. Он внимательно и подозрительно смотрит на Казика, у того лицо самое невинное и беззаботное. Весь вид Казика говорит: "Все это не серьезно. Иначе разве стал бы я в присутствии немецкого офицера произносить такие слова. Вы же человек интеллигентный, понимаете шутку – я это вижу".

Встречная вынужденная улыбка вместе с потом выступила на бугристом лице немца: "Да, конечно, я понял, почему вы осмелились произнести такое. Но..." Немец тут же нахмурился и ушел в комнату, забыв сполоснуть помазок.

В столовой уже балуются подкидным. Янек старательно прячет карты в колени и за каждым ходом приговаривает бабушкино: "Эт, такой бяды!" Страшно доволен он и бабушкиной фразой, и самой игрой. Выиграет – доволен, проиграет – тоже. В полный восторг приводит его дедушкино слово "говяда".

– Говяда ты, брат, а не игрок.

Дедушкино "говяда" означает корову, но какую-то особенно дурную, как сало без хлеба, ту, о которой говорят: "волчье мясо".

– Говяда? – переспрашивает Янек.

– Говяда, брат, хочешь – обижайся, хочешь – не.

Казик шумно поздоровался, переглянулся с Павлом и подсел к играющим. Толю мама отправила за дровами. Вернувшись, он застал всех в столовой. И немец тут. Он чертит на карте линию фронта. Павел смотрит на его карандаш спокойно: он заранее знает, что будет врать немец. Мама стоит в сторонке. Бабушка подступила к самому столу и, как прилежная ученица, даже головой кивает: все понимает. Она чувствует на себе веселый взгляд деда и хмурится, вот-вот скажет: "Эт, старый дурень". Казик повис над картой, егозит, поддакивает немцу, явно стараясь выудить у него как можно больше. И все переглядывается с Павлом. А немец клонит к тому, что к зиме "Москау капут", намекает на японцев.

– Рано, пташечка, запела, гляди, как бы кошечка не съела.

Глухой дедушка только и услышал про "Москау", и ему кажется, что он сказал тихо, но по укоряющему взгляду невестки понял, что провинился. Он засопел и взялся свертывать цигарку.

А тем временем Толя повыспрашивал у Янека нужные немецкие слова. Краснея от смущения и радуясь возможности просветить немца, Толя торопливо выложил:

– Наполеон взял Москву, а ему сделали капут.

Немец не поднял головы, из-за его спины мама грозит Толе кулаком, но и улыбается почему-то. Казик вставил что-то спасительное, но офицер встал и, ни на кого не глядя, вышел. Не успел Толя получить нагоняй, как немец вернулся. Со словарем. Поискал и торжественно указал Янеку. Тот проспрягал:

– Повесим, повесят…

– Ничего не скажешь – тоже аргумент,– скороговоркой согласился Казик.

Немец нашел и существительное.

– Осторожность, – прочел Янек.

Через несколько минут немец вышел из зала с чемоданом. На прощание больно постучал согнутым пальцем Толю по лбу, сделал взмах рукой и ушел.

Толя небрежно заметил:

– Он, наверное, совсем из поселка уезжает.

– Испугался?– набросилась на Толю мать.– И ты что-то понимаешь! Вот пойдет и заявит в комендатуру.

Но почему-то опять улыбается. А за ужином вернулась к этому.

– Казик хитрый. Скажет – и не поймешь, серьезно он или нет. А вы, дурни, так и влопаетесь.

Павел принял это на себя.

– Когда я что говорю?

– А мало ты с ним шепчешься? Как баба! – вступила в дело Маня.

– Вот что, Павел, – серьезно заговорила мама, – я их лучше знаю. Жигоцкие – это особые люди, поверь моему опыту. Ты же не один, пойми наконец. Я не могу объяснить, но меня никогда не обманывает чутье.

Это даже для Толи прозвучало неубедительно. Вмешался Алексей. Подобные разговоры о людях вызывают у него что-то похожее на зубную боль. Он морщится и просит:

– Ну что ты, мама, зачем заранее говорить на человека!

Мама сдается.

– Да что вы на меня все, – смеется она, – я же только советую осторожней быть, а то вам все шуточки…

Виктор поправился

Виктор поднялся очень скоро. С остриженной ножницами, нелепо полосатой головой, в застиранной неопределенного цвета рубахе с большими белыми пуговицами, очень худой – совсем неузнаваем. Толю встретил кривой усмешкой, хотя и не к нему относящейся, но неприятной.

– А, Толя! Ну, что у вас тут? Слава богу, стало тихо, как говорит моя мамаша. А вот и она, к слову.

Вбежала Любовь Карповна.

– Полежал бы, Витик.

– Ну, что там, говори уж? – поморщился Виктор.

Его догадливость немного смутила Любовь Карповну.

– Это можно и завтра. В сарае работа есть.

– Закурить не раздобыла?

– О хлебе теперь думать надо.

– Я у дедушки попрошу, – обрадовался возможности услужить Виктору Толя. Правда, он несколько удивлен, что Виктор курит. До войны курение у него входило в разряд "лишних привычек", которые порабощают человека, связывают.

И еще наведывался Толя к своему бывшему другу, но теперь даже странно, что у них были когда-то общие дела, интересы. И не то чтобы Виктор слишком повзрослел, просто он стал совершенно другим, а с этим другим Толя никогда не дружил. Виктор неприятно безразличен ко всему. О чем ни рассказывай ему, все молчит, только и забота у него, как бы покурить. А потом взялся наводить порядок возле дома, в сарае. И хотя Любовь Карповна страшно довольна его неожиданной домовитостью, он не перестает язвить над нею, но уже

не весело, как прежде, а как-то мрачно, зло. Толя рассказал об этом маме, как о чем-то очень забавном. Она нахмурилась:

– Что это он, кажется, и не дурак. И ты там выучишься так с матерью разговаривать.

Скажет ведь: то – она, а то – Любовь Карповна!

– Леонору, гречанку нашу, встретил, – сообщил однажды Виктор, – постояли, помолчали, повыкали. Похорошела и живет как бы в укор людям: у меня нос с горбинкой, нужно мне знать про ваш там фронт!

Правду говорит Виктор, она и Толю совсем не замечает, словно и не бывал у нее дома, не сидел на диване...

Виктор стал приходить к Толе домой: закурить у дедушки, поиграть в карты, помолчать. Он редко вступает в разговоры. Павел попытался было выяснить с ним некоторые вопросы немецкой политики, но с Виктором серьезный разговор трудно вести: он слушает без особого интереса. Заметно, что Надю этот молчальник раздражает, а Казик точно смущается при нем, сникает, слова у него как-то перестают вязаться. Надя не умеет и не желает скрывать свои чувства. В дом она всегда врывается, как с мороза, энергично и шумно.

– О, вижу мужчин! Учителя, художники... – удивилась она. За столом – картежники: Казик, Павел, Толя и Виктор Петреня. – А я думала, – продолжает Надя, – все они или в плену, или в бобиках.

– Или на фронте, – поправил ее Казик.

– Там не вы.

– Или в лесу.

– Там настоящие. А вы...

– "Молодые девушки немцам улыбаются, – затянул Казик, – позабыли девушки..."

– И правильно вас позабыли.

Как бы извиняя Надю и прося других извинить ее, Казик кричит весело:

– Надя такая!

– Ай верно! – сказал Виктор. – До войны мы себя ого какими видели!

– Ругают теперь довоенное, чтобы себя оправдать... кому это необходимо, – глядя в карты, произносит Павел.

– А если уж про то... – вспыхивает Виктор, – многого не было бы сегодня, если бы не было вчера.

– Жду, когда полетит шерсть, – довольная, говорит Надя и садится на табурет.

– Моего тестя раскулачили, – Павел уже глядит прямо в лицо Виктору, – значит, нам куда теперь? Кому охота – пожалуйста. Справимся. И с чужими и со своими.

Павел видит, что в проеме двери, на кухне стоит Анна Михайловна и смотрит на него. Сердито дернул плечами, но замолчал.

Казик, держа карты на столе, объясняет Виктору обстоятельно и чуть-чуть снисходительно:

– И вчера и сегодня происходил и происходит отбор человеческого материала...

– Не цитируйте мне немецкие газеты! – резко оборвал его Виктор.

Казик даже растерялся. Переглянулся с Павлом. Но тот молчит.

Надя пошевелилась, как бы получше усаживаясь:

– Мне начинает нравиться!

– Не о материале, а о людях пора думать, – говорит Виктор. – "Братья и сестры!"... Вот то-то же! Спохватились. Что сто́ят анкеты, мы уже убедились. Писали, писали, а нужной оказалась графа, которой-то и не было: человек ли? Ее-то потруднее заполнить!

Помолчав, Виктор уже спокойнее проговорил:

– На самом острие война идет между политическими целями. Но есть в этой мировой войне и более широкий фронт, проходит он между человеком и тем, что фашизм хотел бы из человека сделать. Тут каждый втянут...

Вошла из кухни Анна Михайловна:

– Обедайте с нами. В городе Любовь Карповна?

– Да, побежала в город. В церковь, к богу. Все ищет покупателей на ковры, которые я должен мазать.

– Натурщица не нужна? – поинтересовалась Надя. – Нет, не я. Во, скулы. А вот Леонора – с нее и красавицу и лебедя. Все полицаи без ума. А они здесь – самые мужчины.

Давно уже все замечали, как Казик откровенно ухаживал за Надей, часто они уходили от Корзунов вместе, и хотя Надя говорит Казику одни резкости, но и резкости такие говорят лишь человеку, которого уже не стесняются.

И вдруг как бы оборвалось что-то. Однажды пришел Казик и невразумительно рассказал, что были они с Надей в деревне и чуть партизан не встретили. Как это "чуть" – никто не понял. Появилась Надя и сразу прошла к маме. Не поздоровалась даже, но это никого не удивило: ей все можно. Удивил Казик. Он виновато пытался перехватить взгляд Нади, но глаза Казика скользнули по не узнавшим его глазам женщины, как по холодному стеклу.

Непривычно жалким выглядел Казик в этот миг.

Ночью взвыли вдруг пулеметы у комендатуры. Когда пальба спадала, было слышно: по асфальту звонко цокают подковы. Цокот ровный, неторопливый, будто и не беснуются пулеметы. Не галоп, а бег трусцой. Очевидно, это и наводило ужас на тех, кто стрелял. А когда небо посветлело, жители поселка увидели, что шоссе, канавы завалены трупами лошадей. Одна лошадь стоит на асфальте, широко расставив передние ноги, и слегка покачивается, около десятка больших тяжеловозов с куцыми заячьими хвостами скучают на огородах. Но нигде не видно трупов тех, что конно атаковали комендатуру.

Скоро все выяснилось. В совхозе убили управляющего, охрану тоже перебили. Лошади, поставленные на поправку, были выпущены из-за ограды. Белоногие бельгийские тяжеловозы вышли на шоссе и лениво потрусили на запад… Их-то и приняли за советских казаков.

Толя убежал к Петреням.

На вопрос о Викторе Любовь Карповна заголосила:

– Спит, что ему! Перебрался на чердак, и холод ему нипочем, лишь бы не мешали валяться до дня. Что ему до того, что скоро рот нечем будет заткнуть. Сушенков Сергей техникумов его не кончал, а на коврах столько картошки и крупы зарабатывает. За один ковер три стакана соли дают, я узнавала.

Любовь Карповна уже и покупателей нашла, дело только за Виктором. А Виктор как раз начал свой утренний спуск. Усевшись на лестнице на уровне окна, принялся закуривать, не заботясь о том, что его широкая спина кого-то раздражает. Любовь Карповна забарабанила в окно, не боясь и стекло разбить:

– Ви-иктор! Где там, над ним не каплет.

Толя вышел во двор. Кривясь от вонючего дыма (теперь около курильщиков пахнет чем угодно: сухим навозом, горелыми листьями, хвоей и меньше всего – табаком), Виктор с любопытством глядит на шоссе. Любовь Карповну встретил удивленно:

– Ты уже встала?

Будто горячими углями осыпали женщину, она даже руками всплеснула:

– О божечка, что ты мне дал! Он думает, что свет из одних лежебоков?

– Почему лежебоков? Во как поработали ночью!

– Всех сгоняли коней на машины грузить, – уже весело говорила Любовь Карповна, как бы смиряясь с тем, что бог дал ей Виктора. – Этого лайдака я пожалела, сказала, что уже на шоссе. А он вот что!

И снова рассказала Любовь Карповна про то, как зарабатывает Сушенков хлопец на коврах.

– Какая польза, что я тебя... – Любовь Карповна поправилась, – государство учило тебя.

– Иконы, что ли, начать мазать?

– А не отвалились бы руки. В церковке столько людей теперь бывает, купили бы. Не надорвался бы, если б и намалевал.

– С тебя разве?

Любовь Карловна не выдержала, сердито рассмеялась:

– А чтоб тебя, вот научился на собак брехать.

У Толи Виктор спросил:

– Что у вас там? Казик все Надьку охмуряет? Да ты, собственно, ничего не знаешь. Ладно.

Но потом, уже серьезно, сказал:

– Даже когда у человека огромное несчастье, когда, кажется, конец всему, человек продолжает дышать, ходить, даже есть, спать и все другое. Но разве он не противен себе за это? Противно других видеть, а себя еще больше гадко. Но уже совсем мерзость, если человек и в этом положении остается этаким гусем, который страшно гордится тем, что его подают на стол с яблоками. Как этот ваш Казик. Сел еще до войны на слова и слезать не хочет. И совесть спокойная, и жизнь спокойная. – И совсем неожиданно: – Надя не рассказала, какая у них встреча была с партизанами? Нет?

Но и сам Виктор не рассказал, а что-то знает.

К вечеру, будто дым в сырую погоду, пополз по поселку слух: немцы согнали жителей совхоза в гумно и теперь жгут. В удушливом молчании смотрели люди на дымное зарево. Там люди задыхаются, корчатся от боли и беспредельного ужаса, страшно кричат, а тут тишина. И это может быть, и такое – правда... Никогда потом Толя не видел мать такой раздавленной. Его неприятно покоробило, когда уже в хате она с раздражением заговорила о тех, что убили пятерых немцев и тем самым подвели под лютую смерть столько людей, обрушили на них злую силу, чужую жестокость. Мертвая скала спокойно раздавит и ребенка, а повинен в этом будет тот, кто ее стронул с места, – так звучало это. Толя понимал, что мать не права в чем-то главном, но когда заговорил Казик и сказал именно то, что нужно, слушать его было неприятно. С каким-то противным спокойствием и чувством превосходства Казик возразил маме:

– Победит в этой беспощадной схватке тот, кто готов пойти на большие жертвы. Это – война на истощение не только крови, но и нервов.

И тут заговорил Виктор, нервно, зло:

– Может, и так. Но чтобы иметь право так умно говорить про судороги детей, заживо сжигаемых, надо самому всем жертвовать, по крайней мере жизнью. Что за поганая привычка у нас пошла: героически голодать чужим желудком, мужественно переносить чужие страдания. Если свою кровь не проливаешь – помолчи уж лучше. Полицай и тот собой рискует.

– Что-то часто вы об этом! Никому туда дорога не заказана, – вырвалось у Казика, покрасневшего до кончика носа, отчего вдруг стали заметны на нем длинные белые волосики.

Так выйти из себя – совсем на Казика не похоже! Оказывается, они здорово невзлюбили друг друга. Вот и сейчас: Виктор жестко сузил глаза, побледневшее лицо сделалось неприятно злым.

– А если я и вправду, как ты сказал, возьму полицейскую винтовку, – вдруг заговорил он, впервые обращаясь к Жигоцкому на "ты". – Да приду к тебе. Любопытно, как ты станешь со мной разговаривать. И как смотреть. Ласково смотреть будешь, ей-богу! Забудешь обо всем, что болтал здесь.

Толя с удивлением глядел на друга: что за дурацкий разговорчик завел! Павел даже со стула поднялся.

Алексей удивлен и смущен: как только поблизости запахнет подлостью, он сразу теряется.

Что-то неожиданное, нешуточное послышалось всем в словах Виктора.

Казик вдруг стал бледнеть, но, как бы сам почувствовав это, встрепенулся и все-таки сказал:

– Ну, знаете, всему предел есть. И шуточкам.

– А я вовсе не шучу, – медленно проговорил Виктор.

Поднялся и ушел.

Как о чем-то вполне выяснившемся, Павел сказал:

– Субчик этот мне давно не нравился.

Гонят пленных

Скоро седьмое ноября. Хотя нет уже растерянности первых дней и недель войны, но будто только теперь пришла к людям настоящая, до конца осознанная тревога за исход событий. Враг замахнулся на Москву, и люди, казалось, перестали дышать от мучительного, нестерпимого напряжения…

А из Бобруйска привозили рассказы о виселицах в городском сквере, о заживо заливаемых известью еврейских детях, о страшных лагерях для военнопленных.

К Корзунам изредка захаживал невероятно худой учитель Лис. Жена сумела выкупить его из лагеря. Мама давала ему какие-то порошки сразу от всех болезней. После пережитого у этого человека появилась склонность надо всем невесело подшучивать. ("Юмор покойника" – по его же определению.)

– Никогда не чувствовал, что у меня сердце, желудок, селезенка, ребра есть. А вот отбили, и теперь каждый свой винтик будто в пальцах держу. Грудную клетку, как доспехи, могу взять руками снизу и снять через голову.

Как о чем-то не самом страшном из того, что ему довелось видеть, рассказывал:

– Нас было сорок тысяч, а воды привозили на одну. С вечера ложилась очередь к бочке. Встать с земли ночью нельзя – стреляли. Утром, кто живой, поднимали. Ровно в девять, перед тем как привозили воду, приходил начальник охраны Битнер. Всякий раз он проделывал одно и то же. Подойдет к первому в очереди (вертись не вертись, а первый кто-то будет), спрашивает: "Вы почему первый?" И стреляет в человека. Потом идет в конец очереди и то же самое: "Вы почему последний?"

Лис приходил за лекарствами по нескольку раз в неделю и набирал их много: у него и болезней много.

Немцы взялись и в поселке решать "еврейский вопрос". В дом к Анютке опять пришел Порфирка:

– Ну, Мовша, хватит тебе сидеть.

И ничто не помогло – ни просьбы, ни слезы. Несколько дней обросший черной бородой сухорукий Мовша чистил уборную во дворе комендатуры. Анютка пыталась переговариваться с ним издали, передавать еду. Потом Мовше разрешили идти домой. Он отошел шагов двадцать по полю, оглянулся и увидел, что из раскрытых окон комендатуры смотрят веселые, улыбающиеся немцы, а один целится в него из винтовки.

– Не надо, я сейчас... – крикнул человек.

Гулко прозвучал выстрел, человек страшно завертелся на месте...

"Новый порядок" действовал. Особенно забесновались завоеватели после речи своего фюрера, которую он прокричал 3 октября в берлинском "шпортпаласте".

Гитлер признал, что резервы русских были недооценены, но при этом старался убедить себя и других, что поражение Советской России неизбежно. Правда, фанатизм "недочеловеков" потребует лишней арийской крови.

Заранее разработанная программа очищения территорий от целых народов все более приобретала характер мести. Советским людям фашисты мстили за то, что они оказались сильнее и тверже, чем хотелось бы тем, кто пришел их уничтожить, мстили за вспыхнувший в подвалах палаческих душ страх перед возможной расплатой. На бескрайних русских просторах проигрывалась и битва за Англию, и война против Америки – все из-за того, что "эти русские" и не думают соглашаться с тем, что положение их безнадежно, что они разбиты, повержены, наоборот, с каждым днем они усиливают свое "бессмысленное" сопротивление. Мстительность и страх передавались от главного фюрера меньшим фюрерам, и по всей оккупированной территории убийства советских людей принимали все более массовый и садистский характер.

Утром седьмого ноября стало известно: в городе немцы расстреляли двадцать тысяч пленных. Подожгли бараки и дома в крепости и хлестали из пулеметов по мечущейся, красной от зарева толпе. На много километров вокруг повис удушающий запах горелого. От Сеньки Важника, который приехал из города на заводской машине, узнали, что по шоссе гонят пленных. Отстающих пристреливают: на каждом километре – убитые.

Стала собираться толпа, она быстро росла. Много женщин из деревень – в кожухах, больших платках. В тряпицах, в корзинах люди принесли кто что мог. У некоторых женщин даже чугунки с вареной картошкой.

Тихо опускаются большие хлопья снега. Коснувшись земли, снег сразу тает. Под ногами черно, хлюпко. Люди разговаривают почему-то вполголоса, лица нервно бледные, глаза тревожные. Все смотрят в сторону города, там уже что-то чернеет. Можно разглядеть, что эта чернота живет, шевелится, от нее отрываются какие-то точки и снова сливаются с нею. Скоро забелели и человеческие лица, а отскакивающие точки стали конвоирами.

Издали человеческие лица белели, но, когда колонна надвинулась, набухла, все увидели, что лица у пленных черные.

Ожидали самого ужасного, но то, что увидели, смяло, раздавило людей. Заметались женщины с узелками, запричитали. Взгляд выхватывает одинаково истощенные, темные лица, нестерпимо блестящие голодные глаза. Идущие молчат, лишь шуршат по мокрому

от снега асфальту тысячи босых или в тряпье ног, но тем, кто видит эти ноги, кажется, что над дорогой висит ни на секунду не прерывающийся крик. И люди, ошалело смотрящие на страшную колонну полутрупов, сами начинают кричать, мечутся, бегут куда-то, увлекаемые колонной.

У конвоиров, одетых в смоляно-черные плащи, в руках палки, вспотевшие морды красны от ожесточения. Орут, набегают на пленных и бьют, бьют, бьют по головам, по плечам, по лицам. Кто-нибудь из конвоиров берет круглую березовую дубину в две руки и методически опускает тяжелые удары на головы проходящих. Удары, удары, удары. А люди, иссушенные лагерным голодом, уже не имеют силы даже на то, чтобы отстраниться. На одинаково черных лицах, в запавших глазах тупое безразличие, за которым – страшное, последнее напряжение оставшихся сил, оставшейся жизни, которую нужно донести, не расплескать на этом километре, на этих двадцати метрах, на этом шагу…

– Смотрите, родные! На погибель нас…

Это кричит самый высокий пленный, непокрытая голова его видна над толпой.

Жители, сгрудившиеся на обочинах, между сосен, словно запамятовали о припасенных свертках и краюхах хлеба: разве поможешь крохами этой массе убиваемых голодных людей? Но вот кто-то первый, опомнившись, бросил хлеб через головы конвоиров. Жадно замелькали худые руки, а по ним, по спинам, по головам – удары, удары…

Толя бросил свое. Женщина передала ему свежий рыхлый сыр. Не швырять же и его. Толя попытался пробиться поближе. К нему потянулось много рук. И крики: "паренек", "паренек"… Точно в горячем тумане, нес Толя свой жалкий сырок навстречу этим торопливым рукам и крикам. И тут сбоку на него налетело что-то тяжелое, сбило с ног. Как щенок, выскользнул он из-под занесенного над головой сапога, отбежал и еще раз упал, уже в канаву, заполненную желтой снежной жижей. Отбежав к соснам, он привычно подумал: не видела ли мама? В этом опасении был какой-то стыд: ему не хотелось, чтобы мать видела его в таком собачьем положении – под сапогом.

Женщины с растрепанными волосами, с распухшими лицами кричат у самой колонны, уже зелено-черная двойная цепь конвоиров потерялась среди ватников и кожухов.

И тогда в разных местах коротко и зло рванули автоматные очереди, взвыли овчарки и эсэсовцы. Толпа отхлынула к канаве. А

конвоиры вдруг начали выхватывать из толпы мужчин и заталкивать их в колонну. Толя видел, как схватили брата Сеньки Важника. Жена его, молодая женщина, бежала вдоль канавы с мальчонкой на руках и звала:

– Антон, Антек…

Важник-старший, по-бычьи наклонив голову, рванулся к ней, плечом легко оттолкнув конвоира. Немец, отскочив в сторону, снизу вверх перечеркнул его автоматной очередью. Человек боком, боком вернулся назад к колонне и там опустился под ноги идущим.

Уже многие поселковцы, растерянные, брели рядом с пленными, некоторые снова и снова набегали на конвоиров, как бы не веря, что им уже нельзя туда, к соснам, где плачут, кричат их близкие. Людей били, загоняли назад в колонну. А им все не хотелось окончательно поверить, что так внезапно и ужасно могло что-то перемениться в их судьбе только потому, что они не успели отскочить за канаву, где толпятся остальные. Сразу и без всякой причины они вдруг оказались в положении убиваемых, гонимых на погибель, в положении тех, на кого пять минут назад смотрели со стороны с ужасом и состраданием. А на них самих уже глядят со стороны с еще большим ужасом в глазах, как глядят на того, кто мгновение назад был крепким, здоровым, а тут внезапно настигнут смертью.

Те же, которые успели отбежать, остро ощутили, что лишь эта заполненная холодной снежной жижей канава отделяет их от гонимых на смерть. Дойдет очередь, и тебя вот так же погонят.

Мама и Грабовская

На Лесную Селибу легла ночь. Толпа голодных, убиваемых людей ушла дальше на запад, но то, что делалось на шоссе днем, теперь как бы переместилось под крыши домов и там все еще продолжалось в душах людей.

Наде страшно сидеть у себя дома, она привела девочек к Корзунам. Втиснулась в угол дивана и сидит с заплаканным и злым лицом. Инка не отходит от нее. Держит свою маму за руку и глядит на всех сердито. Старшая, Галка, уселась с Ниной на кровати. Поджимая губы от подавляемого желания улыбнуться во все ямочки сестренке, она ловит взгляд ее, но Инка держит руку обиженной кем-то мамы и не принимает улыбок старшей сестры.

С улицы постучали. Бабушка испуганно заспрашивала:

– Кто там? Кто?

– Я это, я…

По стонущему голосу, похожему на глухой крик заблудившейся в ночи птицы, все сразу узнают Грабовскую, мать фельдшера Владика. Уже в кухне она запричитала:

– И что это за свет настал, боже, боже!

В мешковатом старом ватнике женщина выглядит неестественно маленькой, кажется не выше Нинки. Лет семь назад Толя спрашивал у тогда еще говорливой, веселой "тети Грабовской": "Вы вниз уже растете, да?"

– Что за свет, боже милостивый!

Эти стоны Грабовская носит в себе все последние годы.

– Говорят, что это финны были. Звери, не люди теперь.

Мама подняла голову, сквозь нервный огонек коптилки как-то издалека, отчужденно посмотрела на Грабовскую.

– Бросьте вы, какие там финны. – Мама не возразила, а сердито оборвала Грабовскую. Так она разговаривает обычно с Любовью Карповной.

– Какого добра ждать от этих, – продолжала причитать маленькая женщина, покачиваясь на стуле и сгибаясь чуть ли не до колен, – чего хотеть от врагов, когда свои своих не жалели? Что мой Андрей кому сделал, мухи не обидел!

Так знакомо это: бесконечные припоминания, как пришли ночью, как ее Андрей натягивал на ноги пиджак вместо брюк. И безнадежные, до поздней ночи, рассказы про то, как ездила, как стояла в огромных, тихих очередях... А то вдруг – про случай: не ждали уже, а человек – чье-то счастье – стучит в окно, вернулся. Рассуждения о том, что Сталин не знает. Про это – неуверенно, но порой – с какой-то отчаянной надеждой, с теплотой в голосе, в которой – мольба, чтобы "он" наконец посмотрел, что творится, разобрался.

Сидел как-то в доме старик из деревни, дожидался Толиного отца, чтобы везти его к больному. Услышал, как женщины вполголоса то беседуют, то несмело радуются своим надеждам, и вдруг сказал:

– В сапогах. Ленин тот в ботиночках, аккуратненько, где яма – обойдет. Жалел народ.

А однажды Грабовская принесла кусочек папиросной коробки, исписанный синим карандашом, – письмо от мужа. Переслали люди: нашли у железной дороги и прислали по указанному адресу. И свой написали: "Если будете в Ленинграде, заходите, улица, дом". Толю, помнится, поразило, как открытие: оказывается, люди воспринимают происходящее как общую беду.

А тут еще ночью подслушал Толя, как плакала мать, боясь, что и папу заберут. Отец успокаивал ее, даже сердился на мамины слезы, а потом вдруг попросил:

– А если что, прошу тебя, не езди, не изводи себя, о детях думай. Я не вернусь, если это правда, что пишет Грабовский. Бить себя я не позволю… Схвачу, что под руку…

Все это было. И все знают, что было. Но вот пришли немцы, и о том, что такое было, не хочется помнить.

Всякий разговор Грабовская сводит к одному, всем это уже привычно. Но сегодня в словах ее, в голосе чувствуется какая-то мстительность, и на маленькую женщину глядят не сочувственно, а настороженно, Надя – с откровенной злостью.

Но Грабовская будто и не замечает этого. Все в этой рано постаревшей женщине, без остатка отдавшей себя семейному несчастью, говорит: "Большое горе пришло, но теперь все поймут, что значит страдать безвинно". Ей уже кажется, что ее беде никто не сочувствовал, что все сторонились ее, как прокаженной. Даже Анну Михайловну она не выделяет, хотя именно к ней всегда несла свои слезы. Толя помнит, как отец подшучивал над мамой:

– Тебе бы игуменьей быть, все несчастненькие к тебе льнут.

Из-за того чуть не вышло что-то нехорошее. В каком-то заявлении дружба мамы с Грабовской объяснялась тем, что и маминого отца выслали. Узнав об этом, мама плакала, но дружить с Грабовской не переставала.

– Она мне детей помогала растить, – говорила она, словно споря с кем-то.

Толя помнит, как года за три до войны приходил к отцу толстяк Лапов. Из соседней комнаты Толя слышал: "тебя мы уважаем", "надо выдвигаться". Отец отшучивался:

– Некогда за работой. А тут еще жинка оставила. Когда-то своего батьки не слушалась, а теперь мужа. Вздумалось ей на фармацевта учиться. Будто я один не могу семью содержать.

Лапов хмыкал, дакал, а потом вдруг:

– Да, не та жена у тебя, честно скажу, не та мать, какая твоим детям нужна бы. Неприятно, конечно. Неужели ты, Иван Иосифович, не понимаешь, что ее биография и на тебя пятном ложится? Ошибся – исправь. Ошибки надо честно исправлять.

Тогда наступило молчание. И тут Лапов заговорил на "вы", торопливо, испуганно:

– Я по-дружески, я добра вам желаю, Иван Иосифович. Знаете, какое время… врагов сколько…

– Вот что, голубчик, – Толя не ожидал, что услышит такой спокойный голос отца, – иди-ка ты из этого дома. Придешь, когда поумнеешь.

Про раскулаченного деда мама никогда не рассказывала, но от Мани Толя знает, что мама ушла от него задолго до его высылки. Дед хотел выдать ее за хуторянина-вдовца и никак не мог примириться с тем, что у дочки – тоже крепкий характер. Мама ушла из дому. В Могилеве, работая на швейной фабрике, мама и познакомилась со студентом-медиком – это, значит, с папой.

Толя помнит, как собирались посылки с луком и чесноком. И с копченостями.

Потом стали приходить посылки "из Алдана". Старший мамин брат работал на приисках бригадиром и на какие-то чудодейственные "боны" мог покупать шерсть и хорошую обувь.

– Вот и ваших стариков, – напоминает Грабовская. – За то, что работали с утра до ночи, не жалея ни себя, ни детей.

Мама, отчужденно нахмурившись, молчит.

– Свет такой, – опять тянет свое маленькая женщина. – Сколько той жизни человеку, и ту не проживет.

Но мама уже и не смотрит в ее сторону, заговорила с Надей о другом.

Женщина одиноко сидела в сторонке и словно укачивала свою большую бесформенную тень на стене. Потом поднялась и ушла с теми же причитаниями. Толя со злостью подумал, что звучат они назойливо и фальшиво.

У Нади вырвалось:

– Не переношу эту божью коровку. Не зря говорят, что у этих маленьких невинных козявок кровь ядовитая. И как вы можете с ней, Анна Михайловна?

Мама задумчиво возразила:

– Нет, она неплохая женщина и много помогла мне, когда я училась. Но, кроме обиды своей, ничего знать не способна.

И вдруг, уж сердито, добавила:

– Нашла время!

Первая зима

После того злого разговора с Казиком Виктор почти не заглядывал. Чтобы показать, что он не принимает всерьез его нелепые слова о "полицейской винтовке", Толя несколько раз бывал у Виктора, но всякий раз уходил с ощущением, что Виктор становится и в самом

деле все более странным и чужим. Говорить с ним не о чем, даже фронт его, кажется, мало интересует. А однажды Толя застал его за холстом. Виктор накладывал грунт, деловито насвистывая.

У Любови Карповны на лице торжество и беспокойная радость. Она ходит по комнате почти на цыпочках, словно опасаясь спугнуть удачу.

– Что ты ходишь, как возле горячей плиты? – не сдержался сын.

С деланным безразличием Любовь Карповна отозвалась:

– Да вот смотрю – потолок бы побелить.

– Самое время.

Во дворе залаял Дезик.

– О боже, немцы!

В сенях – чужие резкие голоса, мерзлый стук сапог.

Даже не взглянув на гостей, Виктор продолжал заниматься своим делом. У немцев одинаково яркие носы, у одних на головах что-то вроде женских платков, у других – кроме зеленых пилоток еще черные наушники из бархата, щеки подперты жесткими, побелевшими от дыхания воротниками. Кажется, что от металла автоматов, гранат, круглых противогазных коробок им да и в мире еще холоднее.

– Кальт, – входят, сообщают они по очереди.

Последним порог переступает немец без наушников, моложе остальных. Он не лезет к печке, подходит к Виктору. С жесткой веселостью в помаргивающих глазах он смотрит на сосредоточенно мажущего холст хозяина. У молодого немца руки, покрытые золотистой шерстью, так и играют на вороненой стали автомата, а в светлых глазах что-то переливается. Он очень напоминает молодого звереныша, у которого все чешется: зубы, когти, бока.

– Почему здесь, почему не там? – спрашивает он, кивнув головой, видимо, в сторону Москвы.

Виктор словно и не слышит его.

– Мужчина не зольдат – плёхо, – с искренним презрением произносит звереныш.

– Плёхо, – соглашается Виктор.

Звереныш надвинулся, спросил угрожающе:

– Партизан?

– Пан, пан, никс партизан, – горячо заговорила Любовь Карповна, – цивильный, он есть цивильный, художник. Краски… рисует… Что ты дразнишься, зараза. – Последнее – Виктору.

– Никс партизан, – повторил Виктор, нагло показывая немцу глаза. В его глазах тоже что-то играет.

– Рус! – крикнул немец. Упершись автоматом Виктору в грудь, левой рукой коротко ударил его по лицу. Остальные немцы, услыхав слово "партизан", зашевелились, надвинулись.

Виктор стоит у холста какой-то одеревенелый, на вороте его сорочки повисла тягучая красная капля.

– Документы, – деловито потребовал молодой немец, как-то очень быстро успокоившись.

Виктор подал ему потертую бумажку. Нос Виктора заплывает кровью, он втягивает ее и от этого выглядит непривычно беспомощным. А странно побелевшие глаза смотрят прямо и не мигая, точно у мертвого. Немцы заговорили между собой, в их разговор старается вбиться Любовь Карповна, искажая русские и польские слова, чтобы было понятней. Потом гости гурьбой вытолкались за дверь. Молодой на прощание издевательски усмехнулся и сказал:

– Мужчина не зольдат есть нихт гут.

Любовь Карповна хотела что-то укоряюще сказать сыну, но смолчала, поняв, что он не услышит ее. Поднесла помойное ведро, кружку воды. Обмыв лицо, Виктор снял с перегородки полотенце.

– Обожди, другое дам: закровянишь.

Виктор с полотенцем в руках подошел и внимательно стал смотреть на полотно.

Толя и оставил его таким, а когда забежал назавтра, понял, что Виктору его приход неприятен. Ему словно неловко за что-то, и он злится.

Пожалуй, никогда столько не говорили о морозах, как в этом – сорок первом. Теперь старик Жигоцкий целыми днями сидит у Корзунов. Слово "товарищ" звучит у него уже по-другому.

– Нажимать стали товарищи. Говорят, немцы в лед превращаются за пулеметами. День и ночь наступают наши. Сибиряки взялись за немца.

Волостная управа объявила о сборе теплых вещей. Каждая семья обязана что-либо сдать, чтобы утеплить непобедимую германскую армию. Из-за печки извлекли старые валенки, источенные молью, дедушка подлатал их. Правда, чтобы приняли такую помощь, пришлось приложить пол-литра самогона для Пуговицына, который ведает всем этим.

Впервые на солдат Гитлера посматривали с удовольствием: очень уж весело видеть, как "руссише винтер"[8] превращает их в сборище не то беженцев, не то ряженых. В тесных полушубках поверх

---

[8] Русская зима.

длинных шинелей, в теплых бабьих платках, окутанные банным паром, топчутся они у своих машин, словно поджидая, когда уже их отвезут домой, в теплую Германию. На зимнюю форму одежды немцы переходили по-разному. Белоусому говоруну Жигоцкому удается видеть самое интересное:

– Вчера мотоциклист обогнал подводу, потом назад завернул. Встал со своего мотоцикла, подошел к возу, а там баба ни жива ни мертва; поворочал ее, как барана, и достал кинжал. Баба обомлела, а он вытряхивает ее из кожуха. Потом давай овчину кромсать. Отхватил рукава, сделал наголени, похлопал себя по коленям и укатил. Бабе жилетку оставил.

Утром к Корзунам ворвался немец. Опрокинулся на стул и тащит с ноги окаменевший сапог. И тогда увидели, что это просто мальчишка и что лицо у него плачет. Сорвал сапог, другой, схватился окоченевшими руками за холодные ступни и скулит, никого не замечая. Солдат лет семнадцати, только-только из дому, видимо.

Толя со злорадным торжеством смотрел на немецкого молокососа в солдатском обмундировании. С возмущением и протестом он глянул на мать, когда она вернулась из столовой с какой-то тряпкой в руках. Немца пожалела! А тот послушно взял тряпку, разорвал и неумело стал навертывать поверх носков. Мороз уже отпустил пальцы его, реветь вояка перестал, попросил воды и вымыл носик. Попрощался с мамой и ушел.

– Еще давать ему…

Мать растерянно и виновато сказала:

– Дитя какое-то.

По-прежнему шли на восток машины, но шоссе уже не пульсировало непрерывно. Хотелось верить, что силы Германии иссякают.

Колонна выкрашенных в белое машин остановилась возле комендатуры. Немцы сползли на асфальт и барабанят мерзлым по мерзлому, хватаясь за уши, носы. Они с завистью смотрят на часового, у которого на каждой ноге по одеялу, а снизу подвязаны дощечки. Часовой, как петух, высоко поднимает ногу, дощечка отвисает, а потом звонко, с двойным звуком хлопает по асфальту. И солдаты и часовой с ужасом и удивлением уставились на старого Тита, который остановился с парящими от мороза ведрами передохнуть. У Тита из-под расстегнутого ватника видна голая худая грудь, на босых узловатых ногах – побелевшие, потрескавшиеся от времени галоши. Титу тоже не жарко, но он не может не покалякать с людьми, которые так им заинтересовались.

– Э, и ты уже воюешь? – вороватой скороговоркой сыплет Тит.

Пожилой немец-часовой сквозь большие обмерзшие очки смотрит то на босые ноги Тита, то в щербатый его рот, стараясь уразуметь смысл сказанного.

– Хорошая обувка, в самый раз, когда побежишь, – кивает Тит на одеяла. – Бёг бы ты уже до дому, твои тебя догонят.

Часовой согласно кивает головой.

– Я, я.

– И ты, а как же, – строго говорит Тит и берется за ведра.

Немцы почтительными взглядами провожают его голые потрескавшиеся пятки.

Посветлели лица у жителей поселка. Не вышло у немцев с "блицем", а теперь уже наверняка не выйдет. Если в первые недели войны расстояния измеряли от границы и в глубь страны, то теперь как-то незаметно отсчет стали вести по-другому: от Москвы до своей местности и дальше до границы... Еще не свершилось под Москвой, люди не услышали еще о первом разгроме немцев, но уже готовы были услышать как о чем-то задуманном ими самими, задуманном всеми. На немцев уже смотрели с издевкой: "Ну, поняли, что такое Россия?"

В один из таких морозных дней, полных тревоги и нетерпеливого ожидания, прибежала Любовь Карповна.

– Виктора, о боже, хотят взять. Бургомистр сказал: или в полицию, или в лагерь. А на что нам теперь ихняя полиция? Я продала картину – и мука и крупа. И еще будет. На что нам? Что же мне теперь? Он такой, ничего не скажет и сделает.

– Вам тоже куда-то надо уехать. У вас, кажется, сестра за Слуцком была?

Женщина непонимающе и с открытой неприязнью поглядела на маму:

– А дом, а все?

Любовь Карповна лишь заохала и убежала. А назавтра услышали: Виктор сделался "бобиком".

Казик сказал:

– Я почти ожидал этого.

Неприятно, что Казика точно обрадовала чужая подлость, хотя он и встревожен. Но тот, студент, "сила воли", – вот чем кончил!

К Петреням, конечно, Толя не ходил больше. Он и на улице старался не встречаться со своим бывшим другом. Лишь глазами провожал коренастую фигуру в нелепой желтой шинели, и столько детской обиды и взрослой злобы было в его взгляде, что спина,

прикрытая итальянским сукном, должна была ощущать это. Но Виктор, кажется, ничего не замечает и не ощущает. Любовь Карповна тоже никого теперь не видит, за пайками все бегает в волость.

Все же пришлось Толе встретиться с Виктором. Случилось это около помпы. Толя качал воду в будке, в окошечко, что над трубой, ему видно лишь ведро. Кто-то подошел и поздоровался с Алексеем, который наливает бочку. И тут Толя узнал голос: кровь прилила к щекам, запершило в горле. Толя крутил колесо и не знал, как ему быть дальше.

– Все! – услышал он Алексея, и вдруг, на месте снятого, в окошечке появилось чужое ведро. Толя повис на ручке, чтобы задержать колесо, но урчащая труба продолжала выплескивать струю. В *его* ведро. Еще подумает, что Толя ему воду качает. Сам потрудись, пан полицай!

С глупо красным лицом (он это чувствовал), а оттого еще более сердитый, Толя вышел из будки. Со злостью увидел, что Алексей страшно смущен. Братец всегда за подлецов старается – смущается за них. Пусть *этому* стыдно будет. Полюбуйтесь на него – стоит и сквозь землю не проваливается!

– Здравствуй, Толя.

– Поехали, – сказал Толя отчаянно злым голосом.

А когда пришла далекая, но, как первый гром, всеми услышанная весть об отступлении немцев, о разгроме их под Москвой, Толя не мог не вспомнить о Викторе. Злорадно, как о самом большом своем обидчике. Интересно бы встретиться с ним и засмеяться прямо в лицо. Но полицаи куда-то все пропали. Зато жителей словно больше стало.

Собирались всей семьей у грубки по вечерам и говорили о том, что будет через месяц-два. Алексей и Павел, конечно, в армию пойдут. Они чувствуют себя так, будто уже гонят немцев к границе и дальше. И мама стала другой. Впервые за эти месяцы с лица ее сошел серый налет постоянного раздражения. Она даже улыбается. И залом бровей не такой крутой. Исчезло то глухое напряжение, которое незаметно возникло в доме и которое так мучило добрую Маню и Алексея. Бескровное, веснушчатое личико Мани лучится лаской, часть которой достается даже ее мужу.

Казалось, снова всходило большое солнце, и то, что вчера, в темноте, выглядело сложным, запутанным и отталкивало людей друг от друга, при солнечном свете оказывалось простым и ясным.

Не пройдет и двух месяцев – в этом все уверены, – вернется то, что было утрачено (как-то даже забывалось, что не все можно

вернуть). А многое станет лучше, чем до войны: после пережитого, выстраданного, передуманного людям захочется жить умнее и лучше. А как будут ценить то, что раньше порой и не замечалось! Только бы поскорее вернулась жизнь, так широко, так светло распахнутая в завтрашний день!

Толя даже во сне видел, как срывает он со стены комендатуры доску с немецкой надписью. Часовой, мимо которого каждое утро Толя ползет с санками к помпе, не подозревает, сколько раз уже срывалась и разбивалась об угол эта доска и сколько раз "убивали" и его самого. Не поднимая глаз, Толя волочит свои санки, а сам напряженно ловит момент, примеривается. Немец отвернулся – теперь в самый раз. Шух! – автоматная очередь, летят клочья бабьего кожуха, в который завернут часовой. А теперь – гранату коменданту в комнату. Ага, вы уже зарешетили окна! Ну, тогда получайте в бункер!

Вот и сегодня с грохотом подъехал Толя к помпе, "перестреляв" по дороге всех встречных немцев, а заодно и лагерных полицаев, которые пригнали пленных пилить дрова. Один из "убитых" Толиной гранатой полицаев внимательно смотрит вслед ему: значит, это пленный стучит там помпой. Поравнявшись с будкой, Толя покосился на дверь. Так и есть, Петро.

– Здравствуй, – первым отзывается пленный. – Вешай ведерко, сейчас переключу воду.

– Я сам, – говорит Толя, перехватывая ручку и показывая на свой карман. Толя крутит колесо, а Петро привычно быстро опорожняет карманы его пальто.

– Там и махры немного.

– Спасибо, браток. Ого, махорка!

Толе неловко смотреть в глаза пленному: его всегда смущает и злит какое-то нелепое чувство превосходства над взрослым скуластым человеком, превосходство неголодного над тем, кто дрожащими руками хватает картофелину, кусок хлеба. Чтобы побороть в себе и это чувство и смущение за это чувство, Толя сообщает то, что, конечно, не новость для Петра:

– Немцев прут от Москвы.

– Знаем, браток, – откликается Петро, но Толя видит, что радость этого черного от голода и грязи человека какая-то несмелая, будто говорят о празднике, на который его не позовут.

– Скоро и для вас кончится, – подбадривает его Толя.

– Да, да.

Но почему такие загнанные и покорно печальные глаза у человека даже теперь?

– Говорят, наши не прощают за плен.

Толю прожигают глаза, требующие, чтобы он не соглашался, опроверг.

– Ну, что вы! – убежденно протестует Толя. – Разве своей волей вы?

– Всяко, кто и сам, а больше потому, что выхода не было. А кто станет разбираться?

– Это вас пугают.

– А как же, запугивают. Эх, сызнова бы все, или теперь туда, умер бы, а до такого не допустил бы себя. Ничего, доживу, если те вон не замордуют. Отъелись, а сами дрожат и нам мстят, что мы не поддались, не купили жизнь предательством. Идет уже, пес собачий, уезжай, браток.

Протащив свои сани мимо красномордого полицая, Толя увильнул от его подозрительного взгляда, но потом обернулся и – "бах" ему в желтую спину! Хватит с этого и пистолетной пули.

Заспешил домой. Вернулась ли мама из деревни? Последнее время она уже редко ходит менять: нечего, да и бабы сами к ней приходят за мазями. По их словам, вши и короста – от тоски. Сегодня мама почему-то опять отправилась с корзиной.

Она уже дома: приглушенно слышен ее голос в зале. Посвежевшая от мороза, прислонилась спиной к печке и рассказывает о ком-то Павлу. "Он", "не советовал", а кто – не поймешь. И только когда сказала: "А бороду он сбрил", Толя заподозрил, что это Денисов – тот самый дед с молодыми глазами, который заходил в дом в первые дни войны. У мамы даже прорвалось: "Борис Николаевич". Значит, его величают Борисом Николаевичем.

Вечером Павел, прислушиваясь к голосу мамы в кухне, показал Толе листок. Листовка! Толя успел лишь рассмотреть плохо отпечатанный, но знакомый портрет и первые слова, непривычные, поразившие: "Братья и сестры!"

Мама работает

Играть в карты приходит и Владик Грабовский. Пока идет игра в шестьдесят шесть или в подкидного – скучает. Сразу оживляется, когда появляются охотники на "очко". Владик почти всегда проигрывает, он не умеет рассчитывать, с мрачной горячностью без конца бьет "по банку". При этом все знают, что в руке у него плохая карта, а в кармане уже и полмарки нет. Всем неловко становится от

такой игры. Наконец Владик, не прощаясь, уходит с тысячным долгом. Через день-два появляется снова с деньгами и потому – в хорошем настроении.

– Маленький банчок соорудим, варяги?

О долге забыто: ни он, ни другие не напоминают. Несмотря на все это, Владик больше нравится Толе в игре, чем Казик. Жигоцкий-младший – если удается уговорить его сыграть – колдует над картой, фукает на нее и сверху и снизу, много говорит, много смеется, деньги у него влажные.

Мама как-то совсем безразлична к тому, что в доме играют на деньги и что в этом участвует Толя. А Толя уже основательно втянулся. Когда он сел впервые и остался с выигрышем, ему сделалось тоскливо и чего-то жалко, будто он непоправимо испортил что-то, потерял навсегда. Он даже попытался вернуть Владику свой выигрыш, но Владик так мрачно посмотрел на него, что пришлось заткнуться. Теперь Толя проигрывает и выигрывает без особых угрызений совести. Ему нравится сам процесс игры. Берешь карту, не глядя, как можно небрежнее, – вторую, вскользь проводишь глазами и, хотя у тебя только тринадцать очков, спокойно говоришь, как Владик или Алексей:

– Попробуй набери.

Как-то в столовую вошла мама и сказала:

– Была в деревне. Неохотно уже меняют, да и нечего носить туда. Надо, Владичек, добиться, чтобы медпункт открыли и аптеку. Все какой-то паек.

– Хорошо бы, – согласился Владик, протягивая ладонь со слепой картой банкомету Янеку.

– На сколько?

– Давай, – сердится Владик, – на все.

Янек конфузится: он знает, что у Владика нечем покрыть банк. А Владик уже загорелся живым интересом к маминому предложению:

– Я тоже думал, Анна Михайловна, и даже с Хвойницким говорил.

Владик не прочь намекнуть на знакомство с помощником Порфирки, и похоже, что он на самом деле знается с Хвойницким.

– Надо поехать в город, там у меня остались знакомые, – практически решает мама.

– Пишите записку – поеду.

Мама увела Владика в соседнюю комнату. Через пять минут он вышел в столовую с лицом значительным и веселым. Не выдержал и показал толстую пачку денег.

– Ва-банк! – но тут же успокоил банкомета: – Эсминец "Керчь" эскадры топить не будет!

Восклицание веселых "Толиков" сделалось ходким в поселке.

Скоро в здании аптеки открылось лечебное заведение. Через черный ход больные попадают на прием к Владику, через "парадный" стеклянный коридорчик – в аптеку. Маме помогает Надя, которую оформили уборщицей. Бывшая заводская лаборантка Надя очень довольна своей новой профессией. Из медикаментов удалось раздобыть самую малость. Мама не устает ездить в город, везет туда сало, мед, самогон, на аптечном складе у нее завелись знакомые из военнопленных.

Но пропуск в город получить не просто. Одной-двух поездок в месяц мало: аптека почти пустая. И тогда заболел Алексей, даже "городская" справка имеется со страшными словами: "каверны", "очаги". Мама берет в комендатуре пропуска, чтобы возить его к городским специалистам. Постоянный румянец на худых щеках старшего брата вполне может сойти за туберкулезный. Младшему остается лишь ненавидеть свою хотя и не очень теперь румяную, но по-прежнему круглую физиономию. Когда старший, очень довольный своей болезнью, возвращается из Бобруйска, младший завистливо шипит: "Туберкулезник!"

Мама это услышала и почему-то разгневалась, будто Толя и в самом деле накликает беду на брата. Мама боится названия болезни, которую сама же придумала для Алексея.

Единственную заводскую машину, обслуживающую электростанцию, водит теперь Сенька Важник. Он часто и охотно берет маму и Алексея в город, привозит назад.

В конце месяца Владик доставляет из города паек: мешок липкого, как замазка, черного хлеба, а в качестве деликатеса – несколько буханочек серого немецкого, сухого, как опилки. Но это хлеб, и делят его весело. На торжество Надя обычно является со всем своим семейством.

Аптечный дворик сделался самым людным в поселке местом. Кто только за день тут не перебывает: и поговорить можно, и, главное, затянуться чужим табачком. Про табачок больше всего и разговору.

– Я с бабой поцапался, повел речь про самосад, куда там, весь огород хочет под бульбу. А я мучиться больше не согласен.

– Махорочки бы сорокакопеечной, хоть бы перед смертью в пальцах подержать желтую пачечку, пухленькую, кругленькую, – сладострастно стонет еще один курильщик.

– Добре вам – деревенским.

– И нам, как вам. Все до войны махоркой баловались. Свой и у нас вывелся. Редко у какого старика под крышей цибук-другой отыскался. Вот и скоблим корешки.

– Вас хлопцы угощают, – осторожно заводит кто-либо разговор.

– Придите, и вас угостят.

– А много их?

– Кого?

– А которые прикурить дают…

Но маме эти мужские разговоры почему-то не нравятся. Несколько раз она выпроваживала говорунов из коридорчика.

– Это не клуб, тут больным повернуться негде, – сердито говорит она.

И уж, конечно, Толя за все в ответе.

– Что ты торчишь тут с утра до ночи? Шел бы, дома помог что-нибудь.

И даже с аптечного двора говорунов выпроводила. Вышел из медпункта Владик, такой внушительный в своем белом, хотя и коротковатом, докторском халате, и словами мамы хмуро попросил "не устраивать тут клуба".

Каждый вторник в медпункт приводили пленных.

Лагерь в поселке создан был в самые морозы. Вначале высоко огородили колючей проволокой поле. Пленные долбили мерзлую землю – делали землянки. Другие были заняты рытьем траншей около леса. Траншею с одного конца продолжали рыть, в то же время другой конец заполняли трупами своих товарищей и засыпали землей и снегом.

По утрам, только-только прорежутся светлые полоски в ставнях, стучит густая дробь деревянных колодок: пленных гонят расчищать шоссе. Поздно вечером серая колонна возвращается. Люди движутся как-то всей массой, разведи их по одному – упадут. Хотя при лагере имеются лошади, воду – обмерзшие ледяными глыбами бочки – возят на пленных. Десяток полуодетых, высохших людей, вцепившись в оглобли, тащат телегу по скользкой бугристой обочине. По асфальту шпацируют конвоиры, выдыхая плотные лошадиные клубы пара, а те, которые, как лошади, напрягаются, кажется, и вдыхают и выдыхают одинаково холодный воздух – настолько их высушил голод. Пленных избивают привычно и даже без особенной злобы, как бьют ненужную, надоевшую скотину. Толя видел, как от приклада пленный упал под колеса. По приказу конвоира его положили на телегу. Глаза человека жили, смотрели, моргали, а их заливала, выплескиваясь из обмерзших бочек, вода и стекала по щекам ледяными слезами.

И вот этих людей, обреченных на умирание, гонимых к уже приготовленным для них могилам, аккуратно, каждый вторник, приводили к медпункту – лечить.

Перед стеклянной аптечной стойкой и в коридорчике толпится столько грязных, обовшивевших людей, что конвоиры предпочитают дежурить на улице, прохаживаться под окнами.

А в это время из кухни кружками носят соль, наделяют пленных хлебом, сыром, картошкой – всем, что скопилось в погребе за неделю. Стойка ходуном ходит, люди не верят, что приготовлено на всех, стараются протолкаться вперед. Мама молчит, лишь тревожно посматривает на окна.

– Не напирайте, – уговаривают передние задних, хватая сухими длинными пальцами хлеб и тут же отправляя его в рот.

Толя бегает из аптеки на кухню, получает от Алексея, сидящего под полом, новые и новые ломти и куски и передает это Наде, а та – маме. Постепенно устанавливается кой-какой порядок, голодные люди, поверив, что никого не обойдут, ждут своего куска с терпеливостью, видя которую хочется плакать. Одного, в разбитых очках, Толя приметил. Этот становится у стеклянной двери и помогает маме. И все приговаривает виновато:

– Ничего, дорогая, мы аккуратно, не беспокойтесь, мамаша.

Свою порцию он берет в числе последних. Первое время мама наделяла их тем, что могла взять из дома. Потом (само собой так получилось) ей стали приносить продукты поселковые женщины и даже из деревень. Чем лечат пленных – об этом знали почти все, кроме тех, кому знать не следовало. Пленные получали и порошки. Они их медленно разворачивали на виду у конвоиров и, смакуя, глотали. В бумажках была та же соль, а иногда и глюкоза.

Рано или поздно немцы-конвоиры должны были сообразить, почему так долго пленные задерживаются в аптеке и отчего некоторые стараются протолкнуться туда еще и еще раз. И это случилось. У молодого с отекшим лицом парня конвоир заметил в рукаве хлеб: бедняга боялся его выпустить из рук. Как собака бросился на него конвоир, ударил автоматом в грудь и ринулся с куском хлеба в аптеку. Мать все видела в окно, лицо ее было бледно, а руки спокойно занимались аптечным делом: отсчитывали капли какого-то лекарства. Но Толя заметил, как панически метнулись глаза ее в сторону кухни. Он спрятался за дверью и показал брату: "Прячься, молчи!"

Немец заорал, поднеся хлеб к маминому лицу, замахнулся автоматом, но задел при этом вертушку. Зазвенело стекло. Это

сдвинуло какой-то рычажок в голове у конвоира, и он ударил не женщину, а по той же вертушке.

Все произошло так стремительно, что Алексей даже из погреба не успел выскочить. Но на кухню конвоир не заглянул и потому не обнаружил, как широко было поставлено дело.

Пленных увели. Маму вызвали в волость. Все сидели дома и ждали ее возвращения. Можно было только ждать. Вернулась мама неожиданно веселая. Разговор в волости шел о том, что аптека – не столовая и не должна ею быть, иначе и аптеки и аптекарей не станет. Бургомистр Лапов научился объясняться на немецкий лад. Мама (Толя хорошо представил, как это происходило) удивленно, всего лишь удивленно смотрела на брызжущего слюной Лапова.

– Как вам не стыдно, Григорий Григорьевич?

Перед вчерашним директором столовой стояла жена врача Корзуна, которой дела нет до новой должности Лапова и которая лишь видит, что ей, женщине, грубят. И Лапов осекся, стал заверять, что он лишь добра желает Анне Михайловне, как хороший знакомый ее мужа...

– Ох и артистка ты у нас, мама – воскликнул Толя, и все засмеялись, и сама мать засмеялась.

Пленных перестали приводить. А жители все несли продукты.

– Вы как-нибудь, дорогая Анна Михайловна. Может, по-другому сможете передать.

Теперь уже нельзя было отступать. Люди искали возможность что-то делать для пленных и вообще что-то делать, их стремление, желание требовательно давило на мать, заставляло действовать. Она уговорила Владика сходить с ней к Лапову. Когда вернулись, Владик сделал было осторожное замечание: дескать, хорошо то, что благополучно сходит с рук, и не стоит рисковать еще раз. Мама умеет не задевать самолюбия Владика, она серьезно и просто относится к его врачебной практике, хотя часто меняет дозы в его рецептах, а потом необидно объясняет, где он ошибся. Но на этот раз она даже не дослушала его, нахмурилась и ушла в другую комнату. Однако у Владика, кажется, созрело свое решение. Через неделю его приемный кабинет переместился в помещение бывшего радиоузла. Мама этому только обрадовалась: освободилась задняя половина аптеки, дело можно было поставить еще шире. Правда, Толе и Алексею запретила приходить в аптеку по вторникам. На протесты она умеет не обращать внимания. Если очень приставать, мама сразу чужой делается, нарочно перестает понимать самые простые слова:

– Что – "пойду"? Куда ты пойдешь? Ума скоро лишусь, а еще вы тут!

Но иногда она разговаривает по-другому:

– Когда тот немец вбежал, я увидела – пропали! Помнишь, я крикнула: уходите! – Толя хорошо помнит, что крикнули лишь глаза мамины. – Вот тогда я решила: никогда... пока можно, не втягивать вас в это. Я и одна сделаю все, что надо, больше сделаю, если не так буду за вас бояться.

Толя все же ухитрялся проникать в аптеку через кухню. Видя его, мама почему-то не гнала прочь, а тут же приказывала:

– Ну что стоишь, помогай Наде. Да двигайтесь вы!

Толя приметил одного высокого пленного – горбоносого, из кавказцев. Особенно видишь глаза его: они пылают, кажется, что остаток жизни в этом неимоверно исхудавшем человеке вот-вот перегорит. Получив свое, он проходит на кухню и зовет маму. Из-под шинели вытаскивает грязный узел тряпок, медленно извлекает из них большие ручные часы.

– Можно на сало обмен сделать? – спрашивает он, не выпуская часов из рук. – Кило можно?

Шепчет жарко, задыхаясь от слабости, запавшие глаза смотрят с безумной пристальностью и недоверием.

Часы – это последнее, на чем держится надежда человека выжить, переступить через общую могилу, уже вырытую за лагерем около леса. Часы можно обменять, но мама упрашивает спрятать их и дает ему вторую порцию хлеба и сыра.

Так повторялось уже несколько раз, об этом узнали в поселке. Маме приносили кирпичики сала, граммов по сто, двести: людям не хотелось, чтобы человек расстался со своей последней надеждой.

Казик тоже принес завернутое в тряпку.

– Батьке в Покровах дали. Просили поменять. Можно взвесить – точно кило. Надо помочь человеку.

Говорил это Казик торопливо, но с глазами чистыми и честными. Однако Толя заметил, как мучительно покраснел Алексей. А раз Алексей краснеет, значит, кто-то поблизости сподличал.

Взгляд у мамы сразу сделался отсутствующим, далеким. Она сухо объяснила, что часы пленный уже продал.

Через два дня его убили.

Двое пленных скрылись в лесу, а он только и успел перебежать канаву. Бежать он бросился с опозданием, видимо, он не сговаривался с теми двумя. Часы оказались при нем. Говорили, что потом их пытался сбыть за самогон полицай.

"Хлопцы"

Зима кончилась. Снова и раньше всего прорезалась каучуковая полоса асфальта, потом зачернели на огородах залысины-бугорки, зажелтели завалинки. И опять загудело шоссе, распираемое колоннами машин – уже с черными кузовами. В газетках заговорили о начале нового и решающего наступления: "когда решит фюрер", "когда дороги просохнут". И все чувствовали, что немцы действительно будут наступать, но теперь это не пугало. Часть огромного тела страны была придавлена чугунной плитой оккупации, но и в этой часть пульсировала та же кровь, что омывала и страшную рану фронта, и далекие просторы Урала и Сибири. Первый шок проходил, люди на подмятых врагом территориях уже не чувствовали страшного разрыва с тем, что внезапно отхлынуло на восток. Кровь пульсировала, у всей страны по-прежнему было одно сердце, одно дыхание.

И тут немцы обнаружили, что Красная Армия имеет большие резервы не только у себя за спиной, но и за спиной у немцев.

Против партизан двинулись карательные батальоны: обозы с артиллерией и минометами, легкие танки. Немалая армия шла против партизан, но не ощущалось, чтобы впереди ее бежал вестник силы – страх. По обочинам асфальтки движутся каратели, а за лесом буднично постреливают одиночки-партизаны. Эти постоянные выстрелы и автоматные очереди стали привычными для жителей поселка: ими как бы пунктирно и все более настойчиво очерчивается граница, где немецкая власть кончается. Границу эту немцы и полицаи переходить малыми силами уже не решаются. Один Порфирка до самого последнего времени пробовал таскаться по деревням. Одноглазый столь люто ненавидел "этих большевиков", что не хотел верить в самое их существование. Но ему пришлось еще раз их увидеть. Порфирка отправился в ближайшую от поселка деревню Зорьку напомнить, что мясо и молоко все же придется сдать новой власти. Он был в хате, когда по улице пронеслись конники, и почти поверил, что они не вернутся, как снова застучали копыта. Он сунул винтовку под печь, схватил топор и принялся щепать лучину.

– Примачок прибился? – спросил один из партизан у хозяйки, ослепляя полицая золотозубой улыбкой. А другой, проследив за глазами женщины, тут же нашел и винтовку.

Посиневшего, с закушенным языком, погнали Порфирку к лесу. Среди снежного поля велели раздеваться. Тут только вернулся к нему

голос. Порфирка хватал всадников за сапоги, обещал вступить в "банду" (привычка!) и плакал одним глазом. Ему велели бежать. Босые ноги отпечатали на мокром снегу два десятка шагов…

В поселке вздохнули с облегчением. Анютку больше всего радовало, что одноглазый получил такую же смерть, какой одарил ее мужа. С неделю она только про это и говорила.

Много неожиданного, такого, о чем когда-то и не думалось, принесла война. Вот хотя бы эти полицаи – их уже немало в поселке – к "своим" и "беглые" (из деревень). Порфирка – старый шпион, этот, по крайней мере, понятен. Ну, а другие: бритоголовый завскладом Пуговицын, коротконогий грузчик Фомка, вахлаковатый "золотарь" Ещик? Значит, какой-нибудь директор столовой Лапов – не задушила тебя твоя одышка! – сидел рядом в кино, а на демонстрации даже где-то впереди шел, а сам он вот кто! Ведь это он, Лапов, приходил, уговаривал папу "выдвигаться", "исправлять ошибку". Очень озабочен был, что у Толи "не та мать".

Толя ненавидел в предателях все: и их настоящее, и их прошлое. Всегда они гады были: и эти дохлые братцы Леоновичи, которые вечно вдвоем бегают (добегаетесь!), и франт с усиками – Коваленок. Удрал с фронта, парикмахером заделался, на вечеринках "Кирпичики" пиликал, выжидал своего часа. Ходит теперь петухом, "разванюшей" по поселку и еще, сволочь, "здравствуй" говорит, будто ничего не изменилось, будто он всего лишь Коваленок, а не гад!

На полицаев, старост, бургомистров, переводчиков люди смотрят с открытой ненавистью и гадливостью. И еще – с тем удивлением и холодком на сердце, с каким хозяин, войдя в свой дом, глядел бы на большую кучу грязи, навоза, неизвестно как появившуюся посредине чистой комнаты: "Откуда? Что это?"

Ну, а Виктор – с этого самый большой спрос!

Кое-кто из полицаев уже не прочь юркнуть в кусты, особенно после истории с Порфиркой. Сказывают, что какой-то родственник Лапова отделался от винтовки, прикинувшись больным. Ага, не сладко? Не то еще будет! До всех до вас доберутся партизаны.

О партизанах разговоров в поселке много. Давно растворились в общей массе лесных солдат "Толики". Слишком много теперь партизан, чтобы кто-нибудь из них был на виду у всех жителей. Теперь одни знают "храпковцев", другие – "денисовцев", третьи – "митьковцев". Удобней же всего называть их просто: "хлопцы".

"В городе хлопцы электростанцию рванули".

"Ну-ну, езжайте, вас там встретят хлопцы".

"Хлопцы примака в Дичкове пристукнули. Лейтенант, а от них в бочке прятался".

Для Толи партизаны – люди особенные, бесстрашные и справедливо-беспощадные. Все они, конечно, с автоматами, и все у них обязательно кожаное: сапоги, брюки, пальто, шапка. А как же иначе! Тайная Толина тетрадка наполовину была исписана стихами о партизанах. Он прятал ее за балкой на чердаке, но прятал не от полицаев или немцев, а от Алексея. Тот найдет и начнет: "По-эт!" От немцев можно было бы и не прятать. Нет, он не зашифровывал свои гимны партизанам. Он писал, как получалось. Само уж так выходило в стихах, что партизаны – это "рыцари огня и мести", "легенда наших дней", а их оружие – "меч Кутузова", "стрела горячая". Не очень-то догадаешься, что это о тех, кого немцы называют "сталинскими бандитами", а жители дружески – "хлопцами".

Грабовская по секрету поведала, что ее Клара (младшая сестра Владика) ходила в Зорьку и там видела партизан. И сразу сама Клара сделалась для Толи существом не совсем обыкновенным, никогда раньше он не смотрел на эту сонную толстуху так внимательно. Жадно старался он увидеть хоть бы отсвет того, с чем встретилась Клара. Но она, кажется, и не понимает, как ей повезло.

– Ну, зашли, воды попросили. "Откуда эта девка?" – один говорит. Я испугалась так! Кожанки? Какие кожанки? Не, кожанок не было. В поддевках двое, на одном полушубок. Автоматы? Не помню.

Пришлось самому дорисовывать картину.

Входят, в дверях наклоняются, оружие сурово звякает. Хозяйка подносит большой медный ковш воды, пьют по очереди. Их не может не заинтересовать парень, что скромно сидит в сторонке, хотя по всему заметно, что он сидит и не заговаривает первым лишь из уважения к ним. И видно по лицу его, что парень готов сделать все, пойти на смерть, если ему дадут задание. Вот только бы семью из поселка забрать, маму, а потом он готов. Один из партизан, в папахе с ленточкой, весь в гранатах, пулеметных лентах, садится, закуривает, спрашивает: кто, как, откуда? Толя рассказывает про немцев, где посты у них, про Виктора, которого он ух как ненавидит! Выходит с партизанами во двор, и там идет разговор уже не для ушей хозяйки. Толя даже песни для них пел, стихи читал...

Многое в людях Толе совсем не понятно. Хотя бы тот же лейтенант, который прятался от партизан в бочке. Он не шел к немцам на службу, значит, не ихний, но тогда почему он не хотел идти в партизаны? Это же такое счастье – быть с ними! А он – в бочку. Застрелили – значит, заслужил.

Пришла к маме за мазью от коросты старуха из деревни. Сидела битый час и на все жаловалась: на войну, на немцев, на "тых яшчэ партызан".

– Гэта ж пришли и забрали у сына боты. Такие ж боты, такие боты! Крепкие, солдатские.

Бабушка слушала, сочувственно поджимала губы, согласно кивала головой, а Толя и на ту и на другую глядел со злостью. Сапоги у них забрали! И кому пожалели!

Толино чувство восхищения всем партизанским выходило незапятнанным из любых испытаний. Полицаи привезли из деревни нескольких женщин. Их отправляли в Германию.

Мама попросила Хвойницкого, чтобы женщине с ребеночком позволили побыть в доме. Хиленькая, чем-то похожая на Маню женщина кормила распеленатую девочку и, не переставая, плакала, кляла "сгубителя". Будто наждачной бумагой царапало где-то внутри – так жалко ее было Толе. Но сочувствие его перешло в восторг, едва Толя разобрался, что у него в доме – мать партизанского ребеночка.

Однако как может она так ругать партизана?

В конце мая Лесун (тот, что был "единоличником на весь сельсовет") приехал с плугом сажать картошку. Коняка у него маленькая, вислоухая, грива и хвост сбились в войлок, сбруя вся в узлах. Когда кончали обедать, раскрасневшийся Лесун вдруг похвастался:

– Хлопцы дали, отсеюсь, а там – бог батька.

Вот оно что? Конь-то – партизанский! Толя совершенно опешил: рядом с таким вислоухим существом никак не становилась фигура партизана, созданного Толиным воображением. Толя не пошел, а побежал к сараю. Мохнатенький коник дремал над сеном, с отвисшей губы тянулась стеклянная ниточка слюны. "Так, значит, ты партизанский? Такой обыкновенный, а вот кто!"

Толя уже любовно смотрел на коротконогое существо.

Оттого что коник этот здесь, вид у немцев и полицаев, проходивших по шоссе, самый дурацкий. Знали бы они, кто сажает картошку Толе!

О партизанах Толя любит говорить с Казиком. Казик Жигоцкий тоже считает, что они – люди особенные. Мама недолюбливает его – это известно. Но какой Казик ни есть, а к немцам на службу не пойдет, и это уже не мало. В Казике нет той внутренней сосредоточенности, замкнутости, суровости, которую так любит в людях Толя. Он скорее схитрит, ускользнет от нажима, чем встанет

открыто против него. Как уж выскользнет, но бобиком все же никогда не сделается, как сделался *тот.*

Второе лето

Близилось лето – второе лето войны. Не рады ему люди. Черным, зловещим крылом фронт загибается на юге. Тыловые немцы по вечерам пиликают на губных гармониках, распевают про "мутер Волгу", в газетках ошеломляюще вспыхивает: Кавказ, Сталинград… Опять большая тревога придавила людей.

И все же это не сорок первый. Нет уже наивных надежд на скорый, решительный поворот событий, но нет и прежней растерянности перед каждой сводкой.

Враждебный немцам тыл жадно ловил хоть сколько-нибудь ободряющие новости с фронта, жил, дышал ими, но у людей были уже и свои, местные победы и поражения, которые тоже радовали или угнетали.

Чем больше обживали немцы завоеванные земли, тем менее прочно чувствовали себя. Горбун с редкими изъеденными зубами был четвертым по счету комендантом. Первый пробыл в поселке недолго. Он больше всего заботился о снабжении своей резиденции колхозным салом, "яйками" и занимался этим, пока "Толики" не отправили его на излечение. Второй занялся укреплениями вокруг комендатуры. И начал он почему-то с вышки-каланчи для часового. С неделю часовой маячил на новой вышке, обзор у него был хороший, но и его видели издалека. По нему стреляли. Вышка пошла на слом. Третий, "зимний комендант", все превращал в дрова: гумно Жигоцких, дубы, пришоссейные сосны. При этом убиралось все, что могло укрыть партизан от обстрела. Еще не наступили холода, а комендатура уже дымила всеми трубами. Говорили, что полицай Ещик выволок во двор два десятка вьюшек. В них немцы не нуждались: печки топились день и ночь. Если его предшественник стремился вверх, то "зимний комендант" полез в землю: на месте сломанной вышки взгорбился дзот, два других оскалились амбразурами в сторону шоссе. А комендант-горбун и вовсе кротом заделался: прямо из комендатуры к дзотам прорыл подземные ходы. Особенную любовь этот комендант питал к колючей проволоке. Мало ему показалось одного ряда колючки, приказал еще один ряд кольев оплести. Все окна зарешетил металлической сеткой.

Целыми днями горбун ползал среди рабочих, которых пригоняли пилить дрова и строить заграждения, выискивая, кому бы дать "гумы"

за саботаж. Доставалось многим, но особенно невзлюбил он старого Тита. Горбун так и висел над чернозубым стариком, а того просто распирало от злых слов. Злюка на злюку нарвался.

Тит без конца поучает тех, кто с ним работает, но при этом не забывает встречать всякий взгляд коменданта спрашивающей, даже подобострастной улыбкой.

– Как довбежку держишь, по рукам скоро дашь! Стукни заодно этого, – Тит льстиво смотрит на обернувшегося коменданта, – может, не такой злой сделается. Ну, хватит колотить, ветром не повалит, идем дальше. Крал и горб нарвал. Как гадаешь, где его берлинская фраву карточки своего горбатенького держит? В книге нельзя: не закроется…

Не закончив своих фортификаций, комендант вдруг собрался в отпуск. Полицаи бегом таскали на машину ящики и мешки с копченостями. Горбун в последний раз прогулялся по двору, погрозил и даже улыбнулся Титу. Навстречу его желтым зубам Тит обнажил в улыбке свои, черные. Пользуясь хорошим расположением духа коменданта, даже по плечу его похлопал:

– Пан в Берлин? До фраву, спрашиваю? Да-алекая дорога…

Тит как в воду глядел. Не прошло и десяти минут после отбытия коменданта, как в той стороне, куда ушли машины, грохнул взрыв, второй, застучали пулеметы. Смолисто-черный столб всполз на голубой глянец неба. Так горят резиновые колеса – это уже известно селябовцам.

Были у людей и поражения, тоже своих местных масштабов, но переживались они остро.

В Зорьке, куда утречком уехали немцы и полицаи, поднялась пальба. Селибовцы, довольные, переглядывались: попались бобики хлопцам на вертел. Но люди сразу сникли, как только увидели первых полицаев: возвращались они победителями, такие важные, у некоторых лишнее оружие, одежонка в руках.

– Перецокали бандитов, – сообщает упругий, как сарделька, коротконогий полицай Фомка, раздувая и без того раздутые младенческие щеки.

На двух телегах тяжело белеют тела убитых. Партизаны!..

Толя старался идти рядом с телегой, как можно ближе к ней, он не просто шел, он сопровождал мертвых партизан. В нем бились, плакали, недоумевали очень бессвязные и очень горячие слова. Как могли они, партизаны, позволить убить себя! Нет, он не смел их упрекать, но он горько недоумевал.

Где-то среди убитых – Никита Гром. Это его десятизарядкой форсит Пуговицын, жестяно стучит полами его кожанки. Никиту запоздало и ненужно укоряют: эх, не надо было в открытую бросаться на засевших в деревне немцев и полицаев! Что Никита сделал именно так, Толю не удивляет. Они такие – партизаны. Но как могли их, партизан, побить?

С машины, прибывшей из города, сполз Хвойницкий и подбежал к телеге.

– Бандиты, бандиты, – загундосил он, схватил с земли лопату и замахнулся на мертвых.

– У-у-х! – застонал кто-то из толпы так, будто ему вырывали зубы. Немец-шофер, который до этого с любопытством смотрел из кабины на мертвых партизан, стал заводить мотор.

Мама не подходит к убитым. Она стоит возле дома. Толя видит, какое у нее лицо. Пошел к ней. Хотел что-то другое сказать, но неожиданно и глупо пожаловался:

– Одного немца ранили, а самих – вот…

Мать поняла по-своему:

– Ничего вы не смыслите, хотя и считаете себя большими. Одного ранили, двоих ранили… От этого не легче тем, кто собирал и провожал из дому сыновей. Только отвели от дома и тут же под пули подставили. Безоружных. Мальчишек.

Толя уже слышал, что четверо из семерых погибших – новички. Они только шли в партизаны. Но Толю не может не возмущать, что мама судит, как те бабы.

– Подставили, заставили? А как же иначе вооружаться новичкам? А знаешь, как здорово они наступали. Без звука. Говорят, полицаи от страха в погреба полезли, если бы не немцы, крышка бы им. Никита до гумна добежал уже. А когда его ранили, часы о десятизарядку разбил.

– Зачем? – не поняла мама.

– Как зачем? Чтобы им не достались.

– Вы все какие-то помешанные, и Павел и вы.

– Мама, ты Никиту знала, видела?

Вопрос у Толи вырвался сам собой. И, может быть, оттого, что Никита Гром был тут, на глазах, мертвый, мать ответила:

– Да.

Сказала и тревожно, предупреждающе поглядела на сына. Как запело все в Толе! Этим простым "да" мать приобщала его к очень многому, о чем он уже догадывался, о чем почти знал. Догадывался, для кого опустошены были чемоданы и бельевая корзина, которые

вначале едва закрывались от медикаментов, догадывался, где мама взяла столько марок, когда нужно было подкупить аптечное начальство. Правда, теперь мама не ходит в деревни. Но это только олухи-полицаи не понимают, кто такой Кричевец – ветеринар из Зорьки, каждую неделю появляющийся в поселке. А даже по тому, как ходит он по поселку сторонкой, по тому, какое замкнуто-безразличное лицо у этого человека с тонкими женскими бровями, можно догадаться, что не только в волость приходит Кричевец. Очень незаметно, мимоходом умеет он проскользнуть в дом. Мама сразу подыщет Толе занятие, он послушно уходит, но вовсе не для того, чтобы делать наспех придуманную работу. Мать не знала, что, пока она с Павлом и Кричевцем сидит в хате, Толя занят тем, что Павел называет "держать глаз на противнике".

После того "да" мама уже не выпроваживает Толю. И Кричевец конечно же заметил его, заинтересовался:

– Это младший ваш?

Мама тут же высказала постоянную тревогу свою:

– В Германию хватают, голова кругом идет, не знаю, что и предпринять.

– А почему бы старшему в полицию не вступить?

– Не хочу! – резко возразила мать. – Даже просто так не хочу.

– А почему бы и нет? – загорелся Алексей. – И винтовка будет.

– Замолчи! – почти крикнула мать. – Не понимаешь, так молчи лучше. Я больше жила, знаю. Война окончится, а потом объясняй каждому. И чтобы бабы проклинали тебя – не хочу. Лучше я их на шоссе к Порохневичу устрою. Что надо, я сама...

– К Порохневичу тоже выход, – согласился Кричевец. – Шоссейных они пока не берут. Да, встретил я на базаре Захарку нашего. С Пуговицыным.

– Они родня какая-то, – заметила мать.

– Родня? Кажется, опасный он тип, этот Захарка. Всегда улыбается, а гад, по-моему. А посмотрели бы вы, чем он у нас в Зорьке баб лечит. Нальет в аптечные бутылочки бурачного сока и еще какой бурды – и давай, баба, сало, самогон.

– Приходил он ко мне, еще когда про Ваню, что казнили его, придумал. Все дознавался, что у меня есть. Кое-что уступила ему, думаю, все же людей лечит.

– Зря.

– Меня, правда, Борис Николаевич предупреждал... Я вам рассказывала, каким Борис Николаевич появился у нас в начале войны? Вот в этой комнате был. С бородой, вы бы не узнали.

– А теперь он побрился? – вырвалось у Толи.

– Ты что это? – нахмурилась мать.

– Побрился, – засмеялся Кричевец, и лишь это выручило Толю: не пришлось ему за водой ехать.

Кричевец поинтересовался:

– Вы давно его знаете?

– Еще до того, как он в городе стал работать. Директором совхоза был тут у нас. С моим Ваней очень дружили.

Мать важные дела не откладывает. Через три дня хлопцы уже работали на шоссе. Заодно и Янек пристроился. Казик тоже побывал у Порохневича, и вот Жигоцкий-младший каждое утро заходит к Корзунам с лопатой. С Минькой Толя теперь видится редко: сразу обнаружилось, что Минька помоложе Толи, ему еще не надо бояться Германии.

У Порохневича штат немалый, почти как до войны, и все молодые хлопцы. Из "дедов", как тут их величают, неразлучные Голуб и Повидайка да еще человека четыре. Помощник у Порохневича тоже из довоенных – Шабрук. Этот чем-то напоминает голодного отощавшего кота, который уже ничего не боится, снова и снова, рискуя попасть под помои или палку, пакостит. Он тут, кажется, всем в кости въелся. Поддерживая штаны, подвязанные какой-то женской тряпкой, одаряя всех улыбкой, он беспрестанно зудит:

– Наработались? Отдыхаем? (Полоска желтых зубов.) Шефа давно не видели? (Уже частокол зубов, узких, длинных.) Гумы захотелось, н-нтеллигенция! Напекли вас, портфельщиков! (Тут уже и синие десны полезли наружу.)

Тип этот хорошо знает, что его терпеть не могут, но ему, кажется, доставляет особое удовольствие видеть это, напоминать про шефа, про "гуму". Сам он больше, чем кто-либо другой, боится очкастого красномордого шефа, который носится на "оппеле" по дорожным участкам, проверяя работы. Все это знают и плюют на угрозы Шабрука. Пасуют перед Шабруком разве только Голуб да Повидайка.

Правда, к начальству тянется "дед" Кулик – назло "молокососам", которые без устали изводят его. Кулик недавно молодой женой обзавелся и до заикания обижается, когда его называют дедом. Даже жалко этого человека с морщинистым, похожим на печеное яблоко лицом, который всякую минуту ожидает, что его вот-вот ударят по самому больному месту. День-два его не трогают, он уже поверит, что о нем забыли, всех называет "хлопчиками", табачком наделяет – тут-то его и подденут на крючок. Особенный на это мастак младший из

трех братьев Михолапов. Размякнет Кулик, разговорчивым сделается, улыбается, открыт весь, как медуза. Михолап-младший и подаст голос:

– Дед, а дед, гляди, молодка твоя бежит.

Будто вилку под ребра сунут человеку – Кулик так и взовьется.

– Т-эт, т-эт, плямкаешь, щенок чертов, научились, мелкозубые, некому вас отучить.

Братья Михолапы – все они черные, словно из одного куска смолы, – хохочут, довольные и "дедом", и своим Мишкой.

– В старой печи черти палят, – поддает жару Михолап-старший.

Голуб и Повидайка, как всегда, маячат на шоссе друг возле друга. Голуб, точно полураспрямленная дуга, висит над лопатой, а сбоку воробьем прыгает Повидайка и все что-то толкует. Голуб тоже какое-то начальство, хотя и – поменьше Шабрука. Он один за всех торчит на шоссе, опасаясь, что шеф нагрянет. И держит возле себя Повидайку, которому ох как хочется на травку, где с самого утра валяются остальные "работнички". В душе Повидайка чуть-чуть лентяй. Хотя он всю жизнь с мозоли хлеб ест, но он давно и твердо решил, что всей работы не переделаешь. Тем более немецкой.

Весело наблюдать, как страдает Повидайка и как он мало-помалу и Голуба совращает на саботаж. Голуб размеренно сдвигает песок к асфальту и то ли прислушивается к россказням Повидайки, то ли свою думу думает. А Повидайка ковырнет землю и станет перед лопатой у работающего, как машина, Голуба. И все рассказывает что-то. Несколько раз приходится ему отступать. Наконец Голуб распрямляется. Глянув в один, в другой конец шоссе, медленно направляется к кустам.

– Что, обедать время? – интересуется Казик. – Главное, все делать вовремя.

– А почему бы и нет, сильно потрудились, – добродушно ворчит Голуб и, подавая жестянку из-под монпансье Повидайке, говорит всегда одно и то же: – На, закури, чтобы баба крепче любила.

Но его товарищ не курит.

– Вот чарку бы, а то что, – лепечет он.

– Ишь, теленочек, жиденького ему.

От шефа страховал Голуб. С Шабруком сложнее, он появляется неожиданно, как с дерева соскочит.

– Что, студентики, спим? – начинает Шабрук демонстрировать свои зубы и десны. – Перевыполнили план, стахановцы? С портфельчиком лучше было?

Черноволосые крепыши Михолапы откровенно игнорируют начальство, даже глаз не открывают. Янек и Алексей смущаются, а Казик бойко оправдывается:

– Только лопаты положили.

Злой на зубоскалов Кулик поощряет Шабрука:

– Дай им в кости, дай.

– А ты сам что? – законно интересуется Шабрук. – Хоть бы ты уже, старый человек...

– Что ты привязался, зараза? "Старый", "старый", раззявился!

Михолапы хохочут с закрытыми от солнца глазами. Потом Мишка поднимает голову:

– Закурить принесли, дядька Шабрук?

– У шефа закуришь, он тебе место найдет. В машину – и в Германию. Как на том участке. Прохлаждались в кустиках, он налетел, в машину и – прощай, мама!.. С шефом не с Голубом, шутки плохи.

– Ну и черти его дери, – поднимается Михолап-старший, – ты вот чего бегаешь? Какие есть штаны и те скоро потеряешь.

В разговор вклинивается Казик:

– Ничего, Сидор Илларионович, посидим, поработаем, солнце еще вон где.

Казик – единственный, кого Шабрук считает тут стоящим человеком. Шабрук закуривает. Потом все же идет на шоссе распекать Голуба.

– Надо как-то умнее делать, – говорит Алексей, – а то мы все на Голуба сваливаем.

– Не лезть же и нам из кожи, – громко возражает Казик. – Ничего, не съест его.

Приезжало на велосипеде и начальство покрупнее – Порохневич; с непроницаемо серьезным лицом выслушивало Шабрука, поравнявшись с работниками, дружно шаркающими железом по песку, здоровалось и уезжало.

Когда привезли камнедробилку, Шабрук, кажется, решил, что пришло время отыграться:

– Закрылась малина. Машина – это вам не Голуб, нажмет.

И правда – нажала. И тут можно бы тарахтеть жерновами вхолостую, но моторист оказался под стать Шабруку. Молодой, а злости на Советскую власть больше, чем у десяти Шабруков. Откуда только? Кончится камень – выключает машину. Это уже сигнал, Шабрук тут как тут.

– Ну, кончайте радикулит лечить, – говорит Михолап-средний, – несет уже штаны в руках.

Неохотно все поднимаются с нагретых солнцем валунов и берутся за молоты. Работа кипит, а камнедробилка молчит. Моторист и руки сложил: "Вот, мол, сижу, не подают камня".

– Старый ты человек, – обращается Шабрук к совести Голуба, – не хотят работать, докладывай – кто. Не то своими боками отдуваться будешь.

Голуб что-то бормочет заикаясь. Не по себе ему. Его, трудягу, обвиняют в безделии, и вроде по праву, но разве его это вина, что так все обернулось теперь, и он не может осуждать хлопцев. Все наблюдают за ним с чувством вины, даже молоты опустили. Один Повидайка самозабвенно гакает. Но удар у него короткий, тюкающий, слышно, что лупит не по шву. Когда по шву – удар похрустывающий. Кто-кто, а Шабрук в этом понимает. Он подходит к Повидайке и любуется им. На детски розовых щечках Повидайки мокро.

– Молот собрался расколоть? – спрашивает Шабрук, ласково выворачивая свои синие десны.

– Как бы ручка подлиньше была.

– Дай.

Шабрук берет молот, перекатывает валун и начинает отсекать боковину. Хруст – и каменный ломоть отваливается в сторону.

Повидайка смущенно крякает.

Шабрук отшвыривает молот и, довольный, что есть чем порадовать, сообщает:

– Завтра машины подойдут, камни с восьмидесятого километра возить будете. С пленными за компанию.

– Те камни только краном поднимать.

– Ничего, шеф из тебя кран сделает. Даст гумы – угол дома поднимешь. Н-нтеллигенция!

Уходя домой, договорились, кто и что должен принести для пленных. Пришли к девяти. Пленные уже на работе. Валят лес, дым от костров ползет по шоссе. Человек десять около машины, накатывают по доскам в кузов большущие камни, от которых в канаве остаются глубокие вмятины. Вся охрана в лесу, около машины лишь немец-шофер и переводчик. Разгрузив карманы в пилотки пленных, предусмотрительно разложенные в канаве, Толя поднялся с колен. Над ним стоят лагерный переводчик. В глазах переводчика, расплывающихся за стеклами толстых очков, издевка.

– А вам известно, что с пленными нельзя общаться?

– Я не общаюсь, – ответил Толя и оттого, что получилось глупо, озлился, посмотрел прямо в очки переводчику и неожиданно для самого себя сказал: – Ну так и что? Сам же ты наелся.

– Я вам не грублю, почему вы мне грубите?

Толя ушел к своим.

– О чем он с тобой? – с интересом спросил Павел и решил почему-то: – Ловкий парень этот Шелков.

– Сволочь просто, – возмутился Толя.

А тут еще Казик, тоже хорош гусь! Договорились же, а он только и принес на две цигарки самосада, да и тот у дедушки взял утром. Отдал щепотку пленному, теперь театрально хлопает по карманам и врет:

– По дороге роздал, ребятки, все начисто. Я не умею понемногу. Что есть – сразу.

Пленные извиняются, виновато ежатся. Сегодня Толя просто ненавидел Казика. И работу свою он всегда умеет на других переложить. Отошел к Шабруку и завел разговорчик на час. Шабрук светит деснами и, похоже, доволен, что другие злятся и на него и на Казика. И не скажешь ничего: на немцев ведь работа. Но камни все равно погрузят, не ты, так пленные, а у них и без того ноги подкашиваются. И не потому это Казик, что для немцев. Просто любит за других прятаться.

Когда машина с пленными ушла, Толя громко спросил:

– Почему ты ничего не взял из дому? Ты же хоть свеклы собирался принести.

Казик вдруг выпалил горячо и почти убежденно:

– Надо было не бросать винтовки, есть там, где давали.

И прилившая к щекам кровь, и дрожь в пальцах, и пафос-то весь – все из-за какой-то ботвы и моркови, которую он обещал принести, но, видимо, не смог выклянчить у старой Жигоцкой! Всем стало неловко. Когда снова подошла машина, Казик энергично, с прибаутками взялся за работу. Толя не раз ощущал на себе его взгляд – внимательный, настороженный. Стоило Толе произнести слово – Казик сразу отзывался, как бы даже заискивающе.

С этого дня Толя начал ловить себя на том, что он присматривается к Казику, словно ищет подтверждения какому-то еще не вполне ясному чувству.

Как-то вечером за столом собралось особенно много людей. Даже Афанасия – сына бежавшего из деревни старосты – зачем-то притащил Владик.

Вообще Владик Грабовский становится все более сомнительным типом: очень уж странные у него знакомства. Заметно, что его распирает от удовольствия быть "фигурой" в поселке: начинающий фельдшер, а все называют, как врача, доктором; совсем недавно был несмелый маменькин сынок, который пугливо обходил шумные, драчливые компании сверстников, а тут вдруг выгнало его в настоящего мужчину, и густой бас проломился.

Оказывается, человек глупеет, когда его начинают называть "мужчиной". На Владике это, во всяком случае, подтверждается.

Если тебе так уж невтерпеж побыть "фигурой" – мол, до войны не пришлось, – мог бы, по крайней мере, без полицаев обойтись. А то и в волостной управе его видят, и с Хвойницким.

Такой начальник медпункта, как Владик, – удобная вывеска для разных аптечных и не только аптечных дел, которыми озабочена мама. Возможно, потому она и не против этих картежных сборищ в доме. Мама лишь предупредила, чтобы никаких "опасных" разговоров при Грабовском не вели.

Тем более что по поселку прополз совсем уж неприятный слушок. Первым принес его Казик.

– Знаете, Лина Михайловна, что поговаривают? Этот Грабовский, фельдшер, каким-то значком за клубом хвастал. Говорят – гестаповский. Остерегаться нам следует его.

Хвастаться шпионским значком, да еще за клубом, где теперь собираются заводские курцы и говоруны, – что-то невероятное! Но на Владика и это похоже.

С Грабовским – ясно. А вот Казик? Вовсю стал остерегаться Грабовского. Правильно, конечно. Но очень уж противно видеть, как он это делает. Вроде даже заискивать начал, смеется одобрительно, что бы ни сморозил Грабовский, поддакивает на каждом слове.

Вот и сегодня лезет Владику чуть не в рот. А потом произошло совсем непонятное.

Играли в карты и разговаривали с Надиной Инкой. Кто-либо брал ее под свою опеку и требовал:

– Скажи: Толя – говяда.

Инка послушно говорила, блестя круглыми глазенками. Но стоило Толе притянуть ее за тонкие плечики, и она охотно поносила недавних своих покровителей:

– Янек – говяда, Ликсей – говяда.

– Споем, Иннок, – предлагает Янек и начинает гнусаво: – "Молодые девушки немцам улыбаются, позабыли девушки про парней своих..."

Ему вторит старательный детский голосишко: "Пло палней".

– Тише – стучат, – прервала их мама.

Открыла дверь бабушка, не разобрав толком, кто стучит. Услышав мужской голос в кухне, мама встревоженно свела заломленные брови. На кровати сидела Надя, она как-то вытянулась, напряглась вся. Виктор! Отведя рукой занавеску, он окинул всех безразличным взглядом и сказал:

– Почему ставни открыты? Светомаскировку не соблюдаете.

Толя не мог не отметить, что Виктор еще больше окреп и как-то огрубел. У рта складки, тугие, как веревки. И выглядит картинно, несмотря на мешковатый немецкий мундир: на плече винтовка, подсумки с патронами на бедре. И граната с длинной деревянной ручкой за поясом. Вот бы отвинтить ее да потянуть за шнур прямо на пузе у тебя, поганый бобик!

– Ну, что там, давай банкуй, – прервал общее оцепенение Толик. Мол, обращать еще внимание на всякого полицая. Глаза б хоть опускал, а то смотрит, будто и он человек!

Но всем явно не по себе. И у Толи внутри щемит что-то. А Казик даже побледнел. Боится он, что ли, этого бобика? Павел – молодец, спокойнее всех, усмехается.

– Да вот в картишки балуемся, – проговорил наконец Казик, но таким бодреньким голосом, что лучше бы уж помолчал.

Виктор опустил занавеску. Мама вышла следом за ним на улицу – закрыть ставню.

– Начальство, – послал вслед полицаю сын беглого старосты Афанасий.

Трудно сказать, насколько искренне, но румянолицый этот парень на каждом шагу демонстрирует свою непричастность и даже враждебность к тому, чему так преданно служит его бородатый батя.

– Еще неизвестно, что за птица этот Виктор, – произносит вдруг Казик.

Толя уставился на него: кому он говорит? Афанасию? Владику? Что значит: "птица"? Не тот, дескать, за кого выдает себя? Ерунда, конечно, но если так думать, тогда разве можно болтать об этих своих догадках при Владике и сыне полицая? И сказал-то как: "пти-ица"!

Видимо, от растерянности Казик не соображает, что говорит.

Надя так и сжигает Казика злым, презрительным взглядом. Но другие, кажется, не придают значения его оговорке.

Да и в самом деле, стоит ли выбирать слова, когда говоришь о предателе.

Вошла мама и приказала:

– Алексей, Толя, кончайте, дышать уже нечем от вашей коптилки. И вставать рано.

Павел поднялся первый.

– Хватит на сегодня.

Он-то чего старается? Толя взбунтовался:

– Доиграем.

– Перестань! – прикрикнула мать. – Нашли занятие.

Смущенные хлопцы стали прощаться.

Толя идет по шоссе

Толя, Павел, Казик Жигоцкий (все с лопатами) стоят во дворе.

– Ну где там Алексей? – сердится Толя, который знает точно, что его, младшего, Алексей дожидаться не стал бы.

У калитки появляется худой, остролицый человек с кошелкой в руке.

– Добрый день! – первый здоровается Толя. Еще бы – его бывший учитель!

– А мои ученики растут, – сказал Лис, подавая руку. – С чего-то начнем первый урок, когда это кончится? Как считает инспектор облоно?

– Районо, – беззаботно, но все же поправил Казик. – Только бы дожить. А там все взойдет на круги своя.

– На свои места? Боюсь, что отличников среди нас не оказалось. Вот разве они?..

И показал на Толю и выходящего из сеней Алексея.

– А где ваша мама? – спросил Лис и переглянулся с Павлом.

Павел показал глазами через шоссе, на аптеку.

Шоссейные работнички Толя, Алексей, Павел и Казик идут по обочине асфальтки, а мимо них проносятся машины.

– Не пиликают уже на гармониках, – отметил Казик, провожая взглядом машину с немцами. И тут же посмотрел на Павла. Что ни скажет – на кого-нибудь посмотрит: не хочет, чтобы какое-то слово его пропало, осталось неуслышанным.

Поселок кончается. Слева за оградой, подгнившей, завалившейся, безлюдный двор завода, выбитые, слепые окна, высокая мертвая труба. Шоссе тут падает вниз, и все на нем видно на целый километр. Фигуры, а чем дальше и ниже – все меньше фигурки людей с винтовками и автоматами, медленно бредущих. Будто расставила их чья-то рука и пустила догонять друг дружку.

– Смена на мост пошла, – отметил Павел.

– Научили их партизаны ходить! – злорадно хихикнул Толя.

Нагнали двух, самых задних. Оба пожилые, грузные, оба в очках. За лесом постреливают. Пулемет протатакал. Ох как неуютно бауэрам среди мертвого леса! И их даже радует, что русские с лопатами идут рядом.

– Дрожат коленки? – спрашивает Толя, невинно улыбаясь.

Немцы не поняли, но дружно машут головами.

– Заткнись, – требует старший брат.

Обогнали стариков, поравнялись с новой парой немцев. Эти помоложе, смотрят подозрительно, держатся за автоматы.

Немцы все парами идут. А дальше впереди, по одному, – полицаи.

– Нажмем еще, – предлагает Толя, – может, и художник наш тут.

– А я все-таки не думал, что он всерьез, – говорит Казик.

– Пошли быстрее! – не терпится Толе.

– Иди, если тебе надо, – говорит Алексей.

– Ты только опять не покрасней, – советует Толя, а сам в сторонку, подальше от лопаты старшего брата. Верь им, этим старшим, огреет, и свезешь.

– Теперь жди, – говорит Казик, – пакости. Ходил, слушал. Права Анна Михайловна, да, да, Павел, осторожней следовало. Я не удивлюсь, если произойдет какая-то неожиданность.

Поравнялись с толстым полицаем, потным от ходьбы и страха. Круглое лицо – как у неумелого пловца, оказавшегося слишком далеко от берега.

– Кха! – кашлянул Толя, точно выстрелил. Толстяк вздрогнул.

Следующий – Пуговицын. Невольно заспешили, чтобы обогнать его.

– Смотрит, как присосался, – сообщил Толя, оглядываясь.

– Вот кого первого… – проговорил Павел.

– Эй, Разванюша, бобик! – Павел просто так и окликнул Разванюшу, который впереди вышагивает. Полицай оглянулся: усмешливая, с шутовскими усиками физиономия, да еще под шляпой.

– Кот в сапогах, – тихо отметил Толя.

– Поздно что-то, работнички, – заметил Разванюша. – А того узнаете?

И показал на Виктора, знакомо плотного, коренастого.

Алексей сразу отстал, зато Толя вперед вырвался.

– А, ты! – обрадовался Виктор.

– А если отвернуть это и дернуть? – спрашивает Толя, касаясь алюминиевого колпачка гранаты, которая за поясом у Виктора. Толю

распирает от желания все и немедленно высказать этому бобику, отомстить и за предательства, и за прошлую дружбу.

– От нее только звук, – говорит Виктор, кажется, не замечая Толиного состояния. – Вот наша лимонка жахнет – дом разнесет! Даже такой, как комендатура.

Достал из кармана лимонку, тяжелую, рубчатую, держит в руке. А Толя все тянется к немецкой.

– А если так, на брюхе дернуть? – спрашивает Толя.

– Убери руку! – Виктор сразу погас, помрачнел. Оглянулся, увидел остальных знакомых. Вот Павел с ним поравнялся. Шагают рядом, чем-то похожие, одинаково упрямые.

– Привет! – беззаботно поздоровался Казик.

Виктор не услышал его.

Толя, ушедший вперед, остановился, смотрит: Павел, Казик, потом Виктор, а сзади, так и не решившийся посмотреть в глаза Виктору, тащится Алексей. Дальше виднеется шляпа Разванюши…

Молча свернули на полевую дорогу, оставив полицаев на шоссе. Улица деревушки – грязная, пустынная.

– Смотри – курица! – удивился Толя.

Выбежал на улицу босоногий пацан – хозяин, очень сердитый на вид, – стал загонять курицу.

– Где батька? – спросил Толя.

Пацан не ответил, убежал.

– Пойду позову Голуба, – говорит Толя.

– Начальство спит, а мы посидим. – Казик усаживается на бревно под деревом. – Спеши медленно, советовал мудрец. Особенно когда на немца работаешь.

Чудной немец

– Опять Шмаус выполз комаров кормить.

– Сейчас закурим.

Кто-нибудь из ребят, кто помоложе, а потому понахальнее, поднимается с земли навстречу немцу в коротких кожаных штанах-трусиках. Ободренный сугубо штатским видом немецкого офицера, вступает в разговор. Произносит лишь бы что:

– Былындыры.

Мирный немец с отвислым носом и черносливовыми глазами грека внимательно вслушивается в незнакомую ему речь и как-то отзывается.

– Ва-ас? – требует пояснения длинноштанный сопляк у коротконштанного немца. Шмаус охотно поясняет. Мальчуган, выслушав его, предлагает с самым почтительным видом:

– Давай сошьем футбольный мяч из твоих штанишек. Фарен, тьфу, форштейн?

Шмаус отзывается, видимо, поверив в немецкую речь собеседника. И снова в ответ ему глубокомысленное и требовательное:

– Ва-ас? Ладно тебе, давай закурим.

Теперь уже Шмаус спрашивает:

– Вас?

– Сигаретен, ферштейн? Айн, цвай, драй. Вирбавенмоторен, вирбавентракторен…

И пацан получает сигарету, одну на всю компанию.

Шмауса в поселке знают. Никто никогда не видел, чтобы этот немец замахнулся или прикрикнул на пленного. Когда тащат воду, он слегка подталкивает телегу на подъемах. Воспринимается это как чудачество, не более: слишком ненавидят жители каждого немца, чтобы кто-либо из них мог завоевать симпатию так дешево. И все же Шмауса выделяют.

Мальчуганы наведываются к Шмаусу под окно. Живет он в большом бараке, выстроенном пленными. И Толя там побывал. Шмаус дал сигарету, одну на четверых. Повиснув на подоконнике, стали интересоваться, что за бандура висит у Шмауса над кроватью.

– Цитра, – первым догадался всезнающий Минька.

Шмаус погасил сигарету о пепельницу и снял со стены свою музыку. Дрогнули струны – звук какой-то стеклянный. Мягкими движениями пальцев Шмаус заиграл, на лице у него – близорукая, слабовольная улыбка. Яично-желтый деревянный инструмент ожил, задышал. Толя не сразу поверил, уставился на немца. А лицо у Шмауса уже какое-то другое, глаза у самого детские. Маленький тихий инструмент, кажется, звучит все громче, хотя пальцы движутся еле-еле. Оглушенные стоят мальчишки. Чудится, что мелодия звучит где-то далеко-далеко, но там, далеко, она гремит празднично сильно, как гремела когда-то в заводском клубе. Немец играет "Интернационал".

– Еще… Шмаус, – вырывается у Толи. ("Пан" он сказать почему-то не хочет.) Шмаус берет его за волосы, легонько подергивает и говорит по-русски:

– Нельзя, три года концлагеря или фронт. Ферштейн?

Совсем растерявшиеся мальцы даже от окна отпрянули, видимо вспомнив про кожаные штанишки и футбольный мяч.

Потом Толя никак не мог понять, что заставило человека, видимо не один год молчавшего, так раскрыться перед детьми. Может, человеку хочется, чтобы люди знали о нем больше. И он решил, что безопасней начинать с детьми. Толя рассказал о происшедшем дома.

И тут же получил выговор. От мамы, конечно.

– И где только тебя носит? Надумался к немцу в гости бегать!

Маня вспомнила:

– Не зря говорят, что он тайный еврей. Нос, глаза…

– Нос, – передразнил ее Павел. – Думаешь, среди немцев нет коммунистов?

– Ты с самого начала это говорил!

– Увидите еще, – заявил Павел.

Для него самого и теперь все было ясно.

Обновилось начальство

Прибежала Анютка:

– Людцы, бургомистра вешать будут.

Не поймешь, напугана или рада.

Оказывается, какой-то заезжий зондерфюрер упрекнул бургомистра, что у него много партизан. А Лапов возьми и брякни:

– Вот вы приехали – теперь их не станет.

Русскому следовало указать его место. Лапова вывели на крыльцо комендатуры. У рта две темные полоски крови. Фомка уже балансирует на приставленной к сосне лестнице, прилаживая веревку на суку, вытертом до глянца детскими штанишками. На этой вытянутой руке добродушной старухи сосны любил когда-то посидеть, помечтать и Толя.

– Ой, напротив окна! – испугалась Маня.

Так, кажется, относятся к происходящему и другие. То, что повесят человека, – жутко, хотя самого Лапова не жалко. Видя мешковатого бургомистра, тяжело дышащего и оттого будто спешащего к сосне, глядя на мрачно-деловитых эсэсовцев, люди ощутили, как совсем рядом начал работать безжалостный механизм.

На этот раз под зубья страшной машины попал один из тех, кто ее обслуживал. Но он попал в нее случайно. Машина – для таких, как ты. Вот почему будто пеплом посыпаны лица у людей.

Лапова подвели к дереву. Полицай Ещик с идиотской услужливостью подставил своему начальству табурет и почтительно

отступил в сторонку. Челюсть у Лапова перекосилась, короткие ноги не держат тушу, которую они всегда так легко носили.

Напряжение разрядил переводчик Шумахер. Он только что приехал из города и сразу забегал, замахал руками, наседая на немцев. Несколько офицеров пошли с ним в комендатуру. Лапов безразлично, уже ничего не соображая, смотрел им вслед. Вернулись они – и вот кинолента завертелась в обратном направлении: бургомистра повели назад, Фомка вскочил на лестницу снимать веревку.

А Шумахер верен себе: спасает всех, кого может.

После случившегося Лапов заболел. Нового бургомистра подыскать оказалось делом не легким. Тут – немецкая петля, а там – партизанская пуля – самый большой негодяй задумается. И все же нашелся. Полицай из "примаков", хлюст с черными усиками и неуловимым взглядом – Баранчик.

– Брандахлыст, – определил эту личность дедушка.

"Брандахлыст" развернул самую кипучую деятельность. Никто никогда не видел его не бегущим, не вопящим, не выкатывающим глаза. Какой-то бешеный!

И вдруг исчез, будто сорвался. Удивил Баранчик всех: и немцев, и жителей. С ним исчезли пулемет, печати, бланки. Сразу заговорили о нем с веселым одобрением.

В полиции – переполох. Комендант, сменивший злого горбуна, пообещал отправить бобиков в Большие Дороги в СД. И тут всплыл Хвойницкий. У этого длинного сутулого полицая с меловым, усыпанным ядовитыми прыщами лицом, кажется, имелись все качества, необходимые для должности бургомистра.

Место начальника полиции, которое после Порфирки занимал Хвойницкий, отдали какому-то Зотову, присланному из города. Говорят – бывший лейтенант. Сразу начал вводить в полиции военные порядки. Выдворил из больничной прачечной Анютку и еще одну семью и устроил там караульное помещение. Теперь бобики должны ночевать все вместе. Каждое утро их выводят во двор для муштры. Хлюповатенький начальник полиции бегает перед строем, далеко слышен его пронзительный голос. Привязался за что-то к вахлаковатому Ещику и к бородачу Емельяненко. Жители с удовольствием наблюдали, как ползают по земле два мешка, судорожно подтягивая вслед за собой винтовки.

– Ну, эти навоюют немцу.

– Хоть на лопату их бери.

Новое начальство решило партизан посмотреть и себя показать. Как всегда перед вылазкой в деревню, полицаи долго толкались около комендатуры. Наконец двинулись мимо завода к лесу. И тут произошло неожиданное. Потом стало известно, что двое партизан подошли к заводу по какому-то своему делу, а тут полиция на них, ну, они и пальнули. А в ту минуту все казалось ловко подстроенным. Когда из-за ближайшего к лесу дома застучали выстрелы, с полицейским воинством произошел полный конфуз. До этого случая жители еще не видели "своих" полицаев в деле. А тут налюбовались всласть. Ни одного выстрела в ответ. Три десятка бобиков точно испарились. Только и видели, как полз по грязной канавке длинный Хвойницкий – "живая ужака". Через три минуты полицейские были в противоположном конце поселка, за комендатурой. Спрятались за немцев. Но это было грубым нарушением стратегии тыловых немцев: бобики должны быть не позади, а впереди. Их собрали и цепью двинули к лесу. Долго, очень долго шли они туда. Со стороны казалось, что все они одной веревкой связаны – каждый тянет остальных назад. Партизан в лесу не оказалось. Тогда из-за колючей проволоки вышли немцы и тоже прошлись по опушке.

Новый начальник полиции спешил, кажется, во всем. В поселке уже знали, что он набивается в женихи к Леоноре. У таких "женихов" теперь очень влиятельный сват – Германия. Полицейская любовь означает: "Либо я, либо Германия".

Дела ночные и дневные

Ночью поселок встряхнуло тяжелым взрывом, совсем близким. Перед уходом на работу Толя заметил, хотя и не придал этому значения, что пиджак у Павла сырой, точно его отмывали от грязи.

На шоссе около аптеки всех уже поджидал Голуб.

– Приказано идти к бетонному мосту. Подняли его хлопцы. Посмотреть, как они его...

Голуб на радостях даже разговорчивым сделался.

Возле моста много начальства. Грузный немец в толстых цейсовских очках все пробует ногой взгорбившийся асфальт, точно желая втиснуть его назад. Порохневич с серьезным лицом слушает ругательства шефа. Взрывом лишь вскинуло и раскололо бетонную плиту, подняло асфальт. Эх, не знали они про бомбы, которые когда-то приметил тут Толя! Перейдя канаву, Толя незаметно скосил глазом за куст. Да нет же, подобрали! Лишь два нежно-зеленых пролежня

светлеют в траве. Ольшаник положило веером, забросало грязью, везде валяются березовые плахи и обгоревшие дрова.

– Трубу под мостом закладывали, чтобы сильно рвануло, – тихо пояснил Павел.

– Тут бомбы две лежали, помнишь, я тебе говорил, что можно костер разложить… – шептал Толя, явно примазываясь к чужому делу.

– Маловато твоих бомб, видишь.

Павел непонятно усмехнулся и отошел к Порохневичу, который, проводив шефа, сам теперь неодобрительно пробовал ногой асфальтовый горб. Порохневич сбрил свои жесткие черные усы, но стал от этого не моложе, а почему-то совсем стариком.

– Срезать это надо, – чуть шепеляво говорит он. Наклонившись, переводит рукой педаль велосипеда и добавляет не то раздраженно, не то с насмешкой, обращаясь почему-то к Павлу: – Работайте, раз не умеете работать.

Бедный Голуб принимает это на свой счет, смущается:

– Мы ничего… мы заделаем…

– Нажми на этих бездельников, Голуб, пусть почувствуют, – говорит Порохневич и уезжает.

А через два дня новое событие.

– Слышали? – заговорил Казик, догоняя всех на шоссе. – Шмауса украли. Одного немца придушили, а Шмауса с собой забрали. Мы спим, а хлопцы разгуливают рядом. Даже гусей офицерских прихватили. Не спасли немцев гуси.

Встречные селибовцы переглядываются заговорщицки: все уже знают. Толе не терпится увидеть знакомый барак. Ведь там побывали *они.* Вот за этим деревом или у этого угла ночью стоял партизан!

В деревне известно больше. Оказывается, дверь открыл лагерный переводчик Шелков, которого Толя тогда на шоссе называл сволочью. Он же и немца убил. А девушка, работавшая судомойкой, ушла с партизанами. Мишка Михолап видел, как они шли через деревню.

– К утру уже. Двое впереди, с ними переводчик, машет руками и все смеется. И девка в ботах, штанах…

– Гляди – снарядилась. Загодя, знать, собралась, – прикинул Повидайка.

– А за ними человек весь в гусях. Я и не раскумекал поначалу, что за чудо. Аж это немец под гусями. Шеи им связали и понавешали на Шмауса…

– Только двое партизан и было? – не поверил Казик.

– Потом еще шли, из этих или не этих.

А Павел все молчит, и так, словно знает еще что-то. Играет желваками да улыбается.

Подъехал на своем велосипеде Порохневич.

– На дробилку не пойдете.

– Ну какая там работа сегодня! – весело соглашается Казик. – Слышали, Лука Никитич?

– Я не о том. Моториста убили. Партизаны.

Шабрук, который подбежал как раз под это слово, издал икающий звук. Черные Михолапы все вместе улыбнулись какой-то одной улыбкой.

– Не хотел идти с ними, ругаться еще стал. Дурак, конечно. А убивать все же не за что, – добавил Порохневич.

– Оно так, – неопределенно заговорил Повидайка, – хлопцы с оружием, ну и стреляют.

– Собака же был, – возразил Порохневичу Михолап-старший, – обрадовались некоторые (взгляд в сторону Шабрука), думают, что всё уже. Нет, голубчики, рано на шею людям полезли. Отстрел хлопцы делают.

Ушли к песчаным карьерам и там валялись целый день. Шабрук не показывался.

Павел и Казик, а с ними и Толя решили пройти дальше, где пленные расчищают трехсотметровую полосу вдоль шоссе. Дым от костров уходит в лес и там повисает на елях, а на вырубках непривычно голо, как в доме, из которого внезапно вынесли знакомые вещи. Завернули к костру, у которого на плащ-палатке полулежит "доброволец" – так окрестили немцы полицаев из военнопленных. Он занят тем, что сует ногу в огонь, не боясь сжечь сапог. Сырые концы обгоревших еловых палок едко дымят, глаза у него слезятся. Поздоровавшись, Казик завел речь о куреве. "Доброволец" достал пачку сигарет и подал. Все это не глядя, насупившись. Многозначительно, но так, что при желании можно и не придавать этому значения, Казик отметил:

– Немецкие.

– Немецкие, а какие еще, – сердито проговорил человек.

Лицо у него широкое, веснушчатое и, пожалуй, добродушное. И глаза голубые, но взгляд темный, тяжелый. Увидев человека в таком же, как на нем, желто-зеленом мундире, "доброволец" снова полез сапогом в костер. Подошедший спросил:

– Кто такие?

– Люди – кто ж еще! – отозвался тот, что лежал.

– Да вот дорогу асфальтируем, – охотно пояснил Казик. – Говорю, ловко придумано – лес рубить. Попробуй теперь партизаны подойти к шоссе – все на ладони.

В Казика уперлись выпученные изучающие глаза. У этого "добровольца" вместо лица то, что называют рылом: красное, тупое.

– Какие еще партизаны? Бандиты.

Потом произнес начальственно:

– Плохо работают.

– Кто, бандиты? – лениво спросил лежащий.

Глаза у откормленного тупицы точно еще больше раздулись.

– Непонятлив, Иванов, стал. Смотри!

И пошел в сторону леса.

– Начальство? – полюбопытствовал Казик.

– Собака, дурак набитый. И сытый.

Казик опять поинтересовался:

– Не опасаетесь, что из лесу выйдут?

– Да где они тут, не слышно.

Человек прячет глаза, но видно, что напрягся, ждет ответа.

– Два километра вот сюда – и сколько хочешь партизан, – без всякой дипломатии, как про грибы, сказанул Павел.

– Не доверяют они таким, как мы. Хотя кто же мы и есть?

– Думаете, не понимают люди, не видят, как немцы загоняют пленных в "добровольцы", – в открытую агитирует и Казик.

А Казик все же молодцом может быть, глаза вон какие хитрые, и сказать умеет как надо. И про лагерного переводчика Толя плохо подумал тогда на шоссе, а как все обернулось.

Когда уходили, "доброволец" поинтересовался:

– Вы всегда тут работаете? Этому не лезьте на глаза.

А когда через два дня пришли на то же место, поняли, что имел в виду Иванов. Красномордый вынырнул из-за кустов, глаза пьяно-негодующие, навыкате, в руке пистолет. Вид не то угрожающий, не то испуганный, во всяком случае, картинный.

– Не встречали того?

– Кого? – спросил Казик.

– А что? – неосторожно заинтересовался Павел.

Но дурень с пистолетом явно не был психологом.

– В банду сбежал.

– Кто? – с неуловимо наглой интонацией еще раз спросил Казик.

– Иванов, что с вами тогда сидел.

Собственные слова, кажется, натолкнули полицая на догадку.

– О чем он с вами тогда говорил?

– Ни о чем. Попросили закурить, и все.

Казик заметно начал нервничать. А красномордый продолжал возмущаться:

– Понес пулемет в ремонт и не вернулся. И чего не хватало, жрал и пил, как свинья.

"Как ты", – мысленно произнес Толя.

– Ну, попадись он мне!

"Как бы ты теперь ему не попался. То-то пистолет из рук не выпускаешь".

А в Лесной Селибе еще новость. Мама очень встревожена. Сенька Важник убил Лапова. Бывшего бургомистра по выздоровлении сделали начальником гаража. Он, казалось, уже притих совершенно. А тут на тебе, тайком полез к Сеньке в машину и вытащил какой-то пакет из-под сиденья. Сенька и пристукнул его заводной ручкой. Потом выехал из гаража, подрулил к дому, погрузил стариков и семью старшего брата и был таков. Вечером мама сказала:

– Он там медикаменты прятал. Я давно боялась. Вы же все такие неосторожные.

Толя бежит к Лесуну

Прямо в сенях Толя столкнулся с Виктором. Опять приходил маскировку наводить? Виктор поздоровался. Толя не ответил. Мама очень взволнована.

– Где Алексей, Павел?

Ну конечно, если кого-то нет, виноват Толя.

– Вечно вы где-то пропадаете. Иди сюда. Нина, пойди поиграй.

Ага, его уже отличают от Нинки.

Мама медлила, посматривала в окно. Ожидает, что придет Алексей или Павел. Толя, красный от обиды, глядел в угол.

– Ну, не дуйся. Это не шуточки.

И тут мать заговорила иначе, будто прощения просила за что-то. А сын ждал со счастливым нетерпением.

– Не хотела я, детки, втягивать вас во все это. Боюсь я, вы такие глупые еще. И Павел не лучше, как маленький. Ну, хорошо, хорошо…

– Зачем он приходил? – замирая от готовности услышать что-то совсем неожиданное, спросил Толя. – Виктор – тоже?

Спросил и тут же почувствовал, что не удивится, если мать скажет "да". Вдруг оказалось, что в нем осталась какая-то необорвавшаяся нить, которая все это время связывала его с тем, кого он так страстно хотел возненавидеть.

Мать сказала:

– Да, тоже. Надо, Толик, бежать к Лесуну в Старцы. Ты не заблудишься в лесу?

При других обстоятельствах можно было бы подумать, что мама нарочно это…

– Хорошо, хорошо! По поселку не беги. И в лесу осторожно. Не дай бог остановят – скажи, коня просить. А может, лучше не надо, сынок?

– Что сказать?

Толя старался быть спокойным, а все в нем так и пело. Мать сразу разглядела это.

– У тебя все на лице. Нельзя так. Скажи Артему: немцы и полиция идут в Дичково, узнали, что там днюют партизаны. Запомни хорошенько: впереди будут идти свои… Виктор и еще с ним. Этих пропустить надо. Они тоже будут стрелять по немцам. Повернутся и будут стрелять. Ну, ты понял?

Объяснение боевой ситуации – чисто женское, но Толя поспешно закивал головой.

– Все понял? Виктора не называй ему. Свои, и все.

Толя выскочил за порог. В окно застучали. Ага, не бежать. Толя шел вдоль забора к школе и косился на комендатуру. Там целое стадо полицаев.

Потом мчался по лесу, пропуская упругие сосенки между ног. Оттого, что в памяти он нес слова боевого поручения – так он называл это, – Толя чувствовал над собой такую же опасность, как если бы карманы его были набиты патронами и листовками. (Память услужливо и пугливо оживляла протяжный крик убиваемого во дворе комендатуры голого человека.) Но ведь слова только в нем, их знает одна лишь мама, и, значит, все от него одного зависит.

Вот и поле проблеснуло. Казалось, вместе с Толей на открытое место выбежала сосенка и от растерянности присела перед самой пашней. Толя оставил сосенку одну и побежал по убранному картофельному полю. Под старыми березами – постройки Лесуна. Удивительно, зачем человеку такое большое и под такой дырявой крышей гумно? Толя с опаской кашлянул: где-то здесь собака. Лесун всегда хвастался: не собака – зверь. Хотя у него все особенное: не конь – трактор, не корова – маслозавод, не баба – сатана.

Из гумна вышел старик с обсыпанными мякиной густыми бровями, рыжебородый. Из-за обильной растительности все на лицо кажется мелким: не глаза – два хитрых зверька, не нос – бородавка. Впрочем, Толя уже привык к этому не то страшному, не то смешному

лицу. Лесун – такая же часть Толиного детства, как старик Жигоцкий. С ним связаны представления Толи о всех хозяйственных заботах, которые касались всегда лишь мамы. Как-то само собой разумелось, что, если надо привезти сено или дрова, на это есть Артем Лесун, он один в округе еще имел коня. Самому председателю поселкового Совета Артем тайно смолил свиней. "Сало без шкурки – не сало, а мыло", – поучал Артем, угощаясь свежиной в доме председателя.

– Где ваша собака? – беспокойно спросил Толя.

– Волки украли.

Глазки хитро засветились. Толя понял: собака мешала ночным гостям. Трудно понять, что сделало Лесуна партизанским связным. Когда только пришли немцы, он явился в поселок и прошествовал мимо клуба с какой-то очень торжественной миной. Но важничанье его вызвало лишь веселые замечания: Артема никогда всерьез не принимали.

– Лесун, тебя разыскивают, повезут в Германию, чтобы научил их хозяйство ладить.

– А вот брови сбреют – киндеры пугаться будут.

После того разговора с комендантом, о котором рассказывал Казик ("Старой власти не слушался и наши законы нарушать хочешь"), Лесун засел у себя на хуторе, как медведь. И вот – связной. Возможно, ему, хитрому хуторянину, выгодней и безопасней дружить с ночными гостями, чем с дневными. А может быть, главное и не расчет, а, наоборот, свойственная Лесуну склонность к рискованным комбинациям. Или прав комендант: не умеет Лесун с властями уживаться.

Спокойно выслушав очень горячую и не очень связную Толину речь, Артем снял с изгороди ватник (в нем он и зимой и летом), накинул на плечи. Прикрыл скрипучие ворота гумна. Уже сделав несколько шагов со двора, не оборачиваясь, сказал:

– Иди в хату, там – баба.

"Баба" встретила Толю в сенях. Она уже давно следила за тем, что делалось во дворе, но спросить Лесуна, куда он отправляется, не решилась. Услужливый для чужих, Лесун дома – настоящий черт. Мама уже его отчитывала за то, что он снова взялся бить свою старуху. Бьет и приговаривает: "Это тебе не при Советах". Толя знает, что перед войной шестнадцатилетний сын Лесуна съехал куда-то и даже писем не слал. Когда глядишь на жену Лесуна – почти онемевшую женщину с черными руками, не верится, что и она когда-то была молодая, смеялась, может быть, пела.

Вот так, видимо, жил и дед, от которого ушла Толина мама.

– Молочка попей.

Это обращались к Толе, к партизанскому связному.

– Я и воды могу, – неискренне отозвался Толя.

Ему не поверили и вынесли молока в тяжелой медной кружке. От кружки, что ли, но молоко невероятно холодное и вкусное.

Толя уловил какой-то непонятный, беспокойный взгляд женщины, и ему сделалось не по себе. Отошел к сараю, сел на жердь изгороди так, чтобы видеть лес и поле.

Скоро будут стрелять. Успеет или не успеет Артем? А если немцы завернут на хутор? Или перехватили Лесуна и ведут сюда? Толе же не сказано дожидаться возвращения Артема. И мама волнуется. Обдумывая все это, Толя уже перенес ноги через изгородь.

В лесу ощущение опасности прошло, но не стало и того чувства тревожной радости, с каким Толя бежал на хутор. Ведь он струсил. Он не ушел, а убежал, даже Артемиху не предупредил. Но чем ближе к дому, тем больше росла в нем новая радость, радость от мысли, что сейчас его увидит мама. Толя не спеша прогулялся по шоссе против окон аптеки, зная, что она уже видит его. И только тогда пошел в дом. Он смотрел, как мать переходила шоссе: в белом халате, с лицом озабоченным, серьезным. Озабоченность не сошла с ее лица и после того, как она вошла в кухню и увидела, что сын жив-здоров.

– Ну что? Успеет он?

С непонятной ему самому обидой сын ответил:

– Конечно. А я побыл, а потом домой ушел. Чтобы не думали тут чего…

Но и теперь мать, казалось, не обратила внимания на то, что сын вернулся благополучно.

– Боже, что будет! Виктора не впереди, а сзади поставили. Места себе не нахожу. А тут еще Любовь Карповна. Павел ходил предупредить, чтобы ушла из дому, так она обругала его. Сумасшедшая! Теперь бойся: если что случится – выдаст, ничего же не понимает.

Мать ушла в аптеку. На душе у Толи пакостно. Еще ничего не кончилось, а ты радости захотел. Партизан!

Вот – далекие выстрелы. Несколько. И снова тихо. Опять приходила мать. Шепталась с Павлом. Она страшно нервничает:

– Может, уйти вам из дому?

Боя так и не услышали.

Возвращались: полицаи впереди, немцы позади. У Виктора голова забинтована. Ходят разговоры о какой-то стычке его с Пуговицыным.

Толе повезло. Он сидел в аптеке, когда вдруг заглянул Виктор за бинтом. Больных не было. В ответ на смущенную улыбку старого друга Виктор весело засверкал крепкими зубами:

– Здравствуй, Толя.

Теперь Толя ответил. И покраснел от счастья. Он глядел на Виктора во все глаза, будто давно не видел его. Кстати, не у одного Толи такие глаза. У Нади – тоже. Мама спросила:

– Что там случилось у вас? Он что, догадался?

– Пожалуй – нет. Все шло, как надо. За поселок вышли – нас, как положено, вперед.

– Мне показалось, что ты побледнел и так посмотрел на меня. Ну, думаю, несчастье.

– Правда? Нет, я знал, что они только здесь храбрятся. Вышли за поселок – перестроились. Подходим к кладбищу. Если есть засада – здесь. Говорю офицеру, в разведку, мол, пустите, впереди пойдем. А Пуговицын и пристроился к нам. Трус же, но еще больше выслужиться ему хочется, я все вперед его пропускаю, а он норовит быть позади нас. Мы тоже напряжены: вот-вот начнется. Это ему передалось, совсем взбесился со страха, за затвор хватается. И бабахнул. Меня и опрокинуло, хотя только чиркнуло по виску. Вскакиваю – вижу: Пуговицын на земле, морда в крови, а Коваленок еще замахивается прикладом. Сзади паника, залегли немцы. Мы тоже, но задом к кладбищу. Взвел я пулемет и думаю… Но тем и кончилось. Партизан не оказалось. Их-то и было в Дичкове всего несколько человек. Не знаю, видел или не видел Пуговицын, как мы изготовились к бою? Думаю только, у него в голове все наоборот пошло от Ванюшкиного приклада.

– Я Павла к Любови Карповне посылала. Не поверила.

Виктор все понял. Помрачнел.

– Спасибо, Анна Михайловна. Когда я думал, что началось, страшно мне стало за нее. А сказать ей ничего нельзя. Вот теперь она будет знать что-то, но меня это не радует, а пугает. Могу и вас подвести.

– Это хорошо, Витя, что ты подумал о ней. Ты умнее, должен понимать, чего от нее можно требовать. Павел ей только посоветовал уйти из дому, а почему – не сказал.

– Верите, Анна Михайловна, я всегда завидовал вашим хлопцам, а теперь особенно. Ведь до чего у нас доходило. Первое время она ожидала, что я тащить буду из деревень, как Фомка или Пуговицын. Сказать боялась, но и скрыть не могла.

– Она, Витя, своеобразный человек. Её только пожалеть можно.

– А знаете, Коваленок редкий парень, – перевел разговор Виктор. – Как он Пуговицына под ноги положил! Вначале, хоть и говорил мне Борис Николаевич, кто такой Разванюша, не очень я в него верил. Какой-то франт хуторской, усики дурацкие, ночи напролет самогон с полицаями хлещет. Думаю, послали его в полицию дело делать, а ему там и без дела нравится. А тут именно такой нужен, всех их в лапти обует. Во мне они чужака чуют, как я ни прикидываюсь, пи подделываюсь. Без Разванюши, не знаю, как бы я и смог? Крепкий, дружный народ эти староверы, по-моему.

– В полиции их сколько, обрадовались, что попа им вернули, – не согласился Толя.

– Всякие есть, – нахмурясь, оборвала его мать и тут же с тихим оживлением рассказала: – Когда-то у моего Вани с ними история произошла. Алеша только родился, а тут приехали Ваню к роженице брать в Буду. Там одни старообрядцы жили. Привезли и говорят: если она умрет, отсюда тебе не уехать. А тогда они такими словами не швырялись. Ваня тоже горячий. Хорошо, говорит, а теперь убирайтесь все вон. Они послушно оставили хату и два дня под окнами дежурили. Подавали, что нужно. На счастье, роженица выжила и даже двойню подарила. Везут Ваню домой, а сзади еще подводы. Ваня в дом, а за ним кадку меду и мешки тащат. Обругал он их, выгнал со двора. А утром дверь не открывается: привалили мешками.

Толя знает Коваленков. С младшим братом Разванюши они когда-то делали из трубок пистолеты. Толе нравилось бывать в этой семье. У них все грубо, с руганью, но и какая-то завидная спаянность чувствуется. Единственный, кого в доме Коваленков слушаются, кому не отвечают на крепкое слово еще более крепким, – это сам батя. Черный от въевшейся в кожу сажи, с загнутой к острому кадыку бородкой, Коваленок поспевал везде – и в заводской кузнице, и в домашней. Дома ему помогали сыновья. При этом без конца или смеялись, или дрались. Веселая семья!

– Держитесь его, Анна Михайловна, в случае чего.

Мама удивленно и протестующе смотрит на Виктора.

– Все может случиться. Душа с телом в человеке не очень скреплены. Да ладно, расскажу лучше веселое. Вхожу в одну избу, старуха встречает и жалуется: "Пришел человек сено торговать, а ваш к нему привязался". Смотрю, а это Коваленок перед каким-то дедом петушится. Подзывает: "Полюбуйся на этого, шашни с партизанами пришел разводить, а мне про сено поет". И кого, вы думаете, припирает Ванюша? Артема... Лесуна. Умора, как изворачивался

бедный дед: "Да что вы, хлопчики, господины полицейские, вот вам крест". А Коваленок не верит: "Сена у тебя на болоте стога стоят. Скоро заглянем с подводами". – "Где вы видели! Бандиты, хай им, приглядели, все забрали, только под себя подложить и осталось". – "Вот мы тебе подложим кое-куда, партизанский дед". Совсем сбил с толку Лесуна. Он подозревает, что именно ради нас с Ванюшей бежал. Но боится промахнуться. Да и Ванюша такого оболтуса из себя строит, ни дать ни взять Фомка.

– Бедный Артем, – расхохоталась Надя.

– Поглядели бы вы на него. Глазки хитрые-хитрые, так и просят: "Ну, не путайте меня, хлопчики, я же все знаю". А языком лепечет: "Бандиты эти, житья не стало". Жалко мне деда. Тяну Ваню, а он и с порога грозит: доберемся, дескать.

– Ну зачем вы его так? – смеется мама. – Прибежит завтра, приставать будет, чтобы сказала про вас.

– Идут больные, – предупредила стоявшая у окна Надя.

Виктор собрался уходить.

– С лекарствами и особенно с перевязочным осторожны будьте. Кажется мне, присматриваться к аптеке начали.

– То, что я по документам получаю, все рецептами обеспечено.

– У вас, Анна Михайловна, крепкий защитник. Чем вы нового бургомистра, Хвойницкого, так купили? "Чтобы мадам Корзун, это, с бандитами дело имела, такого не может быть". К счастью, этот дурак с причудами.

– Кто его знает? Он уверен, что раз человек из раскулаченной семьи, значит, такой, как сам он. А потом Ваня его дочку от менингита вылечил. Может, это?

Больные уже на крыльце. Виктор пробежал мимо посторонившихся женщин, поправил повязку на голове и зашагал в сторону комендатуры.

Подарочек

Проснулся Толя ночью оттого, что в зале громко шептались.

– Алексей, ну что за ерунда, это же не игрушечки!

– Правда, Алеша, не надо.

Мать и Павел от чего-то отговаривают Алексея, а он помалкивает и скрипит стулом, – видимо, обувается.

Не началось ли то "завтра", о котором Толя разговаривал с Лисом?

– Ты хоть оденься хорошенько, – вынуждена сдаться мать.

Помешать брату, заявить, что и он, Толя, пойдет? Мама сразу рассердится и не пустит никого – это будет справедливо, по крайней мере. Но куда они собираются? Толя вскочил с кровати.

– Лошадь подгонят из лесу хлопцы. Лис корзину яиц и самогон приготовил, – непонятно сказал Павел и засмеялся. Его не видно в темноте, но легко представить, как играют, перекатываются желваки на его щеках, как ястребится его крючковатый нос.

– Смотрите только, дети, – шепчет мама.

И Павел уже – "дети". Куда уж там Толе лезть!

– Вы куда? – спросил Толя, выйдя в зал.

– Завтра узнаешь, – нахально отозвался старший брат.

Павел сказал:

– Подарочек готовим.

Ушли они, тогда мать объяснила:

– К Порохневичу. Туда партизаны придут. Только бы все хорошо.

Маня молчала, когда они уходили, и теперь молчит. Но не ложится. Мама подсела к ней на кровать. Скажут слово и долго сидят молча.

– Мама! – позвал Толя, когда она вошла в спальню.

– Что тебе?

– А мы скоро уйдем? В партизаны.

– Спи вот.

– Эх, были бы партизанами!

– Что это с вами сегодня? Ты думаешь, обрадуются там, если мы сегодня придем? Меня все время просят, чтобы поработала еще.

– Тебе хорошо! А мне?

– "Хорошо"! Глупые вы.

– В войну надо одному жить. Тогда – что хочешь!

– Ничего, детки, придет время – уйдем.

Часы пробили. Потом еще раз.

И вот на шоссе что-то застучало, послышалось: "Хальт!", "Хальт!"

В окно видно: голубоватый, струящийся свет прожектора, установленного над бункером, мечется по темным, как бы вдруг вырастающим крышам домов, по стволам сосен, устремляется вдоль шоссе и опять возвращается к возу, стоящему на обочине. Лошадь пугается яркого света, выворачивает оглобли, вот-вот опрокинет телегу, высоко нагруженную мешками.

Павел и Алексей возвратились не скоро. Тотчас разделись до белья и только тогда заговорили.

Павел сообщил:

– Стоит возле бункера.

– Мы видели, – подтвердил Толя.

– А знаешь, Аня, кого мы встретили! – вспомнил вдруг Павел. – Красноармейца, которого я тогда у Порохневича спрятал. В колодце которого нашли.

Сказал бы: Толя нашел.

– Группа шоссейку переходила, когда мы с подводой своей возились. Порохневича он по голосу узнал, а то никак не могли свои своих признать.

– А коня мы самогонкой напоили, – заговорил наконец и Алексей.

– Зачем? – удивилась мама.

Это может и Толя пояснить: чтобы веселее было. Толя возбужден больше всех, хотя ходил-то на дело не он. Счастливо похохатывая, он интересуется:

– А немцам оставили?

– Знаешь, оставили. У тебя была бутылка, Алексей?

– Я Лису отдал, а он в корзину всунул и говорит: "На поминки".

– Шмауса вы там не встретили? – спросил Толя, намекая на то, что ему многое известно.

Сегодня уже нет смысла скрывать от Толи некоторые вещи, и Павел говорит:

– А Шмаус – живой. Порохневич видел его. В деревню приводили. Нальют ему стакан самогонки: "Пей, Шмаус, ты хороший парень!" Пьет.

– Бедняга, вот, наверное, морщится. – Толя все же рад за Шмауса.

– Спрашивают у Шмауса: "Дадим автомат – будешь немцев бить?" – "Нет, не буду, у меня три брата в армии". – "А полицаев?" – "Полицаев – буду". Он все просит, чтобы в Москву его отправили.

– А цитру он захватил с собой? – любопытствует Толя.

– Не до музыки нам было, когда забирали его.

Утречком явилась всезнающая Анютка и сообщила:

– Ой, любочки, в комендантском двори партизанский кинь стоит. Хвойницкий дундит: "Бандиты награбили, пьяные прямо на комендатуру наехали и убежали".

Толя незаметно вышел из дома. Телега уже за колючей оградой. Лошадь выпряжена, скучает под стеной. А по шоссе прогуливаются жители – их многовато для такого раннего часа – и засматривают во двор комендатуры. Около подводы толпятся полицаи, немец-часовой держится в сторонке.

Чтобы лучше видеть, Толя полез на чердак.

Осмотревшись, отыскал в доске дырочку от выпавшего сучка и припал к ней глазом. Полицаи отошли от подводы подальше, уступив Фомке право исследовать ее. Коротконогий Фомка, как бес, вертится возле телеги: то снизу заглянет, то на цыпочки встанет, то корзинку тронет пальцем. Полицаи и немцы (немцев уже трое – выползли из бункера) поощрительно хохочут, но сами пятятся. Наконец Фомка осторожно, пальцами обеих рук поднял корзинку, и… ничего. Полицаи загалдели, а Фомка прижал добычу к животу, отскочил подальше и, смеясь, показывает: мое, не отдам! Даже бутылку извлек, похвастался. Полицаи сразу заспешили. Бородач из деревенских полез на воз, второй подставил спину, готовый принять мешок.

Толя пригнулся, все в нем сжалось от ожидания.

Ему показалось, что крыша с оглушительным грохотом взлетела вверх. На голову посыпалось. И сделалось тихо-тихо. Тишину, испуганную, какую-то очень пустую, не может заполнить тонкий, протяжный, будто улетающее эхо, крик:

– Э-э-э-э…

Толя выглянул в распахнутую дверь чердака. Воза нет, и полицаев нет.

Ага, поднимаются с земли: один, другой… А поближе к тому месту, где стояла телега, на земле дергается что-то красное и жутко, не переставая, тянет:

– Э-э-э…

Кубарем, как заяц, Толя скатился вниз, вбежал в дом.

– Где ты пропадал? Не выходите, – распоряжается взволнованная мама. Лицо ее так непохоже на глуповато восторженные лица Павла и Алексея, да, видимо, и Толино.

– Еще хватать начнут, – говорит мать.

А бабушка, как курица, над которой распластал крылья коршун, то присядет, то к окну бросится. Из окна тянет холодом: вывалилось несколько стекол.

– Слышите – стреляют. Или это показалось мне? – доносится голос дедушки.

– Э, глухая тетеря, – сердится бабка.

А Толя все пытается рассказать свое:

– Я думал – крыша на меня…

На работе сегодня есть о чем поговорить. Больше всех судят-рядят Повидайка и Казик.

– Ловко, знаешь-понимаешь, хлопцы это самое…

– Работают ребята, и не лопатами, как мы.

Младший из братьев Михолапов начал потешаться над бородачами ("Из троих одного не собрали!"), а Порохневич вдруг сказал:

– Немцам это и надо.

И снова та же противная ухмылочка на безусом уже лице, которая так злила Толю в первые дни, когда только пришли немцы. А кажется, сам же собирал "подарочек" для полицаев!

Когда все ушли к машине сгружать щебенку, Порохневич сказал Павлу при Толе:

– Разрядили мину у своих на горбу. А немца – ни одного.

– Какие они свои, Лука Никитич? – возразил Павел.

– Бобики, – вставил Толя.

– Ну, конечно, теперь ничего не остается. Когда собака взбесится, ее, не раздумывая, убивают. Но разве обязательно, чтобы их столько было? Молодые – почему они? Хотя бы эти Леоновичи, два брата! Я их батьку знал, не большого ума человек, но безобидный, как теленок. Никакой он не враг был, а из детей его вот кого сделали…

– Ничто их не оправдывает, – не согласился Павел.

– Да я не о том.

Репетиция

В воскресное утро около комендатуры выстроилась большая колонна крытых машин. Загадочно и зловеще чернели их пустые чрева. Эсэсовцы в черных накидках поверх шинелей чего-то ждали, скучившись под соснами. Это настораживало. Мама решила:

– Уходите к Артему. Переждете там.

– А ты, мама? – протестующе отозвался Алексей.

– Ну что ты спрашиваешь? Куда мне со стариками? И Маня…

У Мани лицо в коричневых пятнах.

– Опаснее для мужчин, а мы как-нибудь, потом, – заключила мама.

Павел распорядился:

– Надо топоры взять, будто в лес.

Выходили вчетвером. Янек тут как тут: он только что не ночует у Корзунов. Янек, кажется, подозревает, что к этому дому тянутся какие-то нити. Он не осмеливается ничего узнавать, но старается быть начеку, чтобы не прозевать, не пропустить.

И теперь Янек доволен, что оказался на месте в нужный момент, первый шагает к лесу, откуда, возможно, уже не придется возвращаться.

Когда уходили, мать поцеловала Алексея, потом – дрогнувшими губами Толю.

– Ты, Павел, старше, смотри, как лучше. Не приходите, пока все точно не разузнаете через Артема. – С трудом сказала: – А если что, ты знаешь, куда идти.

Охватившее всех возбуждение мешает до конца понять, уяснить страшный смысл этих ее последних, тихо оказанных слов.

За школой их догнала Нина. В пальтишке, из которого она давно выросла, в больших ботинках, она на себя не похожа.

И только бледное широкое личико и серьезные глаза – Нинкины.

– Меня тетя Аня – с вами.

– А сами они? – все-таки спросил Алексей.

– Не знаю. Тетя сказала: уходи и ты.

За поселком Павел совсем преобразился: походка стала пружинистой, нос горбится по-особому хищно и радостно. В лесу облегченно заговорили все сразу.

Но тут же притихли. В поселке что-то началось: крики, женский плач. Пошли быстрее, Теперь говорит один лишь Павел:

– Партизаан должен идти и все примечать. Ямка, пень – тут можно залечь в случае чего. Прошел ямку – намечай следующий рубеж...

На опушке встретили Лесуна с топором и жердью на плече. Тут же под дубами оставались до вечера. "Баба" принесла два кувшина молока и большую ковригу.

Артем ушел к поселку.

Вернулся он только под вечер. Ничего не говоря, сел на пень, который ему почтительно уступили, и начал сворачивать цигарку.

Толя с ненавистью смотрел на волосатые руки, занятые табаком, точно это они мешали человеку говорить.

– Что там? – не выдержал Алексей.

– Надрожались. Согнали всех за проволоку. Табор целый: дети, бабы. И я подсунулся, хотел сблизку разглядеть, а этот завкомовец Пуговицын – цап меня. Матка ваша испугалась, подумала, что и у меня побывали. Твоей женке, – он повернулся к Павлу, – плохо было, а теперь ничего. До притемков держали. Шумахер все бегал за немцами, уговаривал. А человечек он полезный. Понаехали из города какие-то. Документы давай проверять. Не бумажки, а молодые вам нужны! Ищи-свищи. Разбежались, а которые под завод, в трубы позаползали. Домой пойдете завтра, мати приказала. Перин у меня на вас не припасено, снопы под гумном стоят. Распустил – и канапа тебе, хочешь – спи, хочешь – мышей гоняй. Не заскучаешь.

Ужинали при лучине.

– Вот когда-то, – вспоминал Артем, дуя на горячую картофелину, – над корытом с водой защемишь лучину в светец, и хорошо. Как-то свелось все. И сделать руки не доходят. А вот так навалом – смоляков много надо, но набраться.

– Скажите вы мне, – продолжал философствовать Артем, – людям хватало и лучины, потом керосина показалась нехороша, лампочки эти придумали. А вот в ту войну немцы были другие, чем эти, не такие звери. Как это понимать: люди умнее, а злее сделались. Или тут фашизма эта виновата?

– Фашизм, дед! – серьезно поправил его Павел.

На соломе спать одна роскошь. В этом столько партизанского!

А Лесун про них, про партизан:

– Спрашивает: ну, хуторянин, понял, что к чему? А я его, бороду, и до войны знал: приезжал, распоряжался. Я-то, говорю, свое понял. А вы свое поняли? Или и потом будете…

Кто-то прошел по двору, осторожно постучал в дверь. Сердце у Толи забилось в сладком страхе: они!

Артем вскочил, долго всматривался в окно, потом вышел в сени. С кем-то переговаривается, стукнула щеколда.

– Янек, – неожиданно раздается у порога. Это батька Янека.

– Что вам? – не очень ласково отзывается сын, хотя и на "вы".

– Янек, где ты тут? Что это ты делаешь? Хочешь всех загубить? Иди домой, пока не знают.

Сын молчит.

– Янек!

– Не пойду сегодня. Вы что, в Германию хотите меня сплавить?

– Побойся бога, Янек! У нас уже все спокойно.

– Ну и спите спокойно, я приду завтра.

– А если проверят? И матку и брата губишь.

Барановский, видимо, боится, что Янек собрался уйти в лес.

– Хлопцев вот никто домой не тащит.

– Кто как хочет, а ты иди.

Сын молчит.

– Янек! – снова и снова звучит в темноте. Толя живо представляет озабоченное лицо Барановского, высокого работяги-печника, всегда такого молчаливого. – Янек, у тебя к матке и брату сердца нету.

– Завтра!

– Я-я-нек!

Ушел. Артем закрыл дверь. Сказал почему-то со вздохом:

– Дитя плачет, пока поперек лавы[9] ложится, а как вдоль, от него плачут.

– Ты всплакнешь, как же.

Это "баба" голос подала откуда-то с печи. От удивления Лесун и кряхтеть перестал.

Утром все уже выглядело по-иному. Вместо с ночью как бы отступила и опасность.

Дома хлопцев встретили так, точно это они пережили самое страшное.

Маня стыдливо улыбается им из постели. Она вся как-то обуглилась за эти сутки.

– Думали, детки, конец уже нам, – говорит мать и виновато улыбается, – думали, не свидимся больше. Собрались и мы, а уже поздно, хватают всех, гонят. Рада была, что хоть Нинку догадалась отослать. За проволокой плач, крик, дети, женщины... А они все приезжают, все что-то готовят. Потом пришло какое-то безразличие, кто лежит, кто сидит. Жутко так. Говорят, они хотели молодежь забрать, а остальных... Ужас-то какой! Сжечь в школе хотели. Но увидели, что молодые все убежали.

Вечером заглянул Казик и сразу же начал жаловаться:

– Подумайте, до чего дошло! Я за доски забрался, потом хотел переползти в лучшее место, а она увидела и кричит из-за проволоки: "Казю, идь тутай!" Это она и сына за проволоку зовет. Как будто ей легче будет, если и меня туда же?

Никто не спрашивает, о ком он говорит. На такое способна только Жигоцкая. Мама почему-то не уговаривает Казика "понять" свою мамашу.

Наконец Толя снова побывал у Виктора дома. Двор у Любови Карповны совсем запущен, калитка без завес: приставляется, как печная заслонка. В доме что-то гнетущее, как в семьях, где люди подолгу не разговаривают друг с другом.

И запах новый, солдатский.

– А, Толя...

Виктор занят тем, что перебирает тюбики в измазанном красками ящике. Выжатые, пустые кладет на откинутую крышку. Отобрал "сухие", а потом ссыпал их назад в ящик. Толю, конечно, заинтересовала винтовка, он осторожно положил ее на колени, стал открывать и закрывать затвор.

---

[9] Широкая скамья, стоящая вдоль стены в белорусской хате *(бел.)*.

– Вот в город ехать завтра, – думая о чем-то своем, сказал Виктор.

– Соли купил бы, на деревне обменять можно хорошо, – ухватилась за его слова Любовь Карповна. – Одной мне все надо.

Виктор не отозвался, он будто и не слышал ее.

– Стыд за тебя принимаю только. Нужна тебе была эта полиция. Как ели нищимницу, так и едим. Если такой, в лес лучше бы убегал.

И теперь Виктор смолчал: в глазах – ни прежней иронии, ни сердитых искорок, а лишь тяжелая озабоченность и какая-то тоска.

Любовь Карповна вышла, застучала ведрами в сенях.

– А почему ты не кончил техникум свой художественный? – спрашивает Толя.

– Исключили.

– Виктор, а за что?

– За отчима... Откуда мне знать? Написали, что он был царский офицер. Да что ты спрашиваешь у меня? Я сам спросил бы. Кто-то наверх выбирался. Или спасался. По спинам, по головам. Вроде этого Казика.

Виктор закурил. В комнате почти темно. Свет папиросы выхватывает из темноты то щеку, то руку Виктора.

– Топор рубит, а силу ему топорище дает. Цыган байку баял, он у нас в подвале сидит. Пришел человек в лес. Испугались деревья, задрожали: в руке у человека – топор. Но старый дуб сказал: "Не пугайтесь, топор-то без топорища". Второй раз появился человек, деревья уже не дрожали. Говорит человек дереву, самому замшелому: "Кто ты сейчас, кто знает, что ты есть в этом лесу? А вот стань моим топорищем". И стало дерево топорищем. И не стало леса.

Виктор курит некоторое время молча.

– Хитрый цыганюга. Рассказал и смотрит, здорово ли уел меня, полицая.

– Виктор, а какие они, партизаны?

– Какие? Ты же каждый день видишь Анну Михайловну, свою маму.

– Я про настоящих.

– Про настоя-щих! Шли мы как-то ночью в деревню. Подумалось: кончится война, живые останутся жить. И будут рассуждать о мере пережитого и сделанного. А по-моему, самое тяжелое в теперешней войне – вот это: мать и дети. – Виктор курит. Лицо его на миг бронзовеет в темноте от глубоких затяжек. – Каково было бы даже солдату, если бы в окоп подсадили еще и детишек его! Таких вот, как Надины девочки. Мина, падающая на его окоп, падает

и на них, ползут танки, а снизу на того солдата смотрят дочуркины глаза. Я бы боялся смотреть на этого солдата.

Помолчали.

– Видимо, только мать и способна вынести то, что на нее обрушила эта война.

– Гляди – снег повалил, – сказал Толя. – Завтра шоссе чистить попрут.

– А мне в город. Бургомистр и Пуговицын едут обмундирование получать. И я напросился. Надо.

Назавтра в такую же пору прибежала Анютка:

– Ой, Любовь Карповну повели в комендатуру. Хвойницкий бьет ее по голове, а она так вот закрывается а все лицом к нему поворачивается... Ее сын что-то сделал в городе.

Глаза у мамы стали тоскливыми-тоскливыми.

– Вот, я так и знала...

Часть третья
О матерях можно рассказывать бесконечно

Один в поле

Случилось это недалеко от города. Но никто не знал, как Виктор оказался среди поля, почему он бежал к лесу, когда мог спокойно выйти из города и даже выехать на немецкой машине.

Как всякое большое несчастье, произошло это неожиданно.

Виктор возвращался от знакомого сторожа аптечного склада. Оставил у него сверток с салом. Чувствовал тяжесть в правом кармане мундира: бутылка сухого йода для Анны Михайловны и еще какие-то лекарства в коробочках. Оставалось купить сапоги. Время уже думать о крепком партизанском обмундировании. Виктор подходил к базарной площади, зажатой приземистыми, еще купеческими лабазами с проржавевшими жалюзи и воротами. Где-то здесь ожидает машина. Хвойницкий утром объявил: "Кто до четырех не придет, может топать на своих двоих в Лесную… это… Селибу".

Бухнул выстрел, еще один. Вслушиваясь в многоголосый крик, Виктор шел вдоль старой кирпичной стены, отгораживающей базар от улицы. Мимо пробегали женщины с корзинами и узелками, испуганно шарахались от его желтой шинели подростки, прячась в подъездах, под мостиками. Очередная вербовка в Германию – знакомо. Чуть не на голову ему со стены соскочил человек без шапки, в ватнике. Заметно было, что он перемахнул через стену, не думая о том, куда и как упадет. Шмякнулся так, что даже у Виктора внутри заныло: казалось, в человеке все оборвалось. Однако он сразу вскочил на ноги и ткнул навстречу Виктору пистолетом. Глаза признали раньше, чем он успел нажать на спуск.

– Ты?

– Сеня?

Сенька Важник прямо над головой у Виктора выстрелил. Виктор лишь заметил, как соскользнула со стены чья-то рука. Сенька нажал еще раз, пистолет не стрелял. Растерянно оглянулся, лапнул по карману. Глаза его и прощались и просили помочь. Повернулся и бросился бежать. Виктор, не раздумывая, побежал следом. Домчавшись до угла, Сенька выглянул и рванулся назад в подъезд. Виктор встал на его место. За углом гулко прострочил автомат, выбежал немец. Испуганно и со злым недоумением взглянул он на полицейского, который стоял у стены с пистолетом. Но присутствие этого полицейского придало ему смелости. Виктор знал, что он сделает

в следующее мгновение, все сжалось в нем, как перед прыжком в холодный водоворот. Быстро вскинул руки с наганом и выстрелил в отдернувшееся лицо остроносого немца. Немец взмахнул руками, будто его неожиданно толкнули в спину, автомат ударился о стену и упал с дребезжащим стуком на камни.

И тут метрах в ста Виктор увидел Хвойницкого. Сразу узнав высокого в черном длинном тулупе селибовского бургомистра, Виктор заметил и человека с втянутой головой – Пуговицына. Схватили в руки винтовки, испуганно смотрят в сторону Виктора. Наверно, глазам своим не поверили. Виктор заскочил за угол и тоже сдернул с плеча винтовку. Узнали! Мысль эта будто ударила, но сразу все в мире стало проще: назад дороги нет, все решится сейчас, сегодня. Выглянул на улицу: Хвойницкого и Пуговицына уже нет. Убежали.

Из подъезда выбежал Сенька, жадно протянул руку к автомату. Глаза его не упустили и зажигалку, выпавшую у немца из шинели, – поднял.

– Уходи теперь.

Виктор и сам лихорадочно соображал: как дальше? Узнали его или это ему показалось? Но если и показалось, он не может оставить Сеньку одного, хотя бы за город его проведет, а там будет видно.

Они бежали по глухим, пустынным улочкам и слышали своих преследователей. Стрельба и крики все усиливались. Вот уже ввязались мотоциклисты, зловеще тарахтят где-то сбоку. Сенька с маху бросается через заборы, всем телом сбивает с крючков калитки. В одном из дворов Виктор скинул на землю шинель. Вот уже и окраина, впереди на снежном поле несколько домиков, а километрах в двух – лес. Взрывая сапогами глубокий снег, Сенька поворачивает к новому, еще не огороженному домику, который дальше других выступил в поле. Добежали до него, и тут по черепице звонко хлестнуло пулеметной очередью. Если еще осталась возможность вырваться, то это сейчас, ни секунды не медля, прикрываясь стенами крайнего домика. Пробегая мимо последнего человеческого жилья, Виктор невольно заглянул в окно, и в нем на мгновение вспыхнула неожиданная тоскливая зависть к мирному спокойствию, которое он ощутил в аккуратно расставленных вокруг стола стульях.

Чем ближе были они к лесу, все еще недосягаемо далекому, тем больше открывали себя пулемету. Он уже строчил взахлеб с короткими перехватами. Злобно-торжествующе неслись к лесу светлые искры трассирующих пуль. Снег стал глубже. Вбежали в ложбину, большую снежную чашу. Тут густится забытый клочок березовых кустиков. Пули идут над головой, они точно собираются

там, впереди, на краю снежной чаши, поджидают. И когда выбежали из низинки, тесно сделалось от злого роя пуль. Наперебой строчило уже несколько пулеметов. А кто-то стрелял из винтовки из-за крайнего, из-за "их" домика, стрелял, хорошо прицеливаясь. Теперь они не обращали внимания на пулеметы, а чувствовали только того, кто стрелял из винтовки. Ныряли в снег, поднимались и не могли не ощущать на себе этой единственной винтовки. Виктору обожгло шею, Задыхаясь от усталости и бессильной злобы, он повернулся и стал стрелять в чернеющую возле домика фигуру. Сенька тоже дал очередь. Но оба чувствовали, что тот, кто их вот-вот убьет, – жив. Долго так продолжаться не могло, беглецы видели немцев и полицаев, которые, уже не прячась, стреляли им вслед. А та винтовка все била по ним, точно и размеренно, прижимала к земле. Сенька вдруг странно поглядел на свою руку, и сразу лицо его исказилось страданием и почти детским испугом. Из его перебитой кисти на белый-белый снег упали необычайно яркие розовые капли. Первые капли *их крови* – так это и ощутил Виктор. И тут Сеньку опрокинуло навзничь. Точно острой пилой протянули по его ватнику, клочья ваты забелели и тут же взмокли красным. Виктор схватился ногтями за ворот Сенькиной фуфайки и стал тащить его назад, в ложбину, другой рукой волоча винтовку. Отупляющий тикающий ритм зарождался в нем где-то внутри, стучал в висках и тут же срывался. И когда этот отупляющий ритм начинался в нем, Виктор переставал слышать ноющий свист пуль, переставал сознавать близкую опасность, он двигался и что-то делал почти автоматически. Ритм в висках звучал все настойчивее, срывался все реже. Со странной деловитостью Виктор заглянул в лицо Сеньке и только удивился, какое оно молчащее среди грохота и воя, какое отсутствующее. И еще заметил, как бы без всякого чувства, что у мертвого Сеньки нижняя губа вспухла совсем по-детски, а на побелевшем подбородке – ямочка, которую у живого Сеньки он, кажется, никогда не видел. Стрельба как-то притихла, это заставило Виктора стряхнуть с себя оцепенение: стягиваются, подходят! Он уже знал, что конец скоро, что спастись невозможно. Вспомнил про автомат: остался где-то там в снегу. Но все равно запасных дисков нет. Ладонью взвесил свою сумку. К винтовке патронов много. Погружая голову в снег, он пополз, но не к лесу, а ниже в ложбину, к редким кустикам. Осмотрелся: с одной стороны почти до труб срезанные крыши домов, с другой – гребенка леса, такого далекого. Теперь важно только одно: первым увидеть врага (они уже не стреляют – подходят!), все учесть в какую-то долю секунды, переползать, зарываться в снег, не даваться пулям как

можно дольше и бить, бить по тому, что зачернеет на краю снежной чаши.

Вспомнилось, как в сорок первом, выбросившись из горящего самолета, два месяца прятался в лесу, обидно беспомощный перед теми, что ехали по дорогам. Теперь положение его куда более безвыходное, но чувства беспомощности нет. Он знает тех, в кого будет стрелять, и он будет стрелять, сколько сможет. Виктор напряженно следил за краем ложбины. Вот на границе белого и голубого появилось черное и тут же пропало. Опять появилось – он выстрелил. Зачернело правее, левее, оттуда застреляли. Но его не видели, а он видел. И он бил и бил в черное, пока не приходила уверенность: этот тоже мертв. Лицу жарко, царапина на шее саднит, от рук и винтовки парит, кисло пахнет копотью и мокрым железом. Виктор не может не думать, что коленям мокро, старается ложиться на бок. Что-то мешает под ногой, но некогда вспомнить – что. Наконец сообразил: бутылка, коробочки – аптечное что-то. Надо отбросить подальше, чтобы не стали додумываться, откуда и для кого. Отшвырнул и подумал про женщину, которой все это предназначалось. Хорошо, что останутся люди, которые не будут думать о нем как о предателе. Анна Михайловна ни на миг не усомнилась в нем. Когда она увидела его впервые с винтовкой, подошла и так по-матерински открыто спросила:

– Что ты это, Витик, надумался?

И он, нарушая все правила конспирации, тоже прямо сказал:

– Что там ходить далеко, если оружие выдают здесь, на месте. А зачем я его взял, вы знаете.

Она ответила:

– Я знаю.

И не удивилась нисколько, когда неделю спустя встретились у Денисова...

И тут Виктор подумал про свою мать, с тоской и с чувством вины. Ее увезут, будут бить, а она будет проклинать сына. А если вот так – гранату к лицу, чтобы не опознали. Нет, Хвойницкий все равно видел, узнал. Или не узнал? Рано, еще рано!.. Бесконечный внутренний ритм оборвался, Виктор точно очнулся: *так это правда, что он здесь, среди поля, а они ползут, ползут и скоро убьют его...*

Сколько это уже длится?.. Опять ползет... Куда девались патроны? Неужели он столько стрелял? Осталось две... три... четыре обоймы. С последней надеждой посмотрел на лес: солнце, точно уколовшись о его гребенку, остановилось. Додержаться бы, пока

стемнеет. Стреляют, кажется, и на шоссе. Оттуда несутся струйки трассирующих, обгоняя запоздалый стук пулемета.

На шоссе скопилось много машин. Отсюда не видна ложбина, где затаились партизаны. На поле маленькие нерасторопные фигурки людей. Они толкутся около домиков, наползают на белое полотно поля, но точно не в силах переползти какую-то невидимую черту. И не верится, что это они делают столько грохота. С шоссе все это кажется шумной и непонятной игрой. Немцы, толпящиеся возле машин, понимают, что партизанам не уйти, они возбуждены, смеются, некоторые установили пулеметы на кабинах, развлекаются стрельбой. Уже трудно понять, где там, на открытом поле, могут прятаться партизаны. И все же они живут, и ничего с ними не могут поделать зеленые и черные фигурки, ползающие по полю.

Весь город, казалось, притаился, замер. Вначале прошел слух, что партизаны проникли в город и начали бой. Многие из тех, кого схватили на базаре, воспользовались сумятицей и убежали. Скоро стало известно, что всего лишь один или двое партизан залегли среди поля и отстреливаются. Люди думали о смельчаках с восхищением и с чувством вины: они там одни. Прошел час, второй, они все жили. Солнце осторожно опускалось на колкие вершины леса. Хотелось верить, что ночь поможет смельчакам уйти. Где-то в направлении деревообрабатывающего комбината взметнулся клубистый столб дыма, запоздало прогрохотал взрыв и эхом повторился в лесу. Немцы на шоссе зашевелились, стали рассаживаться по машинам. Фигурки у домов занервничали, заметались. Там к чему-то готовились. И вдруг среди поля вскинулся снег, сухо прозвучали взрывы. Немцы наконец сообразили установить минометы.

Все было кончено. По колено в снегу немцы и полицейские вначале нерешительно, а потом все смелее двинулись через невидимую черту, которую вот уже два часа никак не могли переступить. Не дойдя шагов пятнадцати до убитого, передний полицейский выстрелил, перезарядил и еще раз выстрелил. Видно было, как пуля толкнула тело, припавшее к почерневшему снегу. На партизане – окровавленные клочья одежды, на обнаженном теле – угольно-черные пятна.

Но крупица жизни все еще теплилась в иссеченном и обожженном минами человеке. Она собралась в скрюченной руке, сжавшей гранату под грудью. Кто знает, может быть, ее и не было уже, этой крупицы сознания, воли, может быть, лишь тяжесть тела удерживала пальцы на стальной пластине, затаившей взрыв? И

сколько бы теперь ни вбивали пуль в растерзанное тело, оно ждало того мгновения, когда его осмелятся оторвать от земли.

Партизана окружили. Офицер в высокой фуражке с брезгливостью живого к мертвому врагу ковырнул сапогом откинутую в сторону свободную руку. Молодой полицай нагнулся, чтобы повернуть убитого лицом кверху. Застывшие открытые глаза партизана встретились с глазами врагов, и тут же гулкий взрыв разметал всех. Офицерская фуражка отлетела далеко в сторону и легла около ног протяжно стонущего бородача…

Столб дыма мягко выгибался на другом конце города, теперь уже там потрескивали выстрелы.

…Никто в доме Корзунов не знал, что назревают события еще более грозные. События эти вызревали за стенами дома и в стенах дома. Они созревали в душах людей, которые окружали Толю. И, конечно, Толя не все видел, он не знал об окружавших его людях того, что знали о себе они сами.

За здоровье Бориса Николаевича

О Викторе и Сеньке Важнике много говорят в поселке, особенно в доме Корзунов. Жалеют Любовь Карповну: ее, избитую, заперли в подвале, а утром, когда жители еще спали, расстреляли в лесу. В разговорах не участвуют лишь мама и Надя. У них какая-то своя, молчаливая память о Викторе. У Нади взгляд требовательно-злой. Казик начал однажды:

– Я всегда подозревал, что этот парень не тот…

Надя прервала его:

– Вы себя неправым можете почувствовать? Хоть раз в жизни? Или чуть-чуть растеряться и помолчать? Хотя что я – можешь! Еще как!

– Надя самому богу спуску не даст! – почти восторженно закричал Казик.

Надя только плечами передернула и ушла к маме. Казик занялся гитарой. Лицо его странно отяжелело, что-то злое и мстительное затаилось в уголках рта.

С некоторых пор Казик ненавидит эту женщину с требовательными, нахально-смелыми глазами. О, он хорошо помнит случай, на который она намекает: "можешь!" Тогда эта женщина, быстроглазая, скорая и на улыбку, и на резкое слово, нравилась ему. Может быть, потому нравилась, что он замечал в ее глазах интерес к себе, что в ее присутствии он самому себе казался сложнее, богаче,

ярче. Начиналось хорошо. Он уже провожал ее до порога и был уверен, что скоро переступит его. Правда, с ней всегда надо быть настороже: на слове ловит, о себе лучше и не начинать разговор – сразу наколешься на иронический взгляд. Зато какой заразительный смех у нее, когда ей что-то по душе! И надо же было ему напроситься в провожатые, когда она собралась в деревню к своей тетке.

Всю дорогу им было весело. Казик был в ударе. Потом Надя побежала в дом, а Казик, довольный и прогулкой, и самим собой, уселся на почерневшее от времени бревно под тенистой ветлою. Надя вдруг вернулась и сообщила обрадованно:

– В Зорьке партизаны. Еще застанем. Только быстрее, тут близко…

Это было так неожиданно. Казик сам почувствовал, что на лице у него – испуг. Но он думал о главном, все остальное было в ту минуту безразлично для него. Они могут и сюда прийти! А среди них – всякие. Привяжется какой… Если кто-то уже в лесу, ему кажется, что все там должны быть. Придет время, не сразу же… В конце концов он сам знает, как ему поступать. Вот так сразу, очертя голову, рисковать? И немцы, если узнают, не помилуют. В конце концов глупо!

– Пойдем напрямик, я тут все знаю.

О чем это она? Глупости! Детская бравада! Кому от этого польза?

Казик повернулся и быстро пошел к шоссе, заботясь лишь о том, как бы побыстрее выйти туда, где машины. Конечно, не следовало бессмысленно рисковать, но как-то иначе нужно было вести себя – это Казик понял позже. Но тогда он ни о чем не думал: только выйти на шоссе!

– Не сюда.

Надя схватила его за рукав. Она не поняла. А он бормотал:

– Надо разумно, специально прийти, это дело серьезное…

Он почти бежал, Надя не поспевала за ним. Его слова не убеждали Надю – это он сам понимал. Но все это потом, потом… Только бы на шоссе!

И лишь когда он увидел шоссе, машины, он остановился, обождал Надю. Но она, поравнявшись, не остановилась, прошла вперед. Теперь уже она бежала, точно стараясь как можно скорее добраться до места, где можно разойтись. Казик что-то говорил вслед ей, догнал, начал шутить. Но теперь ему не удавалось удержать взглядом ее глаза: вскинет их на миг, пристальные и одновременно какие-то застекленевшие, и тут же отведет в сторону.

Уже тогда это возмутило его. Какое всем дело до того, как он поступает? Он не идет и не пойдет к немцам, и это отлично знают,

остальное никого не касается. Что за дурацкий контроль за всяким шагом, поступком человека? Кто они такие, чтобы давать оценку его поведению? Привыкли своими примитивными мерками людей измерять. И та, аптекарка, все кислится, это она настраивает всех. Еще не известно, кто каким покажет себя.

С того дня с Надей все расстроилось. Разговаривает с ним она всегда с издевкой, не скрывая своего пренебрежения. Теперь в ее присутствии он уже не чувствует себя ни ярким, ни интересным. И он уже почти ненавидит эту капризную бабенку. Злость на нее, на всех, кто заранее не прощает ему проступков, которые он не совершил еще и, конечно, не совершит, поднималась в нем. Неприязнь росла и к Павлу, хотя он, кажется, не с ними. Но Казик чувствовал, что этот может стать его самым опасным, самым прямолинейным недругом, если усомнится в нем, в Казике. Это неясное для него самого опасение даже в снах присутствует, и там оно определеннее, а неприязнь к Павлу острее. Его преследует один и тот же сон. Будто они вдвоем где-то высоко-высоко. Ступни ног едва помещаются на маленьком скользком пятачке скалы, а кругом пропасть, доверху налитая холодным туманом. Все тело напряжено, чтобы не соскользнуть. И пока стоишь одеревенело, пока не скользят ноги к краю – это такое блаженство! Хоть бы и век стоять вот так, не шевелясь, ничего не желая, только бы не скользить, не сорваться, не падать вниз. Но рядом еще кто-то (смутно чувствовалось, что это Павел), он без конца вертится: то повернется боком, то присядет и вниз посмотрит. Вот-вот столкнет! И все спрашивает: про Повидайку, про Шмауса…

Мама не только жалела Виктора, она словно ждала нового удара. Лицо всегда серое; утром, не завтракая, уходит на работу, и лучше не заговаривать с нею.

И правда, беда не ходит одна. Схватили ветеринара Кричевца. Мама стала как тень. Из Больших Дорог, где жандармерия, передали: "Пусть не беспокоится, хотя спрашивают и про нее, но я все отрицаю. Выдал Захарка".

Иначе он и не мог поступить: Толя верил в замкнутое с тонкими женскими бровями лицо Кричевца. А Захарка снова всплыл.

Приходила сухая, похожая на бабушкину икону, мамаша Леоноры приглашать "мадам Корзунову" на свадьбу. Видно было, что она искренне просит "не обидеть": очень ей хочется, чтобы у дочери на свадьбе побольше было обыкновенных гостей, чтобы все было обыкновенно, хотя жених – полицейский. Мама обещала прийти. Оказывается, Надю тоже звали. Она прибежала посоветоваться. Мама сказала:

– Сходим, Надюша. Говорят, бросишь за собой – найдешь перед собой.

Это теперь любимая фраза мамы.

Под вечер Надя явилась шумная, глаза блестят.

– Какая ты! – одобрила мама ее зеленое платье, когда Надя сбросила пальто.

– Это ничего, что я так вырядилась? Что нам прибедняться перед ними, правда?

Интересно у этих женщин, подумал Толя, надела хорошее платье и сама стала какой-то новой. И стройная, как девочка, и глаза другие – как бы чуть-чуть застенчивые, что для Нади совсем необычно.

– Ужинайте, – сказала мать и увела Надю в спальню. Слышно, как там открывают шкаф, сладкий запах нафталина перебивает даже аромат тертого конопляного семени, в которое все макают горячую картошку. А за стеной самый что ни есть женский разговор:

– Поотносила в деревню все свои тряпки. А это пожалела. В нем я была, когда Ваня уходил, сын тогда приехал. Кажется, сто лет уже с того дня.

– Наденьте, Анна Михайловна, ну я прошу вас.

– Выдумщица ты, Надя. Оно же не для зимы. Да и широкое теперь будет.

Потом послышалось восторженное Надино причмокивание:

– Вот бы вам в нем!

– Ну что мне? Это ты уже старайся невесту затмить.

– Почему Виктор считал ее красивой? Ломака, и все.

– Ах, вот что! Некому вас будет сегодня сравнивать, Наденька.

– Не надо так, Анна Михайловна. Я все же иду, будто он там и она там. Нет, не то. Просто хочу этим обалдуям сделать перед носом вот так.

– Не пересоли только.

– Не бойтесь. И потом… (Надин голос растерся в шепот).

– Ну, туда это не обязательно.

– А для меня это как на самый большой праздник. И хорошо, что я так оделась. Думаете, отчего мне и весело так сегодня? Не от их же свадьбы. А не опоздаем потом?..

– Надо не опоздать. А что молодым в подарок отнести? Самовар понесешь ты, а я вот этот материал. Самое лучшее, что осталось. Будем, Наденька, политику делать по-нашему, по-бабьи.

– Потехи там будет!

– Ты смотри у меня, не забывай, что я начальство.

Надя в ответ звучно чмокнула свое "начальство" и выскочила в столовую.

– Какая мама ваша сегодня! Идемте покажу.

Все гурьбой ввалились в спальню.

– С ума ты сошла, – встретила мама ее выходку, по неудовольствие на ее лице борется с каким-то стыдливо-радостным, несмелым румянцем. Надя хлопочет около маминых медово-светлых, по-прежнему густых волос.

– Ну что за смотрины? Идите за стол, – говорит мама.

Но никто не уходит. Бабушка с любопытством смотрит из столовой.

– Доброе платье, – соглашается и она.

– Ой, бабушка! – закричала Надя под общий смех. – А разве невестка ваша – нет?

– Чаму ж не? – торопливо поправляется бабушка, но на лице ее написано: "Моему сыну и не такая подошла бы".

И сразу тень легла на лицо мамы, складка над бровями глубже прорезалась. Уже без всякого интереса она заглянула в зеркальную половину шкафа.

– Идите, я переоденусь.

Встречала гостей мать Леоноры. В кухне жарко от ламп, от немецких плошек и все же темно – так тут накурено. Анну Михайловну и Надю мать молодой приняла особенно предупредительно. Анна Михайловна была спокойно-вежлива, Надя выжидательно и неопределенно улыбалась. В двух передних комнатах толкутся жены полицаев. Лица торжественные, говорят шепотом, как в доме, где есть покойник. Из комнаты, где стоят столы, вышел Хвойницкий. Поцеловал руку у Анны Михайловны. Остальных не заметил.

– Моя там, с молодой. Я проведу вас к ним.

Хвойницкая, занявшая полдивана, сидит под фикусом с темными листьями, странно похожими на развешанные зачем-то галоши. Энергично обмахивается платочком и радостно жалуется невесте:

– Я никогда такой не была, милочка, не могу дышать!

Легкий белый наряд идет Леоноре, даже уродливая высокая прическа не мешает ей быть красивой. Но глаза заплаканные, недобрые. Она выходит за начальника полиции – коротышку с резким голосом, чтобы не ехать в Германию. Знает, что ее еще более невзлюбят. (И старая Вечериха и Леонора уверены, что все завидуют их умению жить "чисто", "культурно" и потому не любят их.) Но в

конце концов Зотов все же получше тех молокососов, что остались в поселке. Можно было бы заключить с кем-либо из них фиктивный брак – некоторые спасаются так от вербовки. Но теперь уже поздно, а раньше ее оскорбляла даже мысль, что кто-то из этих сопляков будет играть роль ее мужа, хотя бы и не настоящего. Еще хорошо и то, что не Фомка какой-нибудь принудил выйти за себя.

Были когда-то совсем другие надежды, ничем не похожие на случившееся. Но разве мало переменилось? Сама та жизнь, которая учила ее чему-то другому, так много обещала, не устояла, отступила.

Леонора проплакала не одну ночь, она даже пугала свою мамашу лесом. Она знала, что никуда не уйдет, но и за это почему-то злилась на нее же, на свою мать.

Гостей Леонора отказалась встречать. Все равно они или завидуют ей, или ненавидят. "Что нужно этой объевшейся корове?" – думает она, глядя на Хвойницкую.

– Физкультурой займитесь, – вырывается у нее откровенно злое.

– Физкульту-урой? – оскорбилась тяжелая, как печка, Хвойницкая. – Это вас, комсомолок, научили разным гадостям.

Но тут же, сообразив, что негоже так разговаривать с женой начальника полиции, изменила тон:

– Это вам, молодым, а мы так.

Надя с грубоватым любопытством рассматривала молодую, ее наряд. Леонора глухо ответила на поздравления, поджала губы и поднялась со стула. В дверях стоял Коваленок. Звонким голосом спросил:

– Молодую уже целовали?

И, разгладив свои ниточки-усики, сочно поцеловал. Леонора лениво отстранилась, поправила фату.

– Оставьте свои полицейские галантности.

– Некультурный ты, Разванюша.

Это произносит, и вполне серьезно, Ещик. Он давно уже трется около столов, не в силах совладать со своим бесформенным носом, который, как стрелка компаса к магниту, все время повернут к бутылкам.

– Это тебе не с кацапками твоими, там ты все руками. Комендант говорил, что у нас в фатерланде…

– О, там у нас все культурно! – подхватил Разванюша. – Я знал одного камрада, так он, прежде чем прирезать пацана какого, всегда нож нюхал: не пахнет ли селедкой.

– Это ты про что? – повернулся Хвойницкий.

– Учу, господин бургомистр, Ещика нашего селедкой закусывать. Начинать бы, господин бургомистр, а то Ещик от слюны опьянеет.

Уныло длиннолицый Хвойницкий смотрит на Коваленка с одобрением: горит все на парне, столкни, говорят, такого в прорубь – выскочит с ершом в зубах. Он и пану коменданту по душе, не зря комендант доверяет ему брить себя каждое утро.

Любуется Разванюшей и Надя: вошел он, и как-то посвежело в комнатах, словно впустили с улицы морозец. Коваленок заглянул в смеющиеся Надины глаза, слегка подмигнул, как бы одними зрачками, и вот голос его уже в кухне. От нечего делать Надя и Анна Михайловна пошли следом.

Дверь в сени почти не закрывается. Вошли Жигоцкие. Старуха сразу полезла целоваться к Вечерихе.

– Мы так рады за нашу Леонору! А где хотя наш молодой, наш Петенька?

Похоже, что старуха по-соседски набивается к зятю Вечерихи в родные тетки. Согнутая, будто под тяжестью собственной широкой, как дверь, спины, Жигоцкая ласково тянулась губами, узеньким носом, всеми морщинами широкого желтого лица к теще начальника полиции. В эту минуту она удивительно походила на тяжелую черепаху, которая жалко вытягивает голову вперед, как бы не в силах сдвинуть с места свой панцирь.

– Петр Кузьмич пошел пана коменданта приглашать. Раздевайтесь, пани Жигоцкая.

Сказано это было не очень тепло: Вечериха, кажется, не расположена делиться с соседями своим влиятельным зятем. Но Жигоцкая будто и не замечает этого.

– Мы так рады…

Старик Жигоцкий, как вошел, сразу заговорил про то, какой мороз был тридцать лет назад. А Казик, едва сняв с головы шапку, взялся скоблить голову и продувать на свет расческу. Надя сегодня усмехается всем, но Казик принял это на свой счет и, обрадованный, подошел к ней. Полунамеками стал издеваться над "полицейским балом".

В кухню, уже забитую шинелями, полушубками, пальто, ввалилось еще несколько человек.

– Часовых через час менять. Начальник приказал.

Это Пуговицын командует от чужого имени. Он в кожанке, летный шлем плотно облегает его голову: ни дать ни взять – футбольный мяч. Немигающими дырочками глаз он оглядел всех и ни

с кем не поздоровался. Казик невольно поежился от этого взгляда. Темные, точно в маске прорезанные, дырочки угрожали: "Хотя ты мне сейчас не интересен, но я о тебе не забыл, знай это". Рядом с Пуговицыным стоит с ушанкой в руке и как-то чудно, торопливо улыбается (есть такие, что улыбаются как бы "скороговоркой") лысоватый человек в белом полушубке. Анна Михайловна увидела его, и брови у нее напряженно сошлись, а человек еще поспешнее заулыбался, и теперь именно ей.

– Вы не знакомы, Анна Михайловна? – с неожиданной услужливостью представил его Пуговицын. – Мой швагер. От бандитов чуть ноги унес. Пришли, а он говорит: с женой прощусь. Да в другую комнату, да в раму головой. Стреляли по нему. Давно я ему говорил. Думал, отсидится от них.

– Мы с Анной Михайловной коллеги, – сказал лысоватый человек, ослепляя женщину коротенькими улыбками. Брови у него так и носятся вверх, вниз.

– С Захаркой мы давно знакомы, – подтвердила женщина и как бы объяснила этим свою невнимательность: она тут же отвернулась к Хвойницкому, не заметив протянутой руки Захарки.

– Парочку ламп можно задуть! – весело закричал Разванюша, когда Пуговицын обнажил бритую, очень круглую, отливающую глянцем голову. – Глядите, как подмолодил я нашего Пуговицына, – жених, и все.

Пуговицын не сдержал довольной улыбки:

– За мной не пропадет, сказал – поставлю чемергесу.

Молодого все не было. Полицаи толкались по комнатам, жадно оценивая снедь, выставленную на столах. По военному времени она богатейшая. А питво – запотевшие бутылки самогона, заткнутые тряпицами или просто сеном, и лишь там, где будет сидеть комендант, – вино. Лампы со всей улицы собраны, и видно, что на бензине: хотя и соли понасыпано, все время вспыхивают.

И вот все засуетились, зашептались. Вначале в спальню пронесли – и очень торжественно – шинель и офицерскую фуражку, потом в комнату вступил высокий немец, у которого все удивительно узкое: плечи, голова, носок сапога. На голове белая, будто марлевая, и тоже узкая полоса лысины. Это комендант. За ним еще несколько немцев. Из-за спины коменданта, словно игрушечный, выскочил жених. Поправляя в кармане кителя бумажный цветок, подвел коменданта к молодой. Под восторженное полицейское "ах!" у невесты была поцелована рука. В горячке коменданта усадили на место жениха. "Узкий" немец что-то сказал Шумахеру.

– Пап комендант вдовец и не собирается снова иметь семейное счастье, – перевел Шумахер без тени улыбки на лице.

Полицаи дружно, но в меру хохотнули. Комендант опустился на стул. Вечериха рядом с ним посадила Надю и "мадам Корзунову" – это "чтобы пану коменданту культурнее было". Вначале трудились в полной тишине, полицаи и их жены слушали торжественные тосты с набитыми до отказа ртами. Скоро все осмелели, стало так шумно, что только Разванюшино "горько" и можно было расслышать.

Комендант пьянел. А Надя совсем обнаглела: пристала, чтобы он объяснил ей слово "блицкриг". Анна Михайловна решила вмешаться. Она предложила коменданту выпить за его детей. Соседи вынуждены были состроить умильные рожи. Комендант, вдруг как бы протрезвевший, достал блокнот и показал фото двух девочек. Анна Михайловна посочувствовала детям, у которых нет матери. И все это говорилось так просто, по-женски, без тени заискивания, что комендант сначала удивился, а потом поднялся и предложил выпить "за умную и культурную женщину справа". Шумахер перевел как-то особенно охотно. Бургомистр просто-таки прослезился, полез целовать ручку у "мадам Корзун".

– Я им всегда говорил, мадам Корзун, я знаю, такая семья с… это… бандитами не будет знаться… Если бы муж ваш… это… вернулся, я бы и за него…

Через стол потянулся чокнуться и Шумахер, смущенный и радостный. Воротник у него совсем на голову наползает.

Комендант вдруг уставился на старуху Жигоцкую.

– Партизан! – показывает пальцем комендант.

– Уйдите, – приказал бургомистр, – пану коменданту некультурно от вас.

И Казику:

– И ты тоже. Кто их сюда посадил?

А Надя опять завладела комендантом, она уже поила его самогоном, немец удивленно смотрел в стакан, кривился; но пил. Марлево-белая лысина мертвит узкое лицо коменданта. Он что-то выкрикивает, но Шумахер уже стесняется переводить. Надя вдруг начала что-то втолковывать коменданту. Тот словно сам из себя вывинтился: угрожающе навис над столом. Пьяные голоса приутихли. Шумахер перевел:

– Пан комендант говорит, чтобы все выпили за здоровье отца его соседки. Как?

– Бориса Николаевича, – подсказала Надя.

"Она – Александровна, почему Бориса?" – мелькнуло в голове у Анны Михайловны, а когда поняла, строго поглядела на Надю, а Надя озорно блеснула ей очами и поднялась, приготовившись чокаться. Над столами уже властвовал голос Разванюши:

– За Бориса Николаевича, слышали, что сказано вам!

Полицаи гурьбой повалили к Наде, а она уже взобралась на стул и, кажется, вот-вот пройдет по столу, швыряя грязные тарелки им в лица.

Весело было ей сверху глядеть на полицейскую и немецкую свору, пьющую за здоровье партизанского командира, которого она сегодня увидит. И особенно хорошо, что и Анну Михайловну захватило ее мстительное озорство: она улыбается Наде и глазами показывает на часы.

Скоро идти, а комендант, как назло, опять начал трезветь. Пришлось Наде заняться им. Когда немцы и молодой увели коменданта, в доме началось такое, что в самый раз было незаметно ускользнуть. С трудом оделись. Казик помогал Наде. Но тут подоспел Разванюша, сказал ему "спасибо" и увел Надю следом за Анной Михайловной.

Чистый, морозный воздух сладостью налипает в горле. Анна Михайловна и Надя свернули в темную улочку, отставший было Коваленок догнал их. Снег аж кричит, свистит у него под сапогами, полушубок тонко перетянут в поясе. Схватил Надю в охапку и поцеловал. Она пьяно припала к нему и тотчас со смехом оттолкнула:

– Анна Михайловна смотрит.

Пока шли по обычной дороге к дому, смеялись, разговаривали как можно громче.

– Хальт! – глухо окликнули их из бункера.

– Коваленок! – звонко и немного хвастаясь перед женщинами, отозвался Разванюша. Но его голос на самом деле признали.

– О, Ванья, гут, гут…

Потом молча пошли к лесу.

Толя проснулся и, хотя почувствовал руку на лице, не испугался. Эту руку он узнавал и во сне. В детстве он всегда спал, крепко обхватив ее, а когда отец подсовывал свою, чтобы дать маме отдохнуть, просыпался и протестовал плачем:

– А-а, большая, не мамина!

Толя беззвучно, чтобы не услышал брат, поцеловал пахнущую хвоей и талой водой ладонь. Она чуть-чуть задрожала у него на губах.

– Спите, детки, скоро утро.

– Мама…

– Что тебе?

– Ты сегодня видела их?

– Спите, детки, потом.

А утром мама подозвала Толю к окну, показала:

– Видишь – женщина, вот, что под деревом. В белом платке.

– Вижу, вижу.

– Это жена Кричевца. Тебе удобней, чем кому. Подойди, будто случайно. Она ожидает. Скажи, что его убили. Ты понял?

У мамы текли слезы.

– Скажи, повесили.

Женщина стояла лицом к шоссе, прижимая к дереву пустую корзинку. Думая лишь о том, что вот он, связной, несет человеку важную новость, Толя подошел к женщине, как убийца, сзади и обрушил на нее:

– Передали, что Кричевца повесили...

И сразу Толя утонул в испуганных женских глазах. Беспомощно барахтаясь в них, он пояснял шепотом:

– Из Больших Дорог сообщили. Это точно.

Женщина медленно пошла в сторону завода.

– Сказал? – спросили его дома.

– Да, – отозвался Толя. Но у него было такое чувство, будто он сделал что-то нехорошее. "Это точно" – ух, дурак набитый! Правду мама говорит, будто игра все это для него. А у женщины какие страшные глаза сделались...

Поселок из окна комендатуры

В поселок привозили и бесплатно раздавали газетки на белорусском языке, в котором, однако, многие слова наспех перелицованы по образцу немецких. Танк, например, именуется: "баявы панцырны ваз". Хозяева ("спадары") газеток утверждали, что это именно тот язык, на котором мыслят настоящие ("щирые") белорусы. Белорусы весело удивлялись.

В газетках много всяких слов о довоенной жизни. Вначале обругивались и революция и Ленин, но потом писаки, будто поняв, что такое "не срабатывает", занялись больше рисованием человека с усами, да еще колхозами.

Из номера в номер какой-то "Дед-всевед" упражнялся насчет "бандитов", баял про земельную реформу, "общины", про райскую жизнь в Германии и в плену, про доброту фюрера. Особенно убедительными были рисунки и надписи о раздолье плена и о

душевности Адольфа Гитлера. Фотография: фюрер осторожно переступает неловкого утенка. И надпись очень трогательная: "Фюреру можно доверить свою жизнь".

Еще фотография: чистые, лазаретного типа комнаты, под белыми простынями отдыхают военнопленные. Но пленным, оказывается, приходится иногда и потрудиться, это подтверждается снимком: человек в солдатском обмундировании ходит с лопатой вокруг цветочных клумб и криво как-то улыбается (видимо, ему неловко только и делать, что спать, есть да с цветочками возиться). Вот и соответствующая надпись: "После сытного обеда и сна хорошо и потрудиться. Через труд к свободе!"

По-другому рассказывают газетки про "бандитов". Встают они поздно, злые с похмелья, лохматые, вшивые. С помощью крепких ругательств сговариваются, какую деревню ограбить. Через полчаса в ближайшем селе – это село неразумно отказывается сдавать молоко и мясо "законным немецким властям" – визг, стрельба. Но вот на дороге появляются грозные "баявыя панцырныя вазы", "бандиты" бегут, бросая награбленное. Немецкий офицер берет на руки ребенка и грозит им вслед.

Даже непонятно, для кого все это пишется. Нет, кажется, есть люди, которые на происходящее смотрят именно так. Тот же Хвойницкий. Он вполне убежден, что вместе с немцами борется за высшую западную культуру против варварства, насаждаемого большевиками. О, культура – слабость бургомистра! В волостной управе стоит большой кованый сундук. И не с чем-нибудь, а с книгами. Книги сельсоветские, их каким-то чудом не сожгли, хотя из библиотечных и школьных Порфирка устроил костер.

Переступит волостной порог баба и застынет, пораженная: как замурованный, сидит бургомистр за столом, обложенный стопками книг, только макушка и уши торчат, а за ушами темные оглобельки очков. На корешках книг есть и "большевистские" названия: "Тихий Дон", "Разгром", "Янка Купала", но этого бургомистр еще не разглядел (он подбирал книги по толщине и по цвету). Баба терпеливо ждет.

– Ну, это, чего надо? – доносится наконец из-за книжной стены. – Если про налог – выметайся.

– Раз сдали, а то и еще раз. Где ж тут наберешься?

– А для бандитов есть? Для партизан, это, находишь? Для своих бандитов, говорю.

– Где мне, бабе дурной, разобраться, которые бандиты, которые не.

– Оружия много?

– У кого?

– Закогокала. У бандитов, спрашивают тебя. Какое оружие?

– А дуже я разумею. Все больше талерки.

– Большие? Ну, тарелки, это, твои, большие или маленькие?

– А почему маленькие? – обижается баба. – Вот такие большие.

– Что это тебе – решето? Таких не бывает. Пулеметы, значит.

– Пулеметы, батюхна[10], и я говорю, что пулеметы.

– Все вы бандиты, – гундосит бургомистр, – убирайся. Скоро в гости приедем, научим вас, это. Ты что там бормочешь?

Хвойницкий знал, что он и минуты бы не протянул, съешь он то, чего ему такая вот баба нажелает. Он и полицейским своим не верил. Все они, если даже и не снюхались с партизанами, готовы сжить со света его, Хвойницкого. Такой вот Пуговицын слопает и не моргнет. Щука, зубастая щука! Может быть, поэтому Хвойницкий способен ценить и даже защищать тех немногих из людей, в ком он уверен, особенно если это "тоже культурные люди", которым мешали жить. Например, мадам Корзун. Ей несладко доводилось, хотя и докторша. А как раскулаченные любят Советы – это он по себе знает. Ей можно доверять. И ее нельзя не уважать: она никогда ни о чем не просит, разговаривает просто, без всякой хитрости и без скрытой враждебности, которую он, Хвойницкий, ох как умеет угадывать. Вот почему, когда схватили ветеринара Кричевца и хотели заодно прибрать семью докторши, он воспротивился. И это был, пожалуй, единственный случай, когда его мнение совпало с тем, на чем настаивал и Шумахер – этот слюнтяй и заступник всех бандитов. Комендант же своего понятия не имеет, его можно куда угодно повернуть.

Такого мнения о коменданте был бургомистр. А у коменданта было свое суждение о тех, кто окружал его.

Комендант считал себя более опытным и тонким политиком, чем те начальники гарнизонов, которые в страхе перед партизанами так взмутят вокруг себя воду, что сами уже не в состоянии разобраться, где свой, а где действительно враг. Таких-то и подрывают в их собственной спальне, и как раз те, кому они особенно доверяют.

Вода должна быть прозрачной – это его правило, немецкий комендант должен видеть жизнь местного населения, как в аквариуме – со всех сторон и насквозь. Вслепую действуют только эти тупицы эсэсовцы, которые умение подменяют старательностью и трусливой жестокостью, опасно озлобляющей местное население.

---

[10] Батюшка *(бел.)*.

Эти выскочки-эсэсовцы, считал комендант, не хотят знать, что история началась не с них, что они лишь продолжают начатое без них и до них. Они не хотят знать про опыт истории и полагаются лишь на силу и свою преданность фюреру. И в большом и в малом они действуют только силой и жестокостью. Да, он сам – всего лишь начальник гарнизона в каком-то селении. Его оттерли. Но на любом посту он обязан исправлять то, что портят они, – это его долг перед Германией. Нужно так поставить дело, чтобы русских (здесь они почему-то называют себя "бело-русскими") постепенно становилось все меньше, но при этом нельзя разгонять их по лесам. Надо так осуществлять политику очищения территорий от "неполноценных", чтобы живые оставались на месте. Даже мирные коровы, почуяв кровь своей сестры, могут взбеситься, сделаться опасными. А тут люди – и скольких уже загнали в партизаны. Теперь попробуй достань их! Нет, их следует извлекать по одному: тысячи, десятки тысяч, но всех по одному, чтобы у оставшихся сохранялась вера в то, что карают только за вину, надо, чтобы общую для всех их опасность они осознали лишь тогда, когда уже поздно будет, когда Германия выиграет войну и все можно будет делать по окончательному большому плану. Как выразился близкий к фюреру руководитель: потом можете котлет наделать из этих украинцев и белорусов.

Комендант способен был ценить нужных ему людей за те качества, которыми они могли быть наиболее полезны. Он не требовал фанатизма от Шумахера, хотя он и немец, не заставлял его делать грязную работу: бить, расстреливать. У него имелись люди, которые только это и умели делать, – бургомистр, Пуговицын... Переводчик Шумахер незаменим в другом: он немец, неглуп и знает местные условия, он не имеет здесь личных врагов и потому не преувеличивает опасность, не видит в каждом жителе партизана. Когда он рядом, как-то спокойнее и, главное, можно здраво разбираться в степени влияния партизан, оценивать обстановку. О Шумахере имеется и другое суждение, но им приходится пока пренебречь. Шумахер слишком долго жил среди этих советских и не избежал, к сожалению, их влияния. У коменданта имеется специальная инструкция, где о таких "разложившихся" немцах сказано, что они, даже не являясь коммунистами, имеют совершенно неправильное представление о взаимоотношениях внутри рейха, а также о национал-социалистских лидерах. Им непонятно чувство дискриминации.

Ненавидящий всех и везде подозревающий бандитов бургомистр, с одной стороны, и переводчик Шумахер – с другой, помогают коменданту (так ему кажется) ориентироваться, находить

нужную середину. И комендант уверен, что он не плывет по течению, а делает небольшую, но свою активную политику.

И лишь когда и бургомистр и переводчик в один голос принялись защищать женщину-аптекаря, которую в профилактических целях следовало послать в концлагерь, комендант усомнился в точности своих ориентиров. Никогда такого не случалось, чтобы эти двое о ком-либо говорили одинаково. А тут на тебе: почти головой ручаются! Что там за женщина такая? Комендант согласился, что пока можно и не трогать эту семью. Отпустив бургомистра и переводчика, он позвал к себе Пуговицына, которого давно выделял среди полицейских. Его всегда поражали глаза этого человека. Как мог, мешая русские и польские слова, объяснил ему: следить за аптекой, за семьей Корзунов. Круглые дырочки-глазки смотрели на коменданта с такой жабьей, почти завораживающей внимательностью, что хотелось встряхнуть головой, чтобы *отклеиться* от этого взгляда. Круглая голова полицая, вынесенная вперед на длинной птичьей шее, поворачивалась туда, где находился расхаживающий по комнате комендант. "Ну, этот не выпустит!" – подумал немец.

Комендант не знал, что женщина, которая чем-то понравилась ему на свадьбе у начальника полиции, когда заговорила о его детях, – и есть та самая Корзун.

Семейное событие

Двое суток в доме творится что-то необычное. В зале надрывается, кричит кто-то чужой, ничем не похожий на тихую, стеснительную Маню, а все домашние ходят с лицами, на которых не разберешь, чего больше: сочувствия или удовольствия. У мамы на глазах слезы, а на губах нет-нет да и проскользнет улыбка. Толю гоняют то за Владиком, то за водой. Вернулся, а тут уже полный дом улыбок. И нет того страшного крика. Почти торжественно мама разрешила всем войти. Толя втиснулся последним и прежде всего увидел белое-белое лицо на подушке, от этой белизны подушка кажется желтой. Рот не то радостно, не то обиженно кривится.

Алексей уже повис над чем-то там, причмокивает. За ним лезет и Нинка со стеснительностью барышни, но от детского любопытства у нее даже язык на губах. Павел гладит руку Мани. Из кухни выглядывает бабушка: ей и тут некогда.

Мама, перекладывая кугукающий сверток с руки на руку, сказала:

– Посмотрите, ну разве плохие мы, некрасивые? Не бойтесь, на вечеринках у порога не будем стоять.

Все засмеялись. Оказывается, Маня, когда увидела девочку, заплакала обиженно, точно ей подменили:

– Некрасивая какая!

Толя поглядел на сморщенное красное личико, на широкий, ловящий воздух рот и в душе согласился с Маней.

Но это, конечно, не его дело.

Вечером пили за здоровье нового члена семьи, подбирали имя, которое через полтора десятка лет для кого-нибудь, возможно, будет самым красивым.

Я так и знала

– Мы сделаем у вас обыск.

Толя и Павел в спальне. Как гром звучал для них чужой голос, а Павел все еще держал в руках пачку листовок. Скулы у него забелели, будто обмороженные. Толя быстро приподнял одеяло. Павел сунул туда листовки – это все, что они сообразили сделать...

Среди зала Пуговицын, за ним, заткнув собой дверь из кухни, бесстрастный немец с винтовкой на плече. Не глядя на Алексея, который стоит у окна, на Маню, застывшую над детской кроваткой, на Казика, который сидит на диване, Толя как-то видит их сразу всех и себя среди них – бледных, оцепеневших. Глядит Толя на одну маму: она спасет, она не может не спасти! Лицо у матери серьезное, а глаза чуть удивленные, она стоит против Пуговицына, не то заслоняя что-то, не то удивленно приглашая: "Пожалуйста, хотя и странно, что вам именно нас захотелось обыскивать".

– Мы информированы, что в вашем доме есть оружие и листовки.

Пуговицын говорит медленно, явно наслаждаясь общим оцепенением.

– А вы, товарищ Жигоцкий, – слово "товарищ" он произносит с растяжкой, – что здесь делаете?

Казик вскочил так, что гитара гулко стукнулась о стол, и выбежал.

– Вот так, – растягивает слова Пуговицын, – значит, ваш товарищ по работе сообщил нам, что ваш шурин собирается в банду. Я должен сделать у вас, мадам Корзун, обыск, осмотреть дом.

Заговорила мама. Она заговорила почти спокойно. Единственное, что очень огорчает и удивляет ее – это людская несправедливость:

– Конечно, есть люди, которым завидно, что мы такой семьей не пухнем с голоду, – вот и топят нас. Разве могу я вам что-либо доказать? Был бы Иван Иосифович, может быть, постеснялись бы так, он всем столько делал.

Голос матери точно обволакивает того, перед кем она стоит, мешает ему приступить к делу, ради которого он явился:

– Вы человек подчиненный, господин Пуговицын. – При этих словах полицай протестующе откинул голову, а мама продолжала: – Я не могу на вас быть в обиде. Но все это так незаслуженно…

Пуговицын словно вырвался из-под связывающих, виснущих на нем слов, сделал шаг в сторону и оказался лицом к фотографиям. Нога его – рядом с бельевой корзиной, куда Павел вчера положил две гранаты.

– Где сейчас доктор, ваш муж? Не думает он, что все вот так.

Мать вдруг упала локтями на стол и зарыдала. Это уже не страх, не хитрость, а только обида, горькая обида на жизнь, которая так беспощадна.

– Мама, не надо, ну, – хочет оторвать мамино лицо от стола Алексей, а она больно сжимает лицо руками и рыдает страшно, рыдает вся.

Улыбка проступила на лице Пуговицына, крепко стянутом летным шлемом. Так проступает болотная вода под тяжестью ноги. И так улыбается человек – из глубины, мечтательно, – слушая музыку. Плач женщины – о, в этом Пуговицын знаток! И он умеет растянуть удовольствие.

Полицай ходил по комнате, ни к чему не прикасаясь.

Перед ним, Пуговицыным, плачет жена доктора Корзуна – это не каждый день бывает. "Ну, как тебе нравится такое, товарищ Корзун? Смотришь с портрета и улыбаешься. Улыбайся, улыбайся – заплачешь! Ты грозился Захарку под суд отдать: привязался, что не так чье-то дите померло у Захарки. Завидовал, что он фельдшер, а лучше тебя, доктора, жить умел. То-то ж! А я вот, что захочу, сделаю с твоими".

Но Пуговицын колебался.

Из-за этой семьи он наживет себе опасных врагов. Он может много неприятностей причинить Шумахеру и бургомистру, которые, он знает, ручались за эту семью. Но он их не свалит этим. А они, если объединятся, сделают с ним, что пожелают.

Но Пуговицыну надо было оставаться хозяином положения, хозяином своих решений.

– Тяжело вам, мадам Корзун, без поддержки, – заговорил он. – Был бы ваш муж, его тут уважали. Не будь такого доктора, и я не стоял бы перед вами сейчас. – Пуговицын, кажется, уверен, что его тут счастливы видеть. – Я тут решаю. Сказал – что подписал! Я не буду наносить такого оскорбления семье доктора. Пока я верю вам – будьте спокойны. Только нужно знакомых выбирать лучше.

Нерешительно и с некоторым сожалением Пуговицын повернулся уходить.

– Вы не куркули, вот за что вас уважаю. А то лезут... Ах, раскулачили, ах, мы ученые, образованные!

Наткнулся на истукана-немца в дверях и, точно очнувшись, со злостью сказал:

– Если еще одно заявление, не спасут вас никакие защитники.

Ох, как охотно он возвратился бы и перевернул тут все вверх дном. А женщина, идя за ним до самого порога, говорила и говорила, не давая ему передумать:

– Как же так, господин Пуговицын? Не могу же я запретить кому-то не любить нас. Если кто решил ни за что погубить, он и дальше будет это делать.

Ну и мама, она уже на будущее страхуется!

– Друзей выбирайте, вот что вам скажу. Куркули – они всегда куркули, – непонятно отозвался Пуговицын уже в сенях. Будто мяч пронесли – проплыла в окне его круглая в летном шлеме голова, потом – голова немца в наушниках.

– Сейчас же в печку, – распорядилась мама.

Бабушка удивлена: прямо на сковородку нашвыряли каких-то бумажек и ворошат их кочергой.

А если впрямь вернутся? Почему Павел ничего не делает с гранатами? Толя показал глазами на корзину.

– Ночью отнес, – прошептал Павел.

– Сгорело? – спросила мама, опускаясь на стул. Пот сразу облил ее виски, даже шею.

– Тебе плохо, Аня? – виновато спросил Павел.

– Боже, боже, как я только выдержала!

– А ты, мама, правда, артистка! – восхищается Толя. – Какая у него голова круглая была, когда уходил.

– Какая голова? – не поняла мать. Обессилевшая от пережитого ужаса, в отчаянии от того, что могло случиться и что еще может случиться, мать заговорила:

– Ну вот, видели, как легко можно пропасть? И надо было тебе, Павел, приносить их в дом. Сколько раз я говорила, так вы все злитесь. Видите как.

– А что это за товарищ по работе? И куркули какие-то? – вслух подумал Алексей.

Перебирали всех, даже Разванюшу. В словах Пуговицына искали иносказания, намека. Не мог же он так просто и брякнуть: "товарищ по работе", имея в виду кого-то из работающих на шоссе.

– Казик тоже работает с вами, – говорит Маня. Но это она говорит назло Павлу, в отместку за пережитый страх. В такое и мама не может поверить. И все же, на кого он намекал?

Забыв про завтрак, пошли на работу.

Казик уже сбрасывает в канаву снег красивыми широкими взмахами. Воткнул лопату, но тут же взял ее и пошел навстречу. Чем ближе подходил, тем больше радости было на его лице.

– Все благополучно?

– Кто-то донес, – ответил Павел. – Не я буду, если не дознаюсь. Пол-литра этому Пуговицыну, выпьет – все скажет.

Казик – очень как-то безразлично – отозвался:

– Может и не сказать или скажет, но не на того.

"Почему он так говорит?" – невольно подумал Толя, не придавая, однако, большого значения ни сказанному, ни своему недоумению.

– Я не говорил дедам. – Казик кивнул в сторону Голуба и Повидайки.

Все выяснилось неожиданно скоро. Пришли на обед. На пороге встретила мама:

– Говорила я тебе, Павел, а вам казалось: дурная баба. Вот вам Жигоцкие, учитель и все. Я так и знала...

– Ага, вот почему он говорил, что на другого Пуговицын может сказать! – Но никто не понял Толиного восклицания.

– Остановила меня хозяйка Шумахера и говорит: "Остерегайтесь сына Жигоцких, он нечестный человек". И Коваленок передал, что утром приходила в полицию старуха.

– Она от него, – первый высказал Павел то, о чем подумали все. – Сидел на диване и уже знал.

– Поцелуйся иди с ним, – шипит плачущая Маня, – лучший друг тебе, дурню, был.

И правда, нашел с кем откровенничать! Толя поглядел на Павла почти неприязненно. И не узнал Павла: кожа на лице как бы огрубела, подергивается, а глаза сощурились, жесткие.

После обеда Казика на работе не было. Увидев, что Алексей рад этому, Толя рассердился. Пусть Жигоцкий теперь боится встречи!

Утром Казик пришел, как будто и не произошло ничего. Похвалил морозец. Закурил у дедушки, очень громко и с подробностями рассказал бабушке про то, как вчера в обед отравила его мамаша какой-то тухлятиной.

– А где хлопцы ваши? – спросил с плохо скрываемым страхом в голосе.

Бабушка пояснила, что пилят дрова. Из столовой Казик направился в зал, чтобы еще раз пройти через кухню и убедиться: случайно или не случайно не ответила на его "доброе утро" Анна Михайловна. Лицо у нее какое-то пылающее, красное, но это может быть и от печки. В зале – жена Павла. Наивно-враждебный взгляд ее, испуг и порывистое движение, с каким выхватила она Таню из колыбели, когда Казик захотел почмокать ребенку, – это заставило до конца поверить в страшную догадку. Знают! Глазам стало жарко. Казик схватился за расческу и стал приглаживать волосы, закрываясь локтем от Мани. Он что-то говорил, хотя Маня уже вышла с плачущей девочкой, Казик сел на диван, но он знал, что нужно идти в столовую, где уже слышны голоса хлопцев. Он должен быть таким, как всегда, – в этом спасение. Знают, знают, тот негодяй, конечно, рассказал! А что ему… Сам в грязи и других рад измазать. Но как Корзуны думают, если знают? Конечно, думают, что он, Казик, донес. Наконец он решился выйти в кухню.

– Хочу водички испить, Анна Михайловна.

Женщина не отозвалась и теперь, занятая сковородой.

Желание убедиться, что он все же ошибся, было так неодолимо, что Казик пошел навстречу тому, чего больше всего боялся:

– У того негодяя были подозрения, да?

Резко повернулась к нему женщина, и Казик увидел, что не от печного жара пылает ее лицо.

– Есть хорошие люди, которым наша Танька жить мешает.

Казик не принял вызова.

– Да, всякие есть, а у этих политика такая – людей столкнуть лбами, – забормотал он. Казик видел в дверях хлопцев, он знал, что ни одному слову его не верят, но не говорить он не мог, как тонущий не может не барахтаться. – Вы заметили, он и меня назвал "товарищем". Это не случайно – угроза!

– И нам он говорил про какого-то товарища по работе, – отозвался Павел, упершись взглядом в мечущиеся глаза Казика.

– Иезуиты они – это точно. Хотят поссорить людей. Пойду я, до работы надо помочь бате. Я вас по дороге догоню.

Он почти бежал через поле домой, чтобы увидеть ее, старуху, чтобы сказать, испугать, отомстить…

Не успели Корзуны позавтракать, как Жигоцкий прибежал опять. Казик не мог не быть тут, ему казалось, что, пока он тут, не все еще потеряно. Ему хотелось верить, что он в чем-то сможет их разубедить, если будет таким, как всегда: веселым, шумным, уверенным в себе. Пусть хотя бы внешне все останется по-прежнему: а иначе как же тогда жить?

Цена стакану молока

Началось с мелочи, как начинается в жизни многое очень важное. Старик Жигоцкий неосторожно повернулся около табурета, на котором стоял стакан молока, приготовленного для затирки. Ему влетело от старухи.

– Отстань! – отмахнулся старик. – Зараза!

– Чтоб у тебя мясо отстало.

– Когда этому предел будет! – возмутился Казик.

Попало и ему. Полнясь обидой и злостью, Казик напомнил:

– Кто вам и что вам! Вы сыном готовы были откупиться тогда, за проволокой. Корзуниха своих хлопцев сама услала в лес – это мать. Давитесь вы тут всем, уйду и я с ними!

– На бандюков тех все глядишь? Чую я, откуда это паскудство в мой дом идет. С них все горит. И тебя сманивают. Я знаю, что мне делать, чтобы тебя, дурня, от петли отвести.

– Но, но, – испугался Казик, – не вздумайте чего.

Не будь этих слов, старуха, может быть, и ограничилась бы пустой угрозой. А тут она как бы сообразила что-то: сразу притихла и что-то обдумывает, помешивая в чугунке.

На следующее утро Казик уже и думать забыл о происшедшем (каждый день что-либо подобное в доме бывает) и потому немного удивился, когда старуха пошла доить и вернулась с пустыми руками.

– Что за наслание на меня, доенку забыла, – спохватилась она и вывалилась назад за дверь.

Вернулась с молоком, цедила в кувшины, как бы заслоняясь квадратной вздутой спиной. Когда ставила на стол завтрак, не жалея влила сметаны в растопленное сало. Старик даже крякнул от удивления. Казик тревожно следил за лицом матери: кирпично-

красное, с налитыми мешками под глазами, оно скрывало и не могло, не хотело скрыть какое-то внутреннее торжество.

– Получат свое.

Так и есть.

– Вы ходили?

– Куда? – не понял старик.

– И ходила и сказала. И про то, что сына сманивают, и про Павла твоего.

Казик, дрожа весь, вскочил:

– Папа, слышите? Да вы же погубили и меня!

– Будто я не знаю, как сказать? Сказала, что сын меня послал.

– Ты что это надумалась, ведьма? – разобрался наконец и старик. Первый раз в жизни он толкнул жену. Старуха ударилась об угол шкафа, на миг промелькнули в глазах ее недоумение, страх, но тут же завизжала, обливая всех проклятьями. Старика вынесло за дверь. Казик бросился за ним.

Батька и сын долго стояли возле колодца, заглядывали в его мерзлую, черную пустоту, ругали старуху и испуганно прикидывали: как же дальше, что из этого будет? Ничего так и не решили.

Казик взял деревянную лопату и направился к воротам.

– Прямо на работу? – как бы между прочим спросил старый Жигоцкий.

– Не знаю, – отозвался молодой Жигоцкий, – посмотрю.

К дому Корзунов Казик подходил с пугливой готовностью застать его пустым, разгромленным. Заходить опасно, схватят и его, а выпустят ли – еще не известно. Шел вдоль забора и косился на окна. Нет, не так выглядит дом, где побывали *они.* Вот и Нинка выбежала, выплеснула на огороде помои на чистый снег и – назад.

Казик завернул во двор. Вошел и поздоровался немного сиплым голосом, но, как обычно, весело. Анна Михайловна повернулась от печки.

– Посидите, Казик, хлопцы еще не завтракали. Проспали мы.

– Поспешай медленно, сказал мудрец. Еще расчистим немцам дорогу, пусть только драпают побыстрее.

Чистое лицо Казика улыбается, выражает удовольствие, беззаботность, внимание, интерес. Казик что-то говорит, смеется, щелкает пальцами перед косящими глазенками девочки. Но это все не он. Он – холодное, зябкое, испуганно ожидающее. Сейчас пройдут за окнами через двор, откроют дверь – и тогда… А может быть, все это неправда, никуда она не ходила? Казик подолгу останавливается на этой мысли, она помогает ему заглушать не очень сильное

побуждение: предупредить, сказать. Но сказать – значит и самому взойти на судно, которое несется на скалы и вот-вот разобьется... А может быть, старуха только грозила? Опять и опять, как бы даже нарочно, возвращался Казик к этой успокаивающей мысли.

Но он знал, что придут. Сидел с гитарой на диване и ждал.

А перед его глазами текла жизнь большой семьи. Во всех комнатах разговаривают, стучат, астматически отхаркивается дед. Алексей с улицы таскает воду в бочку. Анна Михайловна что-то втолковывает старухе. Маня, стыдливо отвернувшись, кормит дочку. В спальне приглушенно смеются Павел и Толя.

Когда вошли те, кого он ожидал, показалось, что пол накренился, что все поползло к одной стене, а когда на него прикрикнули ("товарищ Шигоцкий!"), он выскочил за дверь с таким чувством, с каким покидают тонущее судно.

Но произошло невероятное. Их даже не обыскивали. Можно подумать, что за тем лишь и приходили, чтобы сказать про "товарища по работе", предупредить. Судно осталось на поверхности, и все осталось, от чего Казик освободился бы, если бы оно навсегда скрылось под водой... И вот он день за днем бегает в этот дом, что-то говорит, чему-то смеется, боясь отойти от глухого деда, потом вместе с хлопцами идет на работу и тоже говорит в пустоту (ему не отвечают), а на шоссе прилипает к Повидайке и опять смеется, громко, чтобы все слышали.

Видимо, страшно было бы заглянуть в душу этого человека, целыми днями торчащего на глазах у людей, которые знали его в лучшие времена, а теперь имеют право смотреть на него как на предателя, негодяя, и даже не скрывают этого. Вначале лишь жалкое что-то и беспомощное было в его метаниях. Потом все чаще стало прорываться озлобление.

Казик все меньше помнил, с чего началось. Чувство вины за старуху и особенно за то, что он сидел тогда и ждал, постепенно исчезало. К нему возвращалась уверенность: не им судить его! Да какое они имеют право считать его предателем, делать из него черт знает что? Да, да, именно делать из него предателя! Казик на них не доносил и не донесет. А остальное – его дело. И кто бы еще, а то недобитые кулачки! Он-то не доносил на них, а вот они хотят погубить его, бросить тень на него. А тем, в лесу, много ли надо? Сразу поверят, что предатель. Вот, вот, именно они его и стараются утопить!

Такие мысли все больше овладевали им, особенно когда он шел домой после целого дня пытки. Казик уже не чувствовал себя в чем-то виноватым. Виновата эта семейка перед ним. Ох, как он ненавидел

их за тот страх, который ни на минуту не оставлял его теперь. Это не был страх человека, идущего навстречу опасности. Это был другой страх, который догоняет человека сзади, виснет на нем… И самое страшное: он не знал, чего бояться, где поджидает то, что обязательно – он это чувствовал – настигнет его.

Посреди базара его остановил Пуговицын и с какой-то мстительно-подлой улыбочкой угрожающе сказал, не очень заботясь о том, чтобы не услышали посторонние:

– Вы там смотрите, если Корзуны сбегут в банду, вы ответите. Вот так, *товарищ* Жигоцкий.

Казик понял, что ему грозят всерьез. Корзунам что – соберутся и уйдут, а отыграются эти негодяи на нем, они давно на батьково добро зарятся. И, конечно, кто-нибудь услышал это дурацкое, подлое приказание Пуговицына. Сейчас же передадут. Казик почти бежал к Корзунам, полнясь страхом, негодованием, обидой. Он попал в какой-то тягучий клубок и чувствовал, что, чем больше барахтается, тем безнадежнее запутывается. *Да, да, нужно искать связь с партизанами, доказать, кто он такой, доказать делом.* Об этом Казик подумал привычно красиво и даже с увлечением, как думал и говорил не раз. Но это была все та же привычная боковая дорожка, по которой до этого он так легко шел в жизни, дорожка *параллельная* всему хорошему: по ней так нетрудно идти на уровне чужих страданий и дел, чужих мыслей и даже можно быть малость впереди. Но теперь эта параллельная дорожка никуда не вела, она вдруг кончилась. Оставалось или самому выйти на ту общую дорогу, на которой теперь столько невзгод и кровавых случайностей, или… Нет, нет, он должен вернуть себе возможность жить, как жил, он должен убедить эту семью, что они страшно ошибаются, обидно, возмутительно ошибаются.

Бледный, решительный, весь искренность и негодование, почти вбежал в дом:

– Какая наглость! Не поверите, на какую наглую выходку осмелился этот Пуговицын? Останавливает меня на базаре: "Следите за Корзунами…"

Анна Михайловна слушала его с холодно-непроницаемым лицом, на миг глаза ее вспыхнули:

– Ну что ж, они знают, кому и что поручать.

Шаг, ему казалось, искренний, решительный, могущий все поставить на место, не был оценен, принят. Казик сам не знал, как должна относиться к нему эта семья после того, что произошло. Он только чувствовал, что туча, которая чуть не разразилась грозой над

их домом, передвинулась и нависла над его домом, над его головой. И он искал, просил, требовал у них помощи. Но перед ним встала стена, глухая, непроницаемая. Казик подозревал, что за стеной этой что-то предпринимают, может быть, против него. Теперь он вынужден радоваться, что дом его рядом с комендатурой. Вот до чего дошло. И все из-за этих. Подпольщиками себя возомнили! И вещи начали исчезать: посуда из буфета, патефон. Кто им поверит, что никелированную кровать они продали? (Казик уже не мог не присматриваться.) Впутали и его, теперь сбегут, а бобики за него возьмутся: они давно слюной давятся, видя батьковы ульи и все другое.

Казик не видел выхода. И утром и вечером он торчал в доме, куда ему было страшно приходить, небритый, исхудавший, со злым отчаянием в глазах. Но ему необходимо было знать, что они еще здесь.

Алексей, краснея, обходит его взглядом, младший улыбается и чмыхает, как еж. Павел, кажется, вот-вот произнесет какую-то угрозу. Маня открыто бегает от него с дочкой, точно он собирается зарезать ее девочку, сама Анна Михайловна встречает его появление с напряженной, тревожной ненавистью в глазах, словно ожидая от него еще чего-то.

Одна лишь бабушка, немало пораженная неожиданным интересом Казика к ней, поддерживает с ним разговор, да еще с дедом можно в карты сыграть. Легче, когда в доме есть кто-нибудь посторонний: Янек, Владик. Страх и какая-то мстительность опять и опять гнали Казика к Корзунам. Все чаще он ловил себя на том, что действительно присматривается, следит за ними. Не для Пуговицына, конечно, совсем нет! Но Казик не может не присматриваться, так как все, что делается в этом доме, может заключать смертельную опасность и для него. Он даже под кровати засматривал (не исчезают ли чемоданы?), старался уходить как можно позже, будто этим мог помешать им собраться, сбежать в лес. Дошло до того, что он уходил, а потом возвращался под окно. Когда он сделал это первый раз, сам до холодного пота испугался. Сам себе сделался гадок. Но и это лишь подогрело в нем мстительную ненависть к людям, которые вынуждают его на такое. Да, да, это они превратили его чуть ли не в шпика, эта семейка!

Человек постепенно привыкал, внутренне приспосабливался к той грязи, в которую он окунался. Все чаще вспыхивало желание отомстить кому-то за все, что приходится переносить ему самому. Это желание становилось таким острым, что Казик уже решался идти навстречу еще более открытому презрению и ненависти. Увидев, что

патефона не стало, он спросил с выразительным намеком, который мог прозвучать как угроза:

– А где ваша музыка?

Он обращался к Нине, но так, чтобы в кухне услышали. И там услышали. В дверях появилась Анна Михайловна. Она вдруг показалась Казику какой-то торжественно высокой.

– В починку отдали. Понимаете, в ремонт. Можете так и передать.

Будто раскаленного воздуха хватил Казик. Тут уже и слов не выбирают.

После этого случая Жигоцкий вел себя почти нахально. Он больше не делал вида, что не замечает ничего и ни о чем не догадывается. Он приходил, садился на диван, играл на гитаре, шел следом за хлопцами на работу, как бы нарочно здоровался и говорил "до свидания", хотя знал, что ему не ответят.

И вот два дня он не показывался. Услышали: Казик женился. До войны он ухаживал за старшей дочерью мастера стеклодува Василевского, а теперь вдруг взял и женился на младшей. Когда появился – не узнать его. Говорит, смеется. Будто черту подвел под всем, что было до этого.

– В том, братцы, и фокус, ухаживать так, чтобы не знали за кем. Вот был у нас в Вильнюсе…

Но фокус, кажется, был в другом. Хотя бы с одной стороны, но Казик немного обезопасил себя. Человек решил семьей обзаводиться. Про такого не будут думать, что он в лес глядит. И слово теперь будет кому закинуть перед комендантом. На свадьбе были "полезные" гости: бургомистр и еще человека два.

– Да какая там свадьба? Война все-таки!

Говорит это уже почти прежний Казик. И вид у него другой: выбрит, выглажен.

Сталинград приходит в поселок

Зима входила в силу. Ночью сухой морозный ветер, точно песком, шуршал по стенам. На шоссе – твердо сбитые ветром переметы.

Фронт сегодня – это Волга, город на ее берегу. Газетки захлебываются речами фюрера. Обычные рассуждения о провидении и его избранниках (не стесняясь, фюрер заявляет, что он и есть избранник судьбы), а сквозь это бормотание прорывается выкрик игрока, который, не заглядывая ни в карту, ни в карман, идет ва-банк. Этот выкрик в газетках выделен жирным шрифтом: "Чей

Сталинград – того победа". Совсем неожиданно это пророчество сделалось популярным, его повторяют: все видят – не дается Гитлеру Сталинград, люди верят – не дастся.

И когда свершилось там, на Волге, об этом, как тогда о разгроме под Москвой, люди заговорили как о чем-то всеми загаданном.

У комендатуры на шоссе толпятся немцы с газетками, что-то горячо обсуждают. О чем они говорят, жители знают. Люди из окон посматривают на немцев с газетками, а у самих листовки в руках. Листовки – советские. Чей Сталинград – того победа? Ну что ж, пусть будет по-вашему!

У Корзунов листовок уже не держат. Но Павел побывал у Лиса и сам сделался листовкой: в памяти его отпечаталось каждое слово и все до единой цифры. Толе радостно видеть маму такой улыбающейся. Вопросы ее чисто женские:

– Дивизия – это много?

Дружно множат количество дивизий на тысячи солдат – получается даже больше чем триста тысяч.

– Ого! – удивляется мама.

Казик явился и с порога:

– Слышали? Теперь им до границы катиться без передышки.

Он говорил, как бы закрыв глаза (хотя и смотрел), здорово хохотал над неудачником фюрером, будто изо всех сил старался заставить не верящих ему людей поверить, что Сталинград – их общая радость. Постепенно Казик увлекся, его понесло:

– Нет, нельзя сидеть ни минуты без дела. Если бы я знал, с кем связаться…

Мама не выдержала:

– Я не уверена, что этих слов не слышит тот, кто может их сегодня же передать кому-нибудь. Прошу вас чувства свои выражать у себя дома, там занимайтесь патриотическими разговорами.

И снова будто горячего хватил Казик. Лицо его сразу отяжелело, загнанно и мстительно блеснули глаза. Но он смог еще сказать:

– Да, да, осторожность нужна. Забегу-ка я еще домой. Муж как-никак, дома жена с завтраком.

И засмеялся даже.

На работе в этот день Казик держался в сторонке, Повидайка и тот не мог вызвать его на болтовню.

Жигоцкий сосредоточенно сдвигал к кювету обмякший от теплого ветра снег и думал. Что им от него надо? Ну, не арестовали же их тогда, и не он в конце концов доносил. Какое они имеют право считать его тем, кем они его считают? И кто они сами, эта семейка,

почему отношением к ней должен измеряться патриотизм Казика, его честность? А ведь так и будет. Придут наши, и окажется, что Жигоцкие предатели, помогали немцам. Нет, в самом деле, кто они такие, эти Корзуны? Или этот Павел? Режет снег на правильные порции – и тут лавочник виден. Живет тем, что скажет последняя листовка, ничего своего. А небось считает, что Казик менее его понимает, кто такие фашисты. Только и думает, как бы расправиться с "немецким шпиком". Или те соплята – тоже подпольщиками себя мнят.

Особенно младший. Сочинил или услышал стишок и каждый день лезет в глаза с ним. Называет это "полицейской похоронной". Слова такие, что начинаешь сам повторять их: "Скоро конец войне: немцы – "до матки", партизаны – "до хатки"... Куда ж – мне? Куда – мне, куда – мне?.."

А про саму Корзуниху Казик и вспоминать не может без внутренней злой дрожи. Что давало право ей не верить ему, Казику? Он чувствовал ее настороженное ожидание давно. Да и магазинщик этот говорил не раз, сам возмущался ее "бабьим отношением к делу".

Будущее, сама жизнь его зависят от того, что в головах у таких вот людишек. Нет, надо освободиться от этого кошмара, как угодно, но все должно быть, как прежде. Ведь дико: приходится бояться возвращения Красной Армии. А он ли не верил, не ждал! И вот теперь, когда – Сталинград, ему приходится бояться. Действительно, кошмар какой-то. Нет, надо... Он снова и снова возвращался к мысли, которую боялся додумать до конца.

Вечером он долго колебался. То жена мешала, то отец. Старуха уже взобралась на печь: трещит лучиной, перешептывается с богом. Но все получилось как-то само собой. Батька пожаловался:

– Ложись и бойся, что спалят. Наделала чертова баба.

С печи донеслось:

– А что мы, наша хата с краю.

– Про то и говорю, что от леса. И комендатура не спасет.

Тут Казик и сказал то, что обдумывал весь день:

– Павел ихний в лес собрался, я вижу. Придет и пустит с дымом – вот что вы натворили. Им что, никто их не тронул, не обыскали даже. И член партии, а ничего.

На печи затрещала сухая лучина, будто бревна по ней катают.

Казик не спал долго, закрывал лишь глаза, когда просыпалась Лена – жена. Но старуха так и не сползла ни разу с печи. А подойти и шептаться с нею в хате он не решался. Она, конечно, утром пойдет, но опять не к тому и не то скажет. Нет, не следовало про то, что Павел партийный... Это уже что-то совсем другое, не одной семьи Корзунов

касается. А он должен, он просто вынужден, да, да, его вынудили, и он должен избавиться от тех, кто хочет сделать, кто делает его "предателем", "немецким холуем".

Проснулся – в доме ни души. Лена тоже куда-то ушла, к своим, наверно. Всегда уходит к себе домой так, точно убегает. Боится она старухи. Казик оделся, заглянул в сарай, в погреб. От гумна батька идет. Старуха уже калитку закрывает. Говорит батьке, что ходила базар посмотреть. Но Казик знает, где она побывала. Не сговариваясь, они уже вдвоем скрывали что-то от старика.

Разве поймешь эту маму

От предельного напряжения, когда человек, кажется, сгорает, в душе у него образуется твердая корка, которая сберегает остаток сил, помогает держаться, делает человека если не спокойным внешне, то сосредоточенным. Так жила мать с той минуты, когда узнала о гибели Виктора, а потом об аресте Кричевца, и особенно после посещения дома Пуговицыным. Она вставала раньше всех, готовила завтрак и уходила на работу, не завтракая. Обедать приходила вечером.

А тут случилось такое.

Собирались обедать. Как всегда, без мамы. Но пришла она. Очень расстроенная. Обращаясь ко всем, сказала:

– Вы только подумайте! Старики наши вздумали картошкой торговать. Титу три корзины тайком продали.

Толя захохотал: бабка, видно, решила снова копить на "черную годину".

– Я из сил выбиваюсь, такую семью надо держать, на волоске все, а тут еще они... – закричала мать на бабушку и, разрыдавшись, ушла в спальню.

Толе сделалось стыдно за свой дурацкий хохот. Он страдал. Он просто ненавидел бабку, которая и теперь хотя и смущена, но что-то сердитое быстро-быстро шепчет. И к Павлу недоброе чувство шевельнулось. "Они" – это и он тоже, сколько из-за него лишних тревог у мамы. Павел нерешительно шагнул вслед за мамой. Маня удержала его сердито:

– Сиди уж хоть ты!

Дедушка вздыхает на всю хату, не по себе ему. И как это втравила его бабка в такую коммерцию? Бабка что-то там колдует над ним.

– Уйди ты, га-адина! – гаркает дед.

– Ти-ише, дурень старый, – шипит бабка, выметаясь на кухню.

Алексей хватает шапку и бежит из дому.

С опухшими веками ушла мама на работу. Толя видел, как следом за ней на аптечное крыльцо взошел батя Разванюши.

Сидели за столом, глотали, запивая рассолом, горячую картошку: бабка не всю успела продать. И вдруг вернулась мама, позвала в зал.

– Ну вот, попались!

Сказала она это, не владея от отчаяния голосом, и потому могло даже показаться, что она удовлетворена своей правотой.

– Вот что значит не слушаться меня, дурную бабу. Я же знала, кто такие эти Жигоцкие. А вам все казалось... Сегодня опять приходила в полицию старуха, заявила, что ты, Павел, собираешься в партизаны, что член партии.

Павел стоял, опустив глаза, лицо Мани белело ужасом.

– В полиции был Коваленок и еще один. Но кто знает, кому она еще сказала или скажет. И Коваленка подведем. Что делать, что делать?

– Уходить, – сказал Толя, но его точно и не слышали, возможно, потому, что слишком много воодушевления было в его голосе.

Павел молчал. Он знал, что расправа грозит не только ему. Он уже понимал: немалая вина за то, что может случиться со всей семьей, ложится на него. И потому он не хотел решать за всех. Мать оценила его честное молчание. Она как-то даже успокоилась.

– Схожу к Шумахеру, разузнаю.

Но тут же снова вернулась. Кто-то ей встретился по дороге. Оказывается, видели, как сегодня утром Жигоцкая ходила к Пуговицыну домой.

– Что же делать, Аня? – дрогнувшим голосом спросил Павел.

Каждую секунду во дворе могли появиться *они.* С невыносимой тоской мама повторяла его же слова:

– Что делать, что же нам делать? Почему я должна все одна? Все на меня, опять на меня! Боже мой!

– Уходить, и все тут.

Но мама Толю не слышит. Плачет, спрашивает опять и опять, укоряет кого-то за невыносимую тяжесть, за беспомощность перед тем, что вот-вот может случиться:

– Почему вы молчите? И тут ничего вы не можете!

Алексей отозвался наконец:

– За домом, конечно, следят. Надо ждать ночи.

Мама пошла к старикам. Сердясь на их растерянность, она пыталась втолковать им, что немцы собираются людей вывозить и

потому надо одеться потеплее, подготовиться. Бабушка заохала и вознамерилась к соседям бежать, чтобы побожкать на людях. Уже в сенях догнала ее мама, схватила за руку и почти втянула в кухню.

– Ты что? Погубить детей мне хочешь? Чтобы ни шагу из дому!

В голосе, в глазах мамы столько жесткой решимости, что бабушка аж попятилась. Так же сердито командует мама всеми. Толе обидно, что в такие минуты, когда их могут навсегда разлучить, маме точно видеть его неприятно.

– Не слоняйтесь вы, помогай Алексею... чемоданы не ставьте вместе, сразу видно, что собрались выносить... там на кровати белье, наденьте по две пары...

Ночь еще далеко. Тревога растет. Все кажется в этот вечер не случайным. Неспроста сегодня часовой вздумал разгуливать по шоссе от комендатуры до самого дома. И этот немец на лыжах будто и не нашел другого места, где он может раз за разом падать... Полицейские ходят по шоссе, и очень уж безразличные у них физиономии.

Но вот часовой больше не показывается, залез за колючую проволоку. И лыжник убрался. Почти поверили: сегодня они не придут. Павел сбегал к Лису, вернулся оживленно-деловитый. Лисы тоже уходят. Лесун подъедет через час-два.

Одетые, стояли у окон. Мама время от времени заходит к старикам и старается объяснить им, почему нужно все бросить и уйти. Старики пугливо соглашаются, чтобы только не рассердилась невестка, но заметно, что не понимают, почему нужно уходить из теплой хаты в морозный лес, тяжело вздыхают.

– Куда мы их потащим против зимы, – жалуется мама. Неожиданно говорит Павлу: – На всякий случай, если что не так получится. Значит, разругались мы, ты уходишь жить к Лису. Оставь там записку.

Звучит это наивно, но чем больше обсуждают детали этого примитивного спектакля о рассорившейся семье, тем больше мама верит в возможность его успеха.

– С обидой только напиши.

– Хорошо, Аня.

– У Лиса ты решился и уходишь куда глаза глядят.

– Хорошо, Аня, напишу так.

Толя возмутился:

– Дураки они, чтобы поверить!

Но мама, конечно, полагается не столько на текст спектакля, сколько на свое исполнение главной и самой опасной роли.

– Давай, мама, пойдем, – уже просит Толя.

– Хорошо, детки. Вот Артем подъедет.

– Приехал! – испуганно сообщила Маня.

По-ямщицки ловко Лесун развернулся с санями под стеной дома. И надо же так близко жить от комендатуры!

– Не стойте вы, быстрее, – приказывает мама.

– Шибче, шибче, – доносится из-за калитки густой шепот Лесуна. Уже Маня с закутанной в одеяло Таней сидит в розвальнях, швырнули несколько узлов, чьи-то чемоданы.

Лесун не выдержал, сани сорвались и пропали в темноте.

– Догоняй их, – взволнованно шепчет мама.

– А ты, Аня?

– Беги за ними. Мы потом… посмотрим… утром. Не забудь, Павел, про записку, – шепчет мама в темных сенях.

– Сделаю, как договорились. На столе или на дверях оставим. Прости меня, Аня, если что не так.

– Берегите Таньку.

– Спасибо тебе, Аня, за все. Я, может, не очень в людях понимаю, но что ты за человек, разбираюсь.

Павел еще помедлил, потом быстро вышел из сеней и исчез за калиткой.

Вернулись в дом, сразу ставший чужим, враждебным. Мать села на кровать и тяжело молчит.

– Не волнуйся, мама. Это Алексей.

– Ой, детки, а если завтра всех нас заберут?

– Не заберут.

Толю из себя выводит уверенный тон брата. Он смутно угадывает, *что* успокаивает и маму, и старшего брата. Ему тоже начинает казаться, что без неосторожного Павла будет безопасней. Столько лишних тревог принес он в дом, что уход его воспринимается как облегчение, хотя именно это – теперь самая большая опасность.

– Куда я вас и стариков поведу, зима же, – говорит мать неуверенно.

– Подумаешь, зима! – возмущается младший. Он думает об одном: "Так здорово было бы – сегодня же стать партизаном!"

Старший думает еще кое о чем:

– А Коваленок как, а Надя?

И мать о том же беспокоится:

– Так неожиданно все, ничего не успели. Договоренность была, что я всю аптеку вывезу. И без этого нас примут, но все же…

Мать помолчала, потом, будто споря с кем-то и одновременно спрашивая, сказала:

– Нет, боюсь я за вас, детки. Уйдем лучше, правда?

– Все за нас и за нас! – запротестовал Алексей.

До утра еще далеко – это немного успокаивает. И поскольку не сейчас уходить, мама не может не сказать:

– Ляжьте, детки, поспите немного.

Как будто самое главное теперь – отдохнуть. Но все же, не раздеваясь, прилегли, раз ничего не решено.

Так и уснули незаметно. Толя, кажется, слышал, как мама подсаживалась на кровать, отходила и опять садилась.

Казалось, ночь будет длиться бесконечно. И вдруг – уже утро. Свет ломится в комнату, распирает щели ставен. Мама сидит у себя на кровати, над плечом ее широкое бледное личико Нины.

– Боже, что это мы? – с ужасом спрашивает мать.

Она всю ночь не спала, столько раз готова была разбудить детей, стариков и опять передумывала. Мертвая, темная тишина за стенами дома завораживала, уже казалось, что ничего непоправимого не произошло и не произойдет. Главное, чтобы не арестовали сразу, под горячую руку, когда узнают, что Павел и Лис ушли. Тот механизм связей, влияний, симпатий, антипатий, который не раз уже выручал, может спасти и на этот раз. Остаться, когда половина семьи ушла, – шаг настолько отчаянный, что именно это может заставить бургомистра и коменданта поверить, что женщина действительно ничего не знала о намерениях своего шурина. Опять и опять рисовала мать сцену, как ее спросят, что и как она будет отвечать. При этом она плакала. Это не было только репетицией. Она не могла не плакать, даже когда мысленно говорила кому-то, от кого могла зависеть жизнь ее детей, что ничего нет на земле такого, ради чего она стала бы рисковать ими.

Был самый надежный выход: до утра оставить поселок. Чтобы спасти Павла, она собиралась уйти в лес всей семьей. Но Павел уже далеко. И не о нем теперь думала женщина. Опасность висела над ее детьми. И еще она думала, что, если уйти, будут допрашивать Надю (работали в аптеке вместе), может раскрыться и то, что Коваленок скрыл донос Жигоцких. Анна Михайловна знала, что, если она останется и сумеет отвести опасность от своего дома (после всего, что было, женщина готова была верить, что это ей удастся), она отведет опасность и от других. А этих других уже очень много. Чем труднее становилось получать в городе медикаменты, доставлять их в поселок, переправлять партизанам, тем более сложной сетью людей, связей обрастало это дело: и Лесун, и Комарова – учительница из Заболотья, и

старая подруга Мария Даниловна, и механик гаража Ларионов, и заводской конюх...

Была договоренность, что перед тем, как уходить, Анна Михайловна получит в городе как можно больше медикаментов и все это будет вывезено в лес. Уже не один килограмм сала и не одна тысяча марок переданы в руки "нужных людей". Делалось это в такой форме: "И вам и мне жить надо, достаньте мне дефицитных медикаментов, я передам их врачам, они получат от больных продукты, поделятся со мной, а я – с вами. А пока вот вам аванс – сало, марки, мед". При самом свирепом контроле приобрести медикаменты можно. Спекулируют все: от ночного сторожа до пухлого шефа-эсэсовца. Но столь же легко и попасться, нарваться на доносчика.

И вот теперь из-за Жигоцких срывается дело, на которое потрачено столько нервов и столько партизанских денег. Не удастся взять даже то, что есть в аптеке. Там, в лесу, может быть, ничего и не скажут, только удивятся такому внезапному ее появлению с семьей. При последней встрече в Зорьке она пожаловалась, что трудно стало работать. Ей хотелось лишь услышать в ответ, что в любой момент, когда станет совсем опасно, ее семью заберут в лес. Это успокаивало, давало зарядку нервам. Блеснув исподлобья белками, партизанский контрразведчик Кучугура именно это и сказал:

– Если можете, поработайте еще. Там вы нам больше нужны, чем здесь. Ну, а если нельзя...

– Что значит нельзя? – возразил незнакомый Анне Михайловне партизан с удивительно прилипчивыми глазами. Кучугура обращается к этому партизану отчужденно-официально: "Товарищ Мохарь". У "товарища Мохаря" все новое: желтая кожанка, которую он не снял, хотя в хате было жарко, папаха с блестящей, точно из магазина, лентой, новенький автомат, который он положил на стол перед собой и все трогал. – Что значит нельзя? – повторил партизан, строго глядя на Анну Михайловну. – На это есть дисциплина.

– Меня не дисциплина сюда привела, – ответила ему Анна Михайловна.

Кучугура, будто и не слыша их разговора, еще раз сказал:

– Как только вы скажете, мы вас заберем.

Не будь с нею детей, она решилась бы остаться. Но – дети! Она достаточно рисковала, никто не может требовать, чтобы она, мать, вот так дико оставляла детей на расправу. Никто не имеет права даже ожидать от нее этого. Не ее вина, что все так сложилось. Предупредить Надю – пусть решает, как ей быть, – и тут же уйти.

Мать вставала, подходила к сыновьям, намереваясь разбудить их. Садилась на кровать, слушала их ровное, спокойное дыхание. Такая ночь, а они уснули. Взрослыми себя считают, а сами – еще дети. Или у них такая вера в то, что она, мать, знает, как поступить, что предпринять! Вот она их поднимет, скажет: "уходим", и они с радостью соберутся, скажет: "останемся", и они вместе с нею будут ожидать возможной расправы. "Детки мои, знали бы вы, как тяжела мне эта ваша вера!"

Мать знала, что рано или поздно она поведет детей в партизаны. Но когда пришлось решать – сегодня, сейчас, ей стало страшно. Ей вспомнились белеющие на подводах тела партизан, которых привезли тогда к комендатуре. Среди убитых были новички, они и от хат своих не успели отойти: еще на рассвете матери собирали их в партизаны. А что, если и она как раз подставит детей под ту случайность, которую те несчастные новички могли бы и обойти, если бы пошли одним только днем позже. Как только она и сыновья ее оставят поселок, они поменяются ролями. Не она, а дети будут каждый день лицом к лицу с опасностью, на них, таких неосторожных и неопытных, все ляжет. Это придет рано или поздно. Но лучше, если – позже. Хотя и страшно рисковать оставаться после того, как семья стала "партизанской", но тут опасность привычная, и она имеет возможность бороться с нею. А там, в лесу, ей останется только бояться за своих детей... Что делать? Если бы можно было спросить об этом мужа, Ваяю. Как давно это было и как далеко это – муж, единственный, кто мог бы принять на себя часть той страшной ответственности, тяжести, которая обрушилась на нее. "Ваня, я знаю, что и тебе там, где ты сейчас, не легко. Но прости меня, я не могу об этом сейчас думать, я так мало думаю о тебе, нет, я помню тебя всякую минуту, но вся я теперь в детях, в наших детях. Нам будет страшно встретиться, если я их не уберегу. Но что мне делать, подскажи, Ваня..."

Мать снова возвращалась к своей кровати, где у стенки сладко спала Нина, и опять ее мысли шли по тому же кругу: Надя, Коваленок, медикаменты, дети, дети... Мать боялась решать окончательно, но она уже готовилась к тому, что будет утром. И как только поняла, что не уйдут, что все-таки останутся, сразу как-то успокоилась. Даже глаза прикрыла: надо чуть-чуть отдохнуть, нужно сберечь силы для того, что начнется утром. Ей казалось, что она только смежила тяжелые горячие веки. А тут уже утро, на шоссе гудят машины! Ушла ночь, а с нею и нелепая (до ужаса ясно мать поняла это) надежда на то, что все может обойтись благополучно.

– Боже мой, что это мы? – непонимающе спрашивает она. – Алексей, дети, Нина, сейчас же уходите. К Порохневичу. Ничего не спрашивайте – сейчас же. Дети мои, что мы наделали?

– А ты, мама? – натягивая сапог, спрашивает Алексей протестующе и жалобно.

– Не спрашивайте ничего. Вы, детки, не бойтесь, я ничего, я тут сама.

Мать почти улыбалась.

– Когда я одна, я смелая. Только уходите быстрее.

Мать даже улыбалась, только бы не думали о ней.

Почти вытолкала детей из дому. И лишь в сенях прошептала:

– Если что, смотрите, заклинаю вас, детки, не вздумайте возвращаться сами. Порохневич все узнает. Алеша, ты старший, смотри за ними.

А старший растерян больше, чем Толя и Нина, он медлит, почти плачет: ему и брата с Ниной хочется увести от опасности, и не хочется маму одну оставлять. Мать побоялась даже поцеловать детей, только бы ушли. Из сеней смотрела им вслед, обессилев от мысли, что видит в последний раз. Уходить следом? Нет, она должна быть на месте, дома, пока их могут еще перехватить.

Анна Михайловна вернулась в комнаты. Смотрела на вороха тряпок, развороченные кровати, понимая, что надо что-то делать, и не в силах сообразить, что именно. Ага, все должно быть как обычно. Никто никуда не собирался. Поругались с шурином? Что же, бывает. Тем более что она не желает иметь в доме человека, которого в чем-то подозревают. У нее дети, ей о них надо думать. Где они, дети? Ушли на работу. Сегодня же не выходной день…

Позвала бабушку и стала втолковывать ей про ссору с Павлом. Старуха, ошалевшая за эти сутки, ничего не соображала, но на всякий случай согласно кивала головой. Из всего она поняла, что никуда не надо уходить, и обрадовалась.

Анна Михайловна прибирала комнаты и все смотрела на окно. С каждым мгновением возрастало чувство неуверенности. Ссора, записка, кто поверит этому после всех подозрений? Ее охватило чувство человека, который видит, как откололась льдина, на которой он стоит, как повернулась, отходя от берега. Нестерпимо хочется броситься к берегу, но нет уже уверенности, что можешь перескочить через полосу воды. А почему? Направить стариков к Лесуну, самой – вслед за детьми. А если детей уже схватили, приведут сюда, а дома – никого? Что она наделала, как могло прийти ей в голову, что все сойдет благополучно? Она уже не могла даже вспомнить те доводы,

которые ночью казались убедительными. Ушла половина семьи – когда это было, чтобы остальных немцы пощадили? У них на это твердое зверское правило. Только бы дети успели уйти, только бы не вздумали вернуться.

Узкая половина окна в кухне на миг заслонилась. В глазах у женщины потемнело. Вот оно! Анна Михайловна бросилась за ширму, к печке, отстранила старуху и занялась сковородкой. А у двери что-то стояло и голосом бургомистра спрашивало:

– Где ваш шурин?

Анна Михайловна выступила из-за ширмы, озабоченная, готовая услышать самое плохое: ничего хорошего от своего шурина она не ждет.

– А что случилось? – спросила она с некоторой (но как раз в меру) тревогой. – Вчера я попросила его оставить мой дом. Мы давно не ладим. Обиделись и ушли жить к Лису. Может, и не права я, но тяжело теперь для всех доброй быть. У меня своя семья.

Бургомистр, такой внушительный в длинной, покрытой темным сукном шубе, пророкотал глухим басом:

– Ваш шурин ушел... это... в банду?

Недоверие очень долго держалось на лице Анны Михайловны, потом оно сменилось выражением ужаса:

– Ой, что вы! Как в банду?

– Да, да, мадам Корзун.

– Погубил, сволочь, всех погубил...

Что-то совершенно бабье было в испуге, причитаниях, плаче женщины, которую Хвойницкий привык видеть сдержанно-строгой. В нем внезапно вспыхнула злоба, желание увидеть ее еще более испуганной, слабой.

– Я хотела как лучше, я не думала, что он так отблагодарит за все, – плакала женщина.

Угрожающая недоверчивость будто затвердевала на угреватом лице бургомистра. "Прав все же был Пуговицын: давно эту семейку надо было прибрать", – думал он.

Какое-то глубинное чувство подсказало женщине, что опасно быть слабой перед этим человеком. Все такая же, в слезах, но уже не растерянная, а, наоборот, верящая, что она сможет доказать свою невиновность, Анна Михайловна заговорила:

– Посоветуйте, господин Хвойницкий, может, мне пойти в комендатуру, объяснить все.

Женщина словно и не понимает, что ее сейчас заберут и поведут туда силой, а там не очень-то станут интересоваться, виновата она

или не виновата. Тяжело насупившись, бургомистр прикидывает: да, прав оказался Пуговицын... Но если так, тогда неправым будет выглядеть он, Хвойницкий. Чтобы эта жаба, Пуговицын, взял верх – ну нет! Он! Он, Хвойницкий, ручался за Корзуниху, а не за какого-то ее родича. Конечно же она выгнала своего шурина. Он назло ей и записку оставил у Лиса. Выгнала, мол, так теперь отдувайся за меня! Надо пойти послушать, что Шумахер станет говорить. Пусть берет на себя, а он, бургомистр, потихоньку отойдет в сторонку. Все они тут бандиты, в лес смотрят!..

Хвойницкий повернулся уходить, огромный в своей богатой шубе. И вдруг вспомнил:

– А это... сыны ваши где?

– На работе. Они даже не знают ничего. Всех погубил, и свою семью, и нас.

Бургомистр ушел. Что-то тяжелое пронеслось совсем рядом. Но оно вернется. И, возможно, ударит насмерть. Все теперь от случайности зависит: от настроения коменданта, от того, кто сегодня приедет в поселок, как будет держаться Шумахер, что сможет сделать Коваленок и его хлопцы, как поведут себя Пуговицын и бургомистр. Только бы дети не вздумали вернуться, только бы не пожалели ее!

Набросив на плечи старенькую плюшевую жакетку, Анна Михайловна пошла в аптеку.

Наде ничего говорить не надо – знает. Готовили лекарство и незаметно следили за шоссе. Вот Коваленок пробежал, бургомистр промаячил, Шумахер, глубоко спрятав руки в косые карманы поддевки, прошел куда-то, потом снова вернулся к комендатуре. Полицаи бегают: растащили барахло, что Лисы оставили, но, видно, лишь аппетит разгорелся.

Толя сидит в жарко натопленной большой комнате и смотрит в окно на знакомое гумно, распластавшееся среди поля: солома содрана, стропила торчат, как обглоданные конские ребра. За спиной у Толи всхлипывает Нина. Пристроилась возле печки во всех своих платьях и джемперах и плачет. Боится за Толину маму. А Толя не плачет. Он смотрит в окно и злится на Алексееву бесчувственность: расселся за столом и без конца вертит в руках будильник. А вот и зазвонил.

Порохневич приехал лишь к вечеру. Поставил велосипед в сенях. Вошел невеселый и поспешил сообщить:

– Все хорошо. Кажется. Пока. Риск большой. Удивляюсь Анне Михайловне. Как могла она решиться? Переночуете, а завтра...

– Нет, мы пойдем.

Это Алексей сказал, а значит, так и будет.

Когда вошли в поселок, почувствовали себя неуютно, как на сквозняке. Толя ловит любопытные, сочувственно-одобрительные взгляды поселковцев – это тревожит, но и пробуждает гордую радость.

Мама встретила их на пороге темной кухни: ждала. Просто и бесконечно устало проговорила:

– Вы не ужинали? Бабушка картошки напекла нам.

За столом царила особенная близость. Бабушка подкладывала маме лучшие картофелины, даже мяла их в пальцах для нее.

Только после большой и опасной дороги люди начинают так ценить простой домашний мир.

Назавтра ушли на работу пораньше. Мать велела не возвращаться, пока Порохневич не побывает в поселке. Алексей протестующе покраснел.

– Ну что вы, детки, вы же мне ничем не поможете.

На шоссе встретили Пуговицына. Как стервятник, неся круглую голову на вытянутой шее, промчался мимо, лишь глазами выстрелил. А сзади остановился и сказал почти торжествующе:

– Ушел шурин в банду?

Обернулись к нему, не зная, как ответить. Алексей пробормотал: кто, дескать, мог знать?

– Я знал.

И пошел, хлопая полами кожанки.

На работе сегодня много улыбок. В глазах у Янека, у Михолапов, у Повидайки и даже у Голуба – вопрос, восторженное удивление. Алексей хмурится, а Толя все это принимает охотно, как подарки в день рождения.

Казик опоздал на работу. Явился и:

– Молодец Павел, решился раньше других!

Восклицание свое Казик словно из кармана выхватил.

Видимо, всю дорогу шел и репетировал, чтобы прозвучало беззаботно, искренне. Но в глазах растерянность, страх. Толя доволен: ну, ну, поизвивайся теперь!

Арестуйте нас

Было строго-настрого установлено: сразу после посещения аптеки каждый должен идти в комендатуру. Подозрительных обыскивали, немецкий врач проверял, какие лекарства больной получил и вообще болен ли он. По этому поводу шутили:

– Видите, как беспокоятся, чтобы нас правильно лечили. А вы говорите!

Мама держалась на одних нервах. Лицо без кровинки, под глазами морщины, вся темная – больно смотреть.

За медикаментами теперь приходит учительница из деревни. Очень строгая на вид. Толя в ее присутствии почему-то смущается, точно он не выучил чего-то. В руках у нее всегда корзинка. И заходит – корзинка пустая, и уходит – пустая. А лекарства, бинты уносит – Толя это знает.

Случалось и непредусмотренное. Из окна аптеки увидели Лесуна. Бредет в огромном кожухе, живот руками поддерживает.

– Родилку Артем ищет, – со смехом заметил какой-то больной.

Рыжебородый Лесун прошел по мостику, поднялся на крыльцо и тут грохнулся прямо под ноги Фомке-полицаю, который вечно торчит возле аптеки.

– Перебрал, дед? – с уважением и завистью спросил Фомка.

Стонущего Артема втащили в аптеку, подняли на широкую скамью.

– Докторка, помру сейчас, кишки завязались, переворот сделался.

– Будьте добры, кликните доктора Грабовского, – попросила мама Фомку. Тот хмыкнул и ушел не к медпункту, а в сторону комендатуры.

Не переставая вопить, Лесун шептал:

– Ой, о-ой… Забыл, как его, черта… Батюшки мои!.. У командира воспаление легких… Смертонька моя пришла!

– Сульфидин, – поняла мама.

– Во, во… воечки, воечки!

А Пуговицын наглел. Ввалился однажды ночью. Лицо кирпично-красное, полы кожанки белые, обмерзшие. Просунулся в зал и остановился, пьяно раскачиваясь. Увидел себя с винтовкой в большом зеркале – это натолкнуло на какую-то мысль. Стащил с плеча десятизарядку, хватается за затвор.

– Десять бандитов – тах, тах и – кон дела.

С женским страхом мать смотрит, как пьяный возится с оружием.

– Оставьте в покое вашу винтовку, господин Пуговицын.

– А, докторка… мадам Корзун…

Улыбнуться не удалось: затвердевшее от мороза и водки лицо лишь перекосилось в гримасу. Брякнулся на стул, не удержался и с грохотом опрокинулся вместе со стулом на пол. Стволом винтовки

достал зеркало, зазвенев, оно ослепло нижней половиной. Раскорячась, Пуговицын поднялся с пола, окинул хозяев злым взглядом.

– Ага, так, не нравлюсь... не тот гость в доме доктора...

– Почему же? – спокойно возразила мать. – Только почеловечески надо.

Принесена была из кладовой капуста и самогон в четвертушке. Пуговицын все подсчитывал, сколько партизан он может убить из своей десятизарядки или гранатой. Стащил шлем. Бритая голова бледная, голубоватая, а лицо грязно-красное, будто наклеенное.

– Бог с ними, с партизанами, – сказала мать. – Закусите лучше.

– А вы, мадам докторка?

– Со старшим моим выпейте, как мужчины.

– А у доктора видная жена, ви-идная, это все знают. Мне надо поговорить с вашей мамашей. Идите отсюда. Сказано!..

Алексей поднялся с дивана, Толя вдруг увидел, что глаза у него начали стекленеть, как бывало у отца, когда он вот-вот перестанет владеть собой...

Мама схватила Алексея за руку, оттолкнула, а Пуговицыну сказала:

– Что за ерунда! Никуда они не уйдут.

– А я сказал...

– Хватит! Завтра я иду в комендатуру.

Пуговицын тяжело поднялся, по-волчьи узко посаженные круглые глаза его, кажется, совсем сошлись на переносице.

– По-ойдешь! Как миленькую поведут. Хорошо – так хорошо, а нет – попомните Пуговицына.

Не переставая угрожать, полицай вывалился за дверь, в темноту, откуда и появился.

– Уйдите от света, еще выстрелит! – забеспокоилась мама.

– Ну и пускай, – упрямо отозвался Алексей.

Толя задул коптилку.

– Опрокиньте вазоны, стол. Ну, что вы, не понимаете? Что-то предпринимать надо, погубит он нас.

Но когда Толя с удовольствием опрокинул тяжелый фикус вместе с табуретом, мать не выдержала:

– Осторожно ты!

Утром она, осмотрев комнату, в которой будто лошади на постое были, отправилась к Шумахеру. Но дома его не застала. Надо опередить Пуговицына, придется идти в комендатуру. Забежала домой, чтобы твердо знать, что дети ушли на работу Отправила вслед им Нину с наказом не возвращаться до завтра.

Подходила к часовому, который прогуливался около колючей проволоки, и еще не знала, повернет ли в комендатуру или сделает вид, что ей нужно прямо. Часовой остановился и от нечего делать поджидает ее. Она подошла к нему, попыталась объяснить, что ей – к Шумахеру. А переводчик как раз на крыльцо вышел, крикнул, чтобы ее пропустили. Женщина заговорила еще издали:

– Я к вам. Не могу больше. Пойдите посмотрите, что Пуговицын натворил. Приходит, грозит, требует бог знает что, перевернул все…

– Не надо, Анна Михайловна, я сделаю, что смогу. Идемте.

Шумахер пошел впереди. Знакомые больничные коридоры пугают.

– Сюда, – сказал Шумахер, как бы уводя женщину от того, что лежит у стены.

А там лежит человек в пятнистом белье. Голова неестественно завернута, со щеки что-то свисает, повертывается, как на ниточке. Глаз, выдавленный человеческий глаз! Шумахер, трусливо подняв плечи, прошмыгнул мимо. Анна Михайловна впервые подумала о нем с холодной неприязнью. Ей сделалось еще страшнее, точно Шумахер уже предал ее. А она, идя сюда, очень рассчитывала на него…

– Обождите, – уже как-то отчужденно сказал Шумахер и пропал за дверью, которая когда-то вела в приемную ее мужа (заметно даже, где табличка висела). Анна Михайловна осталась лицом к лицу с солдатом, который будто придавил ее к стене тяжелым взглядом. Женщина уже не знала, что она скажет, как скажет, когда войдет к коменданту. Она понимала только одно: не следовало приходить сюда, она совершила что-то непоправимое. Большой, как луковица, глаз человека, лежащего у стенки, все качался на ниточке-нерве и страшно смеялся над всеми чувствами, словами, которыми она собиралась убедить и победить немца-коменданта. Солдат вдруг показал на замученного и удовлетворенно сказал:

– Партизан.

Открылась дверь, выглянул Шумахер.

– Заходите.

Комендант сидел за столом, боком к двери. Напротив – человек в черном мундире. Он настолько мал, что локоть его, опирающийся о стол, почти на уровне плеча. Его глаза первыми встретили взгляд вошедшей и как бы сказали: "Для меня все тут понятно, и я знаю, что с тобой делать, но любопытно, что здесь произойдет, любопытно…" Человечек посмотрел на коменданта выжидающе и с откровенной иронией.

Комендант повернулся к двери. Лицо женщины показалось ему знакомым. Требовательно взглянул на переводчика.

– Говорите, – тихо сказал Шумахер.

– Я пришла предупредить... сказать, – глядя в узкое лицо коменданта, начала женщина. – Или арестуйте меня, или дайте нам жить, или мы... или я должна буду уйти в лес.

Слезы загнанного человека, которому все уже безразлично и ничего не страшно, заблестели на глазах говорившей. Женщина пришла обмануть врага, но когда она говорила о том, что ее мучило, что пугало, она говорила с искренней болью и страданием.

Шумахер перевел и что-то от себя добавил, видимо о ночном погроме, учиненном Пуговицыным. Наступило молчание, Анне Михайловне оно казалось тяжелой дверью, медленно и навсегда закрывающейся у нее за спиной.

Теперь уже и комендант смотрел на женщину с откровенным любопытством, а маленький немец так и впился в нее хищным взглядом.

Анне Михайловне было страшно, слезы текли сами, но она знала, что страх надо скрыть, а слезы – пусть. Она плакала искренне, но одновременно понимала, что плач ее и *должен быть* искренний.

Комендант что-то сказал.

– Он что, приставал? – спросил Шумахер и добавил: – Пан комендант интересовался, вы ли это были на свадьбе. Я сказал, что да.

Еще не зная, как он поступит, комендант присматривался к худолицей интеллигентной женщине в большом белом платке. Уйду в партизаны! Ничего не скажешь – смело. Нет, это скорее уверенность, что невиновный может смело смотреть в глаза каждому. Чем-то очень устаревшим и беспомощным веяло от этого. Комендант даже развеселился. Он мельком взглянул на маленького немца в черном мундире. Лишь такой вот тупица может заподозрить, что у этой женщины в голове есть что-либо кроме страха за детей. Для него все тут просто. Пришел русский и говорит: пойду в партизаны. Хватай и стреляй его, яснее ясного. Братья моей Эльзы никогда не отличались особой склонностью к умственным усилиям, потому-то они все сделали карьеру. Вон как глазками впился! Я тебя сейчас удивлю, уважаемый родственничек. Вам всегда казался старомодным чудаком муж вашей сестры. А тут ты и рот откроешь.

Шумахер продолжал переводить:

– У меня дети, я мать и не хочу, чтобы они погибли под деревом. Но такие, как этот ваш Пуговицын, заставят на все пойти. Вот так у вас и партизаны делаются. Полицейским только и надо, чтобы в лес

убегали, барахло им достается. Придет время, они вас предадут, как свою родину предали.

Комендант удивленно смотрел на женщину. Да она его мысли читает! Это или очень хитрый и опасный враг, или же…

Женщина обманывала врага с полной искренностью. То, что они считают виной, – это святое право человека оторвать от лица руку, не дающую дышать. То, что они считают преступлением, – это ее нелегкое право рисковать детьми, идти навстречу самой большой опасности ради той жизни, которая так нужна ее детям.

Комендант все больше верил, что перед ним лишь домовитая наседка, которую глупо принимать за птицу, могущую летать.

– А если мы тебя за ноги подвесим, что ты заговоришь?

Произнес это по-русски маленький эсэсовец. Он поднялся со стула, но остался маленьким. Казалось, оттого он постоянно желчный, что всегда маленький. Женщина обмерла вся, но в лице не изменилась.

– А если мы за ноги тебя?..

Не понимая, о чем говорят, комендант раздраженно взглянул на Шумахера. Тот сказал по-немецки, маленький закричал, подергивая головой, указывая на женщину. Комендант, очень довольный, выжидающе молчал, давая возможность родственничку выкричаться. Потом встал, такой высокий и тонкий перед маленьким. Шумахер обрадованно перевел его решение:

– Можете идти, никто не смеет трогать вас, если вы не виноваты. Пуговицын будет наказан.

Женщина вышла на крыльцо, и ее ослепила белизна снега, солнца, неба.

Приходил Шумахер. Посмотрел на разгром, учиненный Толей и Алексеем, и сказал:

– Ну, ничего, больше он не посмеет к вам прийти. Обещаю.

Постоял в нерешительности.

– А вы все-таки будьте поосторожней, Анна Михайловна.

Мать не стала возражать. Сказала только:

– Вы многим помогли.

Шумахер понял.

– Всех, Анна Михайловна, и я не обогрел. Найдутся, что и на меня в обиде. Думаете, я не понимаю, к какому концу все идет? Давно понимаю. Я дочку здесь схоронил и жену. Господи, как немцы искупят свою вину? Я ведь тоже немец…

– От нас самих все зависит.

– Ох, Анна Михайловна, что может маленький человек, когда тут державы!.. А на хорошем слове – спасибо.

И вдруг сказал:

– Позавчера ездил в Большие Дороги. Думал, выручу своего зятя. Поймали его. Ничего не помогло. Казнили. Чужой человек, но он мой единственный родственник. Теперь – никого.

Сутулясь, пряча голову в воротник, Шумахер вышел на кухню.

– Я расскажу, что он тут натворил. Пуговицына на сутки в холодную посадили. Но радоваться этому не приходится. Он теперь прилипнет к вашему дому. Захочет свое доказать.

Шумахер был прав. Прямо из карцера Пуговицына вызвали к коменданту. Тот был не в настроении после ночной попойки с братом покойной жены, маленьким эсэсовцем. Через него же раздраженно приказал немало озадаченному Пуговицыну: если кто-либо из семьи аптекарки окажется за чертой поселка – стрелять без предупреждения.

Топорище

О приказе коменданта в доме Корзунов не знали, хотя тут понимали, что Пуговицын теперь стал еще опасней. И надо же было как раз прийти какой-то женщине. Она потопталась у порога.

– Вы в аптеку? Идите, я сейчас, – неприветливо сказала ей мама.

Женщина не уходила.

– Я к вам.

– Что значит ко мне?

Запинаясь и заговорщицки блестя глазами, женщина стала что-то шептать.

– Вы с ума сошли! – оборвала ее мама. – Какой там Митька, какие хлопцы! Да я сейчас полицию позову!

Женщина испуганно метнулась к двери. Глаза у мамы большие, лицо красное, волосы растрепались. И голос с бабьим визгом:

– Сейчас же иду в полицию!

Женщины и след простыл.

– А может, и правда, что послали, – сказал Алексей. Действительно, очень уж искренне испугалась женщина.

– А если она от немцев? И даже если оттуда. Как могут они так рисковать своими людьми? Это же надо, совершенно незнакомой бабе поручили. Там, может быть, сифилис у кого-нибудь, а ты расплачивайся семьей.

Толю покоробило: такие слова в устах мамы, да еще о партизанах!

– Сегодня пойду и узнаю. А если уже подсылают эти, тогда совсем плохо. Надо что-то предпринимать.

В этот вечер все было как обычно.

Дедушка курит и глухо кашляет, Алексей кочергой разбивает головни, бабушка спит, как всегда, поперек кровати. Мама в спальне, а Нина за столом с книжицей – старательно шевелит губами, заставляя подрагивать пламя коптилки. Кажется, что сумерки, сгущаясь за окном, становятся все более сильным, властным потоком, который, захватив твой дом, уносит его куда-то прочь от других домов, других людей, других жизней. Только ты и те, что в доме, – остальное все далеко. И комендатура далеко, и немцы... Особенно если перед глазами у тебя книга. Последнее время Толю все больше тянет читать прозу. И особенно в такие вечера. Стихи – чужие, свои – он любит шепотом повторять по утрам, когда только проснется. И тогда он упивается собственным голосом, как токующий глухарь. Утром все голоса громкие – и вокруг тебя и в тебе. Зато в такой вот вечер хочется тихонько, незаметно войти в жизнь других людей, оторваться от того берега, где немцы, бобики, комендатура. Толя читает "Жизнь Клима Самгина". Очень нравится ему, как люди у Горького разговаривают. Будто те давние коробейники: каждый показывает встречному, что у него припасено интересного. И у каждого – неожиданное, свое. Хочется и в свой "короб" заглянуть, поднимается острое любопытство к самому себе, ко всему, что в тебе есть. И к жизни любопытство, особенно той, взрослой, которой принято стыдиться, но которой взрослые, оказывается, совсем не стыдятся...

– А? Стучат?

Это мама из спальни. Она прилегла не раздеваясь.

– Спи, никого, это я, – виновато говорит Алексей и ставит кочергу в угол.

И тут в самом деле застучали в окно. Мать уже в кухне. Долго не может понять, чей голос.

– Коваленок, какой Коваленок?

Действительно, голос незнакомый.

– Да это же батька его, – первый догадался Толя.

Шагнув в темную кухню, ночной гость громко сказал:

– Топор вам оттянул, как просили.

Вышел на свет. Удлиненное кривой бородкой лицо его усмешливое, глаза хитрят.

– Никого нет, – сказала мать и, взяв коптилку, увела Коваленка в зал.

– Моего в город зачем-то послали, – приглушенно заговорил гость,– просил передать, что сегодня не придет. Остальное, сказал, она знает.

Помолчал.

– И как ты не боишься? – Коваленок, как все староверы, женщинам говорит только "ты". – Ну, моему бесу косматому все нипочем, по стене пешком пройдет. А ты баба. Ванюха говорил, у самого была, сказала, в партизаны пойду. Смело это ты, баба!

Толя закрыл дверь за Коваленком. Мама что-то уже выговаривает Алексею:

– Оставь, пожалуйста. Я давно сказала: если надо, я сама позову вас. И просила уже не раз. Это не шутки. А если остановят?

Но Алексей уже и не слушает. Брови тоже ломятся, в глазах деревянное безразличие – теперь что хочешь говори, а он свое знает. Ну, это уже совсем свинство!

Толя запротестовал:

– И я пойду.

Но он только помог Алексею, отвлек на себя мамин гнев.

– Еще этого не хватало, и он пойдет. Я вижу, вам все это игра. Выйди посмотри, ты не одетый.

Это от него откупаются. Хотя, конечно, и на том спасибо. Толя вышел из сеней, небрежно насвистывая. Нинка уверяла, что видела вчера, как ставня открылась, а потом сама закрылась. А вдруг и теперь кто-то под стеной затаился? Слева привычный, но какой-то беспокойный шум придорожных сосен. Где-то в той же стороне – как друг – посаженный Толей в огороде клен. Темно как!

– Кто? Стой!

У калитки – человек, знакомо поскрипывает обмерзшая кожанка.

– Кто, спрашиваю?

Клацнул взведенный затвор.

– Почему кто? Я.

Круглоголовая фигура подступила ближе и тотчас отступила, потому что хозяин вовсю занимался тем, ради чего он, очевидно, и вышел.

Фигура удалилась в сторону шоссе.

Сердце у Толи колотилось. Случайно Пуговицын оказался около дома или он все время был тут? Может быть, старого Коваленка уже выследил.

Мама тоже очень встревожилась, торопливо сняла жакетку, приказала Алексею сбросить поддевку.

Ушли, когда часы отстучали два: сначала Алексей, потом мама. Около школы они должны встретиться.

Толя сидел в столовой за книгой и не читал, а думал о том, как они идут. Он и боялся за них, и завидовал брату. Вот они уже в большой хате, освещенной потрескивающей лучиной. Входят люди, неровный свет красно-черными отблесками играет на одежде, на автоматах. Алексей сидит в сторонке и молчит. Толя не молчал бы…

Скрипнула ставня. Толя спиной ощутил чужой взгляд. Он не оглянулся, но знал, что ставня приоткрыта, чувствовал это, как холод. Захотелось сползти со стула, по-детски вскрикнуть: "Мама!" Но Толя сидел, не двигаясь, потом поднялся и сказал будто бы в спальню:

– Сейчас ложусь, мама, кончаю.

Оттого, что он говорит *никому,* ему сделалось еще страшнее. Ставня с легким скрипом закрылась. Сердце стучало.

А что, если Пуговицын выследит маму и Алексея, когда они будут возвращаться? Немного обождав, Толя вышел во двор. Ну и что тут такого, если ему еще раз нужно? Очень долго искал подходящее место в палисаднике, за дом пошел. Ага, вот тут под окном топтался Пуговицын! Следы по-волчьи уводят куда-то в поле.

Толя ждал, прижимаясь спиной к холодной стене. Чувствовал, что замерзает, но ему страшно было пойти и одеться: а что, если в это время вернется Пуговицын? Вернется и, затаившись, будет следить за Толей, поджидать тех, кого ждет Толя. Дурак, обул сапоги на босу ногу. Холодная кожа жжет пальцы. Надо шевелить пальцами, лопатками. Минька, тот умеет и ушами двигать, ему и тереть их не пришлось бы.

Время остановилось. Толе начинало казаться, что он всегда стоял здесь в холодной темноте и всегда будет стоять так.

Небо посветлело над дубами, и тогда стало ощутимо, что прошло много времени. Краски неба, вначале грязные, становятся все прозрачнее, нежнее. Уцелевшие, не срубленные дубы образуют самые необычные рисунки. Вот медведь на задних лапах, он испуганно отшатнулся от нахохлившегося большого кота. Чем больше светлеет небо между комендатурой и домом Жигоцких, тем больше тощают медведь и кот. Постепенно в медведе угадывается крыса с подтянутым голодным животом, насаженная, как на иглу, на сухую вершину. Теперь понятно, почему этот зверь так испугался кота… У Жигоцких вдруг заорал петух. Никто ему не отзывается: бедняге,

должно быть, кажется, что он оглох: орет все более отчаянно, испуганно.

Казик проснулся от сильного, злого стука в заднюю, давно заделанную наглухо дверь. Батька в белье прижался к стене и выглядывает в чуть светлеющее окно.

Партизаны! Сейчас бросят гранату, может быть, уже изготовились. Казик выкатился из-под одеяла, метнулся в кухню, за печь. Тут что-то живое.

– Матка бозка!

Это она, старуха, навела партизан на дом! Кто-то уже носком сапога, прикладом бил в дверь. Казик лихорадочно соображал: могут бросить в это окно, вот сейчас дзинькнет стекло... Давно говорил, чтобы ставни сделали. В спальне Лена зовет его. А, всем конец!

Казик сам чувствовал, как перекошено лицо у него, и от этого ему было еще страшнее, хотелось закричать, заплакать. Что им надо? Настоящие бандиты! На немцев вас нет, а тут нашли врага. Он вдруг ощутил резкую боль и какую-то детскую расслабленность в самом низу живота.

– Открывай, куркули чертовы!

– Что вам надо? – испуганно спрашивает старик.

– Полиция не в гости ходит.

– Ах, это вы, сейчас, сейчас. Со двора надо, дверь там.

– Понаделали дверей! – донеслось с улицы.

Поняв, что это полиция, Казик почувствовал огромное облегчение и одновременно легкий стыд за это облегчение. Но тут же новый страх пришел. А что, если это за ним? Батька открыл дверь, старуха бумажкой зажгла от углей коптилку. На пороге – Пуговицын. Злым, долгим взглядом смотрит на дымный, потрескивающий огонек.

Пуговицын и до войны не любил этих Жигоцких: обставились гумнами, погребами, куркули! И теперь он ненавидел их за то же, хотя одновременно ругал Советы, колхозы.

Он и бургомистра особенно ненавидит потому, что Хвойницкий – бывший кулак. Как нищий язвы, сует в глаза свое раскулачивание и лезет наперед. А жаль, что не сообщил про него "куда следует", когда можно было. Да ведь такого и не замечал: сидел он, как мышь под метлой. Такие мало кого интересовали: небольшая заслуга – разоблачить простого рабочего. А теперь живи и осматривайся: Хвойницкий не простил Лапову довоенного, чуть не подсадил в петлю его, затаил он зуб и против Пуговицына – это как дважды два...

– Докладывайте, господин Жигоцкий.

Сказал первое, что на ум пришло. Казик глядел в красное, пьяное лицо, хотел удивиться, возмутиться: ведь все это слышит и Лена в спальне. Но промолчал. Оттого, что Пуговицын одет, а он в белье, Казик чувствовал себя особенно беспомощным.

– Про́ше сядать, – пропела старуха.

Но Пуговицын стоял будто изваяние.

– Прозеваете и этих, плохо будет.

От недавно пережитого, от того, что он в кальсонах перед одетым Пуговицыным, от того, что живот гонит его на двор, а ему нельзя, Казик озлился. Истерически взвизгнул:

– А при чем тут я? Вы знаете, кто они такие, что собираются делать, при чем тут я? Я же не могу их арестовать.

Бессмысленный вначале разговор становился интересным. Пуговицын сел на табурет и стал снимать допрос, точно за этим и явился.

– Они тоже в лес собираются?

– Откуда мне знать? Вещи сбывают, а что я знаю?

– С шурином своим связь держат?

– Ну, что вы меня спрашиваете? От меня они все скрывают.

– Скрывают? Ага!

На столе уже стояла поллитровка самогона. Ожидая, пока появится закуска (у этих куркулей есть что выставить!), Пуговицын продолжал допрос.

Толя все стоял под стеной. Скоро рассвет, а их нет и нет. Наконец послышались шаркающие шаги – похоже, что Алексей. Испугался, когда Толя выскочил из своей засады.

– Тише, он опять ходит, – непослушными губами прошептал Толя.

Алексей юркнул в сени, Толя за ним. И оба к окну. Быстрые, легкие шаги.

Тепло-тепло стало у Толи где-то внутри, хотя зубы стучат еще сильнее.

Толя сказал маме про ставню и, между прочим, про то, что он, Толя, ждал их на улице.

– Вот так, голый? Ложись сейчас же в кровать.

Весь дрожа, Толя юркнул под одеяло. Алексей тоже лег и сразу потянул все одеяло.

– Разлегся тут.

– Ну что вы как бирюки? – укоряет мама, присев на край кровати.

– Да мы так, – с радостной готовностью оправдывает брата Толя.

– Холодный какой. Ты долго стоял, сынок?

Это, кажется, для мамы важнее, чем та опасность, которая ходила возле дома. Оттуда, из лесу, мама принесла какое-то спокойствие.

– Встретили нас хорошо, – стала рассказывать она, – расспрашивали. Просят еще поработать на месте. Когда будет особенно трудно, обещают забрать. Запасаются медикаментами, весной ожидается что-то. Какое-то большое наступление на немцев.

Алексей авторитетно пояснил:

– Всеобщее.

Когда мама ушла, Толя потребовал от Алексея подробностей. Но тот не хочет да и не умеет расписывать. Ну, подошли, ну, поднялись с земли двое в маскхалатах, и в хате ждали двое. (Хорошо, что хоть фамилии запомнил: Кучугура, Сырокваш.) Расспрашивали, угощали самогонкой. Крепкая! Этого он мог и не говорить: конечно же у партизан все особенное.

Тоже увидел: встали, сели, говорили, самогон… Будто к Лесуну в гости сходил. И уже храпит. Толя сердито двинул брата локтем и, закинув руки за голову, долго лежал с открытыми глазами. Он вынужден был сам дорассказывать себе о встрече с партизанами.

Утром Толя спросил:

– А про *этого* сказали им?

Мать, нахмурившись, ответила:

– Коваленок им говорил. И у нас спрашивали.

– Доберутся! – с откровенной жестокостью воскликнул сын.

– Я не хочу, чтобы из-за нас.

– Жалеть такого!

– Я просила не трогать его. Да и повредит это.

– И напрасно, – с мужским превосходством заявил младший.

Алексей молчал.

Встреча

Поселковый базар. На выбитом в снегу пятачке толкутся люди. Это не городской базар, люди знают друг дружку в лицо, и потому нет зазывных голосов, торгуют деловито, молча. У женщины в руках бутылка молока, у другой – миска с картофелем. Лишь старичок, щуплый и маленький, тоненько покрикивает: товар его плохо заметен.

– Сахаринчик, немецкий сахар, грамм на ведро воды!

И старуха Жигоцкая вынесла товар: держит на ладони поллитровую баночку.

Две девочки подбежали, смотрят. Старуха сладко лизнула стеклянную стенку баночки.

– Мёдик, сладенький.

Подошла Надя – это ее девочки.

Старуха Жигоцкая видит, что и Корзуниха здесь. Надя двумя руками отгребает детишек от старухи.

– У тети есть сынок, он сам скушает этот мёдик.

Звучит это: захлебнуться бы ему! И старуха это услышала. Улыбочка сползла с лица ее.

– И тебе он дорогу переступил? Сами не живете и другим мешаете.

Анна Михайловна слушает издали, на лице ее – смертельная усталость.

– Анна Михайловна, – неймется Наде, – добрая бабушка сладеньким торгует. Не хотите?

Вдруг решившись, Анна Михайловна подошла.

– Я вас прошу, – тихо попросила она, – сделайте, чтобы сын ваш не приходил. Так и для вас будет лучше.

– А вы не приманивайте, – ревниво и непримиримо говорит старуха.

– Да это он ко мне липнет, – объяснила Надя, – привык к мёдику.

– Сама своих годуй, – отрезала старуха.

– Буду вашей невестушкой. Самой любимой.

У старухи аж мед потек на руки. Облизывая края банки и руки заодно, старуха бушует:

– Неве-естушка! Сын мой им плохой! Вы еще своих выгодуйте таких умных, красавцев, таких вежливых.

На лице старухи вдохновение.

– ... Никому дороги не переступит, каждому слово скажет, объяснит, зарплату хорошую брал, у него уборщицами такие, как ты...

Сеть

Партизаны обстреляли колонну машин. Только несколько прорвалось к поселку. В комендатуру сносят раненых, убитых.

Толя схватил ведра и пошел через шоссе. Ему необходимо полюбоваться на результаты партизанской работы. Из-за машины выбежал немец и, что-то крича, больно схватил его за плечо. Толя отскочил в канаву и постарался побыстрее уйти. Он видел, как два немца остановили женщину с подростком и стали заталкивать их в

кузов. Толя шмыгнул в чужой двор. Теперь будут хватать, кто под руку попадется. Надо переждать.

– Павла убили, – мрачно сообщил Алексей, едва Толя переступил порог кухни.

– Пропадут теперь и Маня и девочка, – плакала мама, – оставил их одних.

Странные они – женщины. Вот уже упреки Павлу за то, что его убили.

– Бургомистр меня встретил и говорит: "Убили возле Больших Дорог вашего шурина".

Дурень, наверное, ожидал, что мама ох как обрадуется.

– Скорее бы в лес нас забирали. Не могу же я так без конца. Чуть что, нас схватят, – в отчаянии проговорила мать.

Прибежал Казик:

– Не уберегся Павел. Он всегда был неосторожен. Я ему говорил: спеши медленно…

Разливается, а самого так и распирает от чувств совсем не печальных. Мама не сдержалась:

– Кое-кому радоваться можно.

Понимая, что рискованно дразнить этого опасного труса, женщина все же мстила ему за все пережитое по его вине, мстила чисто по-женски и не могла удержаться от этого. Перед ней был не Пуговицын, которого можно лишь ненавидеть и опасаться. Тут был человек, который, кажется, все понимает и чувствует так же, как ты, твоими словами говорит о фронте, о немцах и который тем не менее опасен, как собственная нога, налитая гангренозным ядом. Этот человек не просто предает. Он еще старается остаться правым и чистым перед кем-то и в чем-то более правым, чем тот, кого он предает. Он давно весь приготовился к тому, чтобы снова начать жить "по-человечески", когда немцы будут изгнаны. Вот только переждать войну. Свою готовность снова войти в ту жизнь, ради которой другие идут на смерть, человек этот считает такой заслугой, которая поднимает его над многими. Как же, он ни на миг не усомнился, что немцев разобьют, никакой ставки на немцев никогда не делал! Любой ценой, но войну надо *пережить.* Потом все встанет на свое место. Вернутся и довоенные оценки всему и каждому. Для таких, как эта Корзуниха, теперь, может быть, самый подходящий случай постараться доказать, что они тоже советские люди. Он, Жигоцкий, не нуждался в этом до войны, не нуждается и теперь.

Во взаимной ненависти женщины и человека, предающего ее и ее семью, было что-то, напоминающее продолжение давнего,

застарелого спора. Пуговицына она ненавидела просто. Сына Жигоцких ненавидела как врага, который хотел бы по-прежнему оставаться более правым, чем она, перед той жизнью, которая будет, ради которой она стольким рискует.

Вот почему не сдержалась, не смогла скрыть свои чувства Анна Михайловна как раз тогда, когда ей лучше было бы промолчать...

– Но может быть, рано радуются некоторые...

Это была чисто женская, но угроза. Казик сделал вид, что не понял. Закурил у деда, весело поговорил с бабкой о ее плохом здоровье. И ушел.

Дорожку к школе замело. Ветер сердито расписывается снегом, который взрыхляют валенки Казика. Зима, кажется, усиленно опорожняет все свои кладовые. Пока добирался домой, окончательно решил, что будет делать. "Павла нет!" – ликующе подсказывала память. Но пока остаются эти, ничего не изменилось. Пока остаются...

Теперь Казик все делал легко и обдуманно.

Уловив момент, когда батьки и жены не было, сказал старухе:

– Собрались уже в лес. Могут даже сегодня уйти. Придут наши, будут на нас всяк говорить.

И даже не добавил: "Вот что вы наделали!" Старуха быстро и как-то торжествующе взглянула на сына.

Спал Казик спокойно. Утром долго брился. На кухне слышался необычайно умиротворенный голос старухи. Ласково, даже страдальчески разговаривает она сегодня с батькой, с Леной! Так и просит: ну, зачем нам жить не по-родственному, когда кругом столько плохих людей? Казик понял: была! За завтраком старуха навязчиво ловила его взгляд. Когда он надел полушубок, спросила:

– Куда ты, Казичек? И Ленусю взял бы, а то она за работой у нас света не видит.

Высокая беловолосая невестка удивленно и обрадованно взглянула на свекровь.

Казик пообещал скоро вернуться. Он направился к Янеку по дальним переулкам, только бы не проходить мимо дома Корзунов. Долго играл с Янеком в шахматы. Даже выиграл две партии. Много говорил с тугодумом Барановским о фронте, предсказывал, что летом конец войне. О конце войны Казик рассуждал теперь с удовольствием, хотя еще вчера внутренне сжимался от тоскливого чувства, если заходила об этом речь.

Вбежал младший сын Барановских, пошарил в шкафчике.

– Что ты лазишь? Будем обедать, – простонала из-за ширмы Барановская, всегда больная женщина.

– Ай, я у Толи поел. Едем по дрова с ним. Санки возьму и вот – преснак.

Казик понял главное: у Корзунов ничего не случилось. Обратно он пошел по шоссе, чтобы самому посмотреть на их дом. К кому ходила старуха, с кем говорила? И что все это может означать? У себя дома Казик старался остаться наедине со старухой. Не выдержав, глазами показал на дверь и вышел первый.

– Кому вы сказали? – уже в открытую спросил он старуху, когда та выползла из хаты с помойным ведром. Сообразив, что случилось что-то, Жигоцкая испуганно забормотала:

– Этому... кацапчуку, Коваленкову сыну. И еще полицейский был. Они сказали, что все знают, что следят. И приказали, чтобы ни-ни никому.

Казик вдруг что-то понял, страшная догадка затрепетала в нем.

– Вы сказали им, что... ну это, кто вас послал?

– Не... не сказала.

Казик понял, что сказала.

Случилось то, чего следовало бояться с самого начала. Корзуны не одни, за ними в поселке еще кто-то. Многие, может быть, очень многие смотрят на него их глазами, видя в нем немецкого холуя, предателя. Казика пронзил холодный ужас: он словно ощутил, как упруго дрогнула чуткая сеть, которой он коснулся неосторожно.

Как перед концом, в памяти опять пронеслись события последних месяцев. Да, эта семья лишь узелок целой сети. И какая крепкая должна быть эта сеть, если Корзунов и после ухода Павла не тронули. Виктор же вот кем оказался. А переводчик – попробуй пойми этого Шумахера! Или Коваленок. Казика всегда смущали глаза Разванюши – отчаянно веселые и одновременно внимательные, оценивающие. Но раньше Казик боялся, что он подозревает в нем партизанского связного. А оно, пожалуй, совсем наоборот! А что, если и Пуговицын с ними? Черт его разберет, кто он такой. Возможно, решил уже замаливать грехи.

Накинув полушубок, Казик вышел за ворота, пошел по поселку. Он не мог сидеть в четырех стенах. Что-то надо было делать. Но что делать?

Двое рабочих тащат санки с дровами. Казику показалось, что они внимательно смотрят в его сторону. Он поспешно поздоровался, ему не ответили. А тот, который, согнувшись, подталкивал санки, еще раз, как-то, под себя, оглянулся на Казика.

Женщина снимает с забора затвердевшее на морозе белье и тоже присматривается к нему. Очень настойчиво. Что в нем любопытного?

Казик повернулся и почти побежал домой.

Кучугура прошел

– Кучугура ходит, – таинственно сказал Алексей, наблюдая за кем-то.

– Какой Кучугура? – Толя бросился к окну.

Из аптеки к шоссе идет высокий человек в коротком ватнике, на ногах матерчатые бурки с бахилами из красной резины. Даже издали видно, какой бровастый он. Вышел на мостик, посмотрел вправо, в сторону комендатуры, и медленно направился туда, прижав ладонь к щеке.

Вечером мама приказала изнутри завесить окна в спальне. Постучали – сама открыла дверь.

Явился Коваленок. Разванюша необычайно оживлен. Разгуливает по спальне весь в ремнях, гранатах, тонкие усики чернеют лихим росчерком, сапожки с белыми отворотами.

– Дадим заключительный концерт, Анна Михайловна, и до свидания, Лесная Селиба.

Мама светится несмелой радостью и тревожно посматривает на задрапированные одеялами окна. Поинтересовалась:

– Что там было? Я видела, как обыскивал его часовой.

– Заметили, как подставлял он немцу карманы? А сзади за поясом у него пистолет был.

– Правда?

– Кучугура всегда так: перед началом сам пройдет по гарнизону. Прошел Кучугура – труба гарнизону. Комендант сам его больную десну пощупал. Я подтвердил, что родня жинки моей. Дали пропуск в город. План приказал нарисовать. У вас есть чем?

На Толиной бумаге, его карандашом, в его доме наносится план укреплений и караулов! Для партизан!

Там, в комендатуре, в полиции, не подозревают, что сейчас вот на Толиной кровати готовится бумажка, по которой их уничтожат. По-детски наслюнивая карандаш, Коваленок бормочет:

– Здесь, в большом бункере напротив Жигоцких, дежурят два немца с пулеметом... Ну, а этот все ходит к вам? Я перво-наперво загляну к нему. Вы как хотите, а я загляну. Учи-итель! Послал свою...

"Мои Казю все узнал". Хорошо, что, кроме Комлева, никого не было в полиции.

Утром собрались на работу пораньше, чтобы только не пришлось идти с Жигоцким. Но это Алексей все мудрит, ему не хочется видеть Казика. Толя же с удовольствием наблюдает, как извивается тот говорун. Толя и на немцев, бредущих к мосту на смену ночному караулу, глядит не без удовольствия. "Идите, идите на свой пост, он уже нарисован на бумажке". Сзади догоняют полицаи, надо и на них полюбоваться.

Вот с Толей поравнялся коротконогий, точно урезанный, Фомка. Он из староверов, очень рыжий. Дурак, каких мало. Уставился на Толю, а Толя нарочно на него уставился. "Ты это что?" – удивленно и угрожающе спрашивают глаза полицая. "А вот ничего, смотрю на тебя, олуха. Или нельзя уже?"

Фомка прошел вперед, Толя подготовился встретить следующего. Ещик ползет, ноги в большущих валенках поднимает и ставит так, словно вязкую глину месит. Валяй дальше, вояка!

– Идем быстрее, – сердится Алексей, – что ты ползешь?

Но надо обождать, пропустить мимо себя задних. Среди них есть и свои. Разванюша. Этот сразу с двумя разговаривает: с идущим впереди Ещиком и с Комлевым, который шагает сзади. Кричит про какую-то Анфиску. Ещик только хыкает, а Комлев удивляется:

– Ещик? Не может быть!

Глаза у Разванюши такие, что припоминается дедушкина поговорка: "Из-под сучки яйцо выхватит". Этот выхватит! Может быть, завтра пальнет Ещику или Фомке прямо в лицо. А сегодня хохочет с ними. Поравнялся с Толей, встретился взглядом и открыто усмехнулся ему: "На работу идешь? А я вот с ними – на пост". Идущий вразвалку, здоровенный Комлев не принял многозначительного Толиного взгляда: "Ты что так смотришь? Не знаю, что ты там знаешь, мне это не интересно". Толя даже смутился, точно постучался в дом к знакомому, а его не впустили. А почему, собственно, должны впускать и Толю? Потому лишь, что он чей-то там сын? И правильно. Если начнут так улыбаться свои своим, со стороны быстро раскумекают. Странно даже, что он, Толя, так много знает. Поэтому даже несерьезным порой все кажется и как-то не верится, что немцы ни о чем не догадываются. А что, если знают и вот в эту минуту и идет разговор про маму, Коваленка, про этого Комлева?.. Толя всегда гордился тем, что ему известно многое, о чем Казик, например, даже не подозревает. Подумать страшно, что будет, если где-то оборвется. Вспомнился протяжный крик человека, которого убивали палками во

дворе комендатуры. Они то же делают и с женщинами... Толя уже с тревогой посмотрел на косоглазого полицая – брата бургомистра. А следом бежит Захарка: внимательно вглядеся в лица сыновей докторши и даже улыбнуться не забыл.

Возможно, что Толя был прав в своих опасениях. Подпольная сеть в поселке складывалась несколько стихийно, она как бы являлась продолжением в новых условиях довоенных взаимоотношений, проверенных в первые месяцы войны и основывающихся на человеческом доверии кого-то к кому-то. Все перемешала война. Но чем сильнее будешь встряхивать решето с неочищенной рожью, тем скорее и лучше отделятся крупные зерна от всякой трухи. Такое разделение произошло и в поселке. Как-то сама собой выросла стена скрытности, отчуждения, которая отгораживала жителей не только от оккупантов, но и от всякого, кто оказался предателем или на кого нельзя было положиться. Люди, ненавидящие оккупантов, борющиеся, не жили на виду у врага, они жили за стеной общей народной конспирации. И там, за стеной, они могли позволить себе знать друг о друге больше, чем допускают правила военной конспирации. Время от времени в стене этой могли появляться проломы: каждый предатель – брешь, через которую враг может прорваться в крепость. И это будет стоить немалых жертв. Но перед врагом снова встанет стена. Чисто военная конспирация в поселке, пожалуй, поставлена была неважно. И если еще не случилось большого провала, то лишь потому, что выручала стена общей, народной конспирации, которая так широко, на целый сельсовет, действовала, когда женщины кормили военнопленных в аптеке.

Толе всегда нравилось ходить по шоссе в сторону моста, к речушке. Летом здесь тяжело нависают над асфальтом старые клены, белый придорожный домик вылущивается из зелени, будто орех, черная лента дороги то вниз потечет, то вздыбится, то опять – вниз, плавная, уходящая. Теперь тут голо, пусто по сторонам. По шоссе ходят немцы, полицейские какие-то, возле моста внизу – караульный барак, обнесенный стеной из бревен и земли. Везде колючая проволока. Немец по мосту прогуливается, показывает глазами: "Проходи, проходи, шнеллер". Шнеллер так шнеллер, черт с тобой, недолго ты еще поторчишь здесь! На километровом столбе значится: 674. Столько – до Москвы. До фронта поближе.

Оказывается, Казик уже на работе. Правда, его не видно. У Жигоцкого "медвежья болезнь", согласно диагнозу Повидайки, и он не вылезает из-под мостика.

– Решили, знаешь-понимаешь, наши полицейские и Казикова батьку пощупать, – тараторит Повидайка. – Ну, ведомо, не дурни, знают, где можно разжиться медком. Я и говорю – с перепугу это у Казика приключилось.

Подошел Казик. Совсем на себя не похож: позеленел весь, глаза и щеки ввалились. Криво, неуверенно как-то улыбается:

– Повидайке нашему все шуточки. Вот подержали бы вас под дулом пистолета, как нас, целую ночь. Гады проклятые. Ворвались ночью…

Казик взялся рассказывать, как трясли их полицаи. Толя демонстративно ушел. Стал сбрасывать в канаву хрусткий, закрепший на утреннем морозце валик снега, который наскреб снегоочиститель. Дойдет до старого клена, а затем посидит.

Снег скоро будет таять. Солнце вон уже какое! Вроде и не выше ходит, а лучистее стало, и небо, натертое за зиму тяжелыми тучами, сделалось такое чистое и синее. Толстущий клен растет почти в канаве. Так и кажется – соступил с дороги когда-то перед лихой тройкой, да и стоит на спуске, все не решаясь приблизиться к дороге: умчалась тройка, пошли гурты скота, а потом тесно стало от крикливых балаголов-возчиков, все гуще пошли машины, а тут вдруг – танки… Так и стоит в сторонке вековой клен. Толя приткнулся к нему спиной. Снег сегодня будто угольной пылью присыпан. Только радужно блестят на нем мелкие искорки да пылают нестерпимой чистотой бугорки и ямки. Под ногами – вокруг ствола – черное пятно земли. Неровное, зубчатое коло[11] весны! Лоскутья полусгнивших, облитых тающим льдом кленовых листьев, сучки, соломинки – так радостно видеть весь этот весенний мусор. Толя присел на корточки, взял в губы обмерзшую, похожую на леденец, палочку. Вот у этого бугристого сучка, холодно-горького на вкус, своя жизнь: он держал большие многопалые ладони-листья, потом лежал здесь, теперь он у Толи в руке. Бросят его, он будет опять лежать так, а не иначе. Война, у людей свои заботы, немцы ходят по шоссе, их выгонят, а сучок будет лежать там, куда бросит его Толя. А где в это время окажется он, Толя? Толя швырнул палочку в канаву и тут же поймал себя на мысли: там она будет лежать, как будто именно там ей и надо лежать. А почему именно там? Толя может взять ее и бросить в другое место или даже раскрошить в пальцах. Что-то заставило его лезть за палочкой в снег. Недоумение и протест пробуждала в нем мысль-

---

[11] Круг *(бел.)*.

догадка, что в мире много такого, что не имеет отношения ни к войне, ни к нему, Толе…

Пойти, что ли, побросать снег, а то Голуб уже посматривает сюда? Подойдет человек, у которого часовой на мосту проверяет документы, тогда Толя возьмется за лопату. Солнце сегодня какое-то гладящее, таким оно бывает лишь на исходе зимы. Кажется, что оно светит не прямо, а отраженно от голубого купола неба. Когда солнце вот так – в глаза, в лицо, словно один на один с ним остаешься, ни о чем не хочется думать, закроешь глаза, и кажется, что ты весь растворяешься в чем-то теплом… Толя открыл глаза и вдруг увидел, что человек, которого останавливали на мосту, почти рядом. Толя сразу узнал его: Гулис! Один только раз он видел, как Гулис подходил к Павлу, но Толя хорошо знает, кто он, этот красивый, как женщина, примак из Зорьки. Павел намекнул однажды, что и Гулис участвовал в похищении Шмауса и в попытке подорвать бетонный мост с помощью Толиных бомб. Видимо, все в Толе кричало: "Знаю, свой, я *тоже*! – потому что Гулис даже приостановился. Толя выбежал на шоссе, неуверенно пожал протянутую ему руку. Чтобы его признали, сказал:

– Про Павла вы слышали? Возле Больших Дорог, говорят…

– Ах, это! – Красивое матовое лицо Гулиса озарилось улыбкой, блеснули белые ровные зубы. – Кстати, привет вам от Павла. Смеется, что его похоронил бургомистр.

– Павел? Это правда? А у нас тут сказали…

Толя готов был бежать домой. Его радость не была полной, пока об этом ничего не знала мама.

Толя не мог не вспомнить в этот миг и о Казике, но уже по-другому. Оглянулся в его сторону. Вон, оперся на лопату и смотрит сюда.

– Не стойте долго, – зашептал Толя, – этот на Павла доносил.

– Вон он какой. Ну, бывай!

Кивнул головой и пошел. Казик сразу же принялся сбрасывать снег в канаву. Поравнялся Гулис с ним – он вдруг снова оперся на лопату. Конечно, чтобы посмотреть в лицо. И в спину проводил взглядом. Направился к Толе. Не выдержал!

– Это кто?

"Ишь чего захотел!"

– Да так себе, знакомый.

"Как бы тебе хотелось узнать, кто он, о чем говорили! Что ж, может быть, и про тебя. Все может быть".

– Да, – протянул Казик, – скоро и нам не усидеть. Все пойдем. Придется погибнуть, как Павлу, что ж – война.

Толя помалкивал: "Ну-ну, скажи еще что-нибудь!"

– А ты бы решился? – вдруг спрашивает Казик и в глаза смотрит.

"Ах ты, зеленая морда, куда заехал!"

– Не знаю, – немного теряясь перед наглостью Казика, отозвался Толя. Пуговицыну он, конечно, сказал бы "нет", прежнему Казику – "да", а этому что сказать?

На работу Жигоцкий больше не вышел. Прибегала в аптеку Лена просить для мужа порошков, которые бы "закрепляли". Толя со злорадным смехом рассказал Владику про диагноз Повидайки. А доктор Владик принял всерьез "медвежью болезнь".

– Бывает, это нервное. Даже умирают от такого поноса.

– Ему как раз, – вырвалось у Толи.

Мама предостерегающе посмотрела на него. Толя прикусил язык. Он все забывает, что и Владика надо опасаться. Теперь мама с сыном Грабовской не откровенничает, а раньше нет-нет да и прорывалось у нее. На Танькиных крестинах она долго и горячо убеждала Владика:

– Ты мне, Владичек, как свой. С хлопцами вместе росли, и с мамой твоей я дружила всегда. Я хочу предостеречь, не обижайся, я старше и больше пережила, видела. Нельзя теперь ошибиться в главном, помни это...

– Вы для меня, Анна Михайловна, и Иван Иосифович... – Владик начал вспоминать о том, как Толин отец помог ему, когда его, сына "врага народа", не принимали в техникум, стал "размазывать", как делают пьяные.

– Ты знаешь, – перебила его мама, – у меня тоже по-разному было в жизни. Я за стариков обижалась, и за братьев думалось... Но прошлое – позади. Главное – дети. У них будущее было, а это для меня, для каждой матери – главное. Своя родина – как мать. А чужак всегда чужак. Можешь на людей обижаться, на кого хочешь, но не на родину. Запомни, Владичек, я тебе только хорошего желаю.

Теперь мама о таком с Владиком не говорит.

Конец и начало

Сегодня Толя уйдет в партизаны! Ночью подойдут из лесу. И комендатуру, конечно, разгромят. Толя станет партизаном. И тогда все кончится. Нет, все начнется. Начнется необычайное!

Сделалось вдруг страшно: а что, если как раз сегодня немцы схватят всех? Так люди, пробыв в завалившейся шахте не одни сутки,

видимо, с особенным страхом думают о непрочности креплений именно в те часы и минуты, когда им уже слышны голоса друзей, пробивающихся навстречу.

Если немцы о чем-нибудь догадываются, если есть предатель – несчастье произойдет именно сегодня. Бросить бы все, бежать, пока можно. Лес – вот он, рядом. И на работе, вдали от поселка, легче было бы дожидаться ночи, но сегодня воскресенье. Или это нарочно к выходному приурочено, чтобы можно было собраться? А что тут собираться? Шапку на голову и пошел. Кучугура так и сказал маме при последней встрече:

– Берите только ложку.

Но мама вслух соображает, что взять из еды, что из тряпок захватить. Но на то она и мама.

За медикаментами к аптеке подъедут сани. Алексей будет подавать из окна то, что приготовлено мамой и Надей. Толя же понесет в чемоданчике хлеб и пожелтевшее сало. Как же, он младший! Но с мамой лучше не спорить, особенно сегодня.

Решено отправить дедушку засветло. Он пойдет будто бы в гости в деревню. Меньше возни ночью будет. Дрожащими руками надевал старик чистое белье, с тяжелым кряхтеньем навертывал новые портянки. Дедушка ухитрился ни на одной войне не побывать, все выходило – между, а тут на тебе – в восемьдесят лет надо идти в лес. В блеклых глазах его печальная готовность: что ж, ради спасения внуков он готов. Мама объяснила: уходим, иначе хлопцев в Германию увезут. Долго мама растолковывала ему, как он должен идти, что говорить, у кого дожидаться ночи.

Стоя у окон, провожали дедушку-партизана. В старом папином пальто с каракулевым воротником, в тяжелых сапогах, в вытертой ушанке, туго, как у ребенка, завязанной под бородой, дедушка похож не столько на партизана, сколько на богатого хуторянина, собравшегося в церковь. Вышел за калитку – высморкался. Вытер бороду, усы. И глаза. Толя заподозрил, что на глазах у дедушки слезы.

Отправив деда в партизаны, бабушка начала перебирать свое добро в сундуке. Взять, что получше? Но лучшее у старухи то, что она приготовила для последнего обряда, для смертного своего часа. И она взялась надевать пахнущее сундучной пылью старомоднейшее черное платье с узенькими рукавами и какими-то крылышками на плечах. Платье длинное-длинное, ботинки закрывает.

Мама каким-то странным взглядом посмотрела на старуху. Промолвила неожиданно мягко:

– Свяжите все это в узел. Хлопцы... вот Толя понесет. На себя наденьте, что потеплее. Вы туда *жить* идете.

В спальне подняли две доски, в яму, приготовленную еще летом, опустили бабушкин сундук. Начали швырять в него, что под руки попадало. Мама тихо сказала:

– Наживали с папой...

Толя положил и свои книги. С тоскливым сожалением подержал в руках тяжелый однотомник Пушкина. Найдут сундук, на барахло у бобиков нюх отменный. Нет, Пушкин тоже уйдет в партизаны. И тетрадку с собственными стихами, конечно, прихватит Толя.

А до вечера еще целая вечность. Что, если именно в эту минуту в комендатуре, в волости уже готовятся, что, если там уже знают?.. Мама не выдержала, пошла навстречу опасности – к бургомистру. Этот ничего скрыть не умеет, когда дело касается "бандитов". Вернулась в сопровождении волостного секретаря – бородатого родителя Афанасия, того самого Афанасия, что несколько раз приходил с Владиком играть в карты. Бородач оставил в сенях полмешка муки. Уходя, сказал:

– Месяц будете с блинами.

Лица у домашних были, вероятно, глупейшие, потому что мама даже рассмеялась:

– Бургомистр прислал. Я расстоналась там, что нечем семью кормить. И вот... с блинами мы теперь.

Мама, кажется, находит уже что-то веселое в роли, которую до этого играла с таким напряжением. Похоже, что и она думает сейчас о том же, о чем думает Толя: ох и дураками покажутся сами себе и друг другу бургомистр и комендант завтра! Если, конечно, доживут до завтра. И правда, мама даже улыбнулась, когда Толя с хохотком сказал:

– Придут завтра на блины!

Но тут же посерьезнела. Будто сама удивилась своему настроению. Как можно будничнее объяснила:

– В случае чего, можно будет сказать: "Если мы собирались в партизаны, зачем бы тогда я ходила к вам муки просить?"

Мама, кажется, способна верить в вещи еще более наивные, чем записка Павла. И все-таки она тогда всех их победила! Только бы сегодня не сорвалось...

Толю отправили сбросить сено корове.

– Побольше, все равно, – сказала мама.

Раз все равно полицаи заберут корову, тогда зачем эти хлопоты? Но пришлось идти. Глядя с чердака на старательно жующую

Малютку, Толя подумал, что хорошо бы и ее увести, а в сено насыпать горячих углей, устроить пожар замедленного действия. Вспыхнул бы, конечно, и дом, а там и до комендатуры недалеко.

Старик медленно идет вдоль забора, тяжело отдувается в усы, глаза у него слезятся, видимо, от холода. Переходя поперечную улочку, он всякий раз останавливается, недоверчиво смотрит направо, налево. Боится машины. Он давно, с самого начала войны, никуда от дома не уходил. Годы отодвинули его в сторонку от того, чем живут все. Этих всех он мысленно объединяет в одном понятии и слове: молодые. Молодые – это те, которые до войны старались жить не так, как жили их деды и отцы. Вымудряли много, но вот что учились все, что не сидели дома, что машины всякие наловчились делать – это хорошо. И то, что не для денег стали жить, а для себя, старику нравилось. Баба, та часто удивлялась своему сыну и невестке: "Столько получают, а на черный день и рублика нету". Дурная баба, думали бы они про книжку, так про нас, стариков, и не вспомнили бы.

А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.

Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.

– Куда это вы, дедушка?

Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:

– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем.

Возле угла Толю поджидал брат. Ничего еще не сказал, а Толя по лицу его понял, что произошло самое страшное.

– Что?

– Владик в хате. Дедушка сказал ему.

Через шоссе за аптеку – и лес! Теперь, сию минуту, еще можно, вот-вот станет поздно, непоправимо поздно. Потом, в комендатуре, в подвале, избитый, будешь мучительно жалеть о минуте, когда еще можно было… Тебя поведут в лес, рядом будет идти Фомка с лопатой – и все лишь потому, что ты упустил вот эту минуту. А мама? Ей будет еще тяжелее, если и тебя схватят. Она и сама сказала бы… Конечно, она приказала бы: "Уходите, бегите в лес!" А ты все будешь бегать и все пусть на нее?.. Какие белые и большие глаза у брата! Но он не

смотрит на лес, он как бы прислушивается к тому, что в доме. Нет, нет, надо идти в дом…

В зале слышны взволнованные голоса: доверительно-жалующийся мамин и как бы огорченный – Владика. Если бы не знал, кто такой этот Владик, с чем он пришел, можно было бы подумать, что мама только и ждала его, чтобы попросить совета. Дверь открылась, выглянул Владик. Лицо красное, вспотевшее. Дверь осталась приоткрытой.

– Что нам делать, Владичек, что делать? – не то жалуется, не то спрашивает мама.

– Почему вы мне не сказали ничего? Я поговорил бы с Хвойницким.

– У них уже список партизанских семей приготовлен. А если заберут?

– Боюсь вам советовать. Смотрите… Я еще приду к вам.

– Владичек…

– Нет, что вы, никому ни слова. Как вы можете даже думать так, Анна Михайловна?

Владик в распахнутой шубе выбежал в кухню и, не замечая никого, – на улицу. Мама вышла из зала и сразу к окну:

– Куда он пошел? Ой, детки, что это наш дедушка сделал! Из ума выжили.

Упрек адресуется и бабке, которая выглядывает из столовой. Матери не до того, чтобы быть справедливой. Разве справедлива жизнь к ней самой?

– Где он? – У матери щеки мокрые от слез, а глаза до боли сухие.

– Шоссе перешел, – шепчет Алексей, – домой, кажется.

И тут все увидели, как большая фигура Владика метнулась обратно через шоссе. Неужели все-таки к бургомистру? Почему мама ничего не предпринимает? Как может она полагаться на совесть человека, которого сама считала шпиком?

Мама ходит по комнатам, не отводя взгляда от окон, и все, кроме бабушки, тоже смотрят в окна.

Солнце, как огромная капля расплавленного стекла, висит где-то над самым краем земли под узкой грядой облаков, пылающих оранжево-синим пламенем. Красная капля словно разбухает, наливается и все более круглится. В какое-то мгновение она вдруг делается пылающим диском, который, будто оттолкнув от себя узкую полосу облаков, повисает неподвижно.

Тени на розоватом снегу – длинные-длинные. На таких ногах ночь давно могла бы прийти. Неужели возможно то, что будет завтра?

Сейчас Толя смотрит из спальни своего дома на садящееся солнце, а придет и пройдет ночь, и все будет по-другому. Толя перестанет быть Толей, он станет тем, кого любят и кем восхищаются, кого ненавидят и боятся, – он будет партизаном. Теперь он может выйти на шоссе, пройти мимо комендатуры, спокойно разминуться с немцами, с полицаями. Сегодняшний Толя их мало интересует, завтрашнего они тотчас бы схватили.

И опять, как перед поездкой к дяде, явилась потребность внутренне *остановиться,* заглянуть в себя, запомнить себя на самом "перевале". Когда-нибудь он мысленно возвратится к этому дню, к этой минуте и ему легче будет представить, как он еще не был партизаном, а потом – как он уже стал партизаном. Нужно только постоять, за что-либо уцепившись глазами, и, главное, постараться остановиться внутренне. Запомнить это красное солнце под полосой горящих облаков? Нет, оно еще не раз будет таким, и оно никакого отношения не имеет к тому, что сегодня происходит и произойдет. А вот этого дощатого сарая, этой стены, красноватой от косых лучей, никогда уже не будет, если ночью начнется бой, пожар. Почти два года назад в этой же комнате дядя переодевался, Алексей хлопотал над чемоданами, а Толя сидел вот здесь, на кровати, старался и не мог почувствовать ужас перед словом "война". Тогда стена была светлая, палевая. Завтра уже не будет ни Толи, *еще не ушедшего в партизаны,* ни вот этой стены, на которую он сейчас смотрит...

Было тревожно: где теперь Владик? Но вместе с тем было до дрожи хорошо: проснутся поселковцы завтра, а Толя для них уже – партизан. И еще – чуть-чуть тоскливо при мысли, что все остающееся позади уже никогда не встретишь. Можно будет лишь представить потом, как ты стоял вот здесь, смотрел в окно и старался перенести это мгновение в будущее.

Опять забежал Владик. Долго задерживаться боится, ему стыдно за эту боязнь, и он шепчет:

– Я приду, вещи помогу вынести.

Толя смотрит на него с благодарностью (на того Владика, который не выдаст) и с отвращением (на того, который заставляет опасаться себя, который сейчас пойдет и донесет).

– Вот, а говорили о нем, – промолвила мать.

Алексей подхватил с готовностью:

– Владик любит туману напустить.

... Толе тоже хочется поверить. Владик не выдаст хотя бы потому, что мама дружила с его матерью. В отношении некоторых правил Владик, кажется, довольно тверд, хотя в карты играет и не

совсем честно. Только бы дал уйти! А если бы он знал, что не одни Корзуны уходят?.. Этого он, конечно, не знает и не узнает, даже если мама и поверит в него.

Оставалось только ждать. Сидели в темноте на стульях, на диване. Бабушка то зайдет в зал, то выйдет, она словно старается вспомнить, сообразить, найти что-то. Мама заговорила вполголоса:

– Тяжело будет старикам. Не привыкли они без крыши жить. Бедный дедушка, так разнервничался: "Это ж мы, Владичек, в партизаны идем".

Нина засмеялась, и всем сделалось весело. И тут, как будто бы и совсем некстати, мама спросила:

– Что нам делать, детки? Пойдем, да?

Вот тебе и на! Да разве нужно спрашивать об этом? Тем более сейчас, когда уже и отступать-то нельзя.

– Ну, а как же! – даже возмутился Толя.

– Алексей, ты старший, почему ты молчишь? В голосе мамы – непонятная боль.

– Что теперь раздумывать, – как всегда, невпопад буркнул брат.

И тут, неожиданно для всех, мать разрыдалась.

– Простите меня, детки, может, я вас сама на погибель веду.

Прибежала из кухни бабушка, застыла в темноте.

– Я давно ушел бы, если б не семья! – восклицает Толя и, чтобы убедить, добавляет как можно грубее: – Думает, что это она нас тащит? Если бы не ты, я давно бы…

Алексей с неумелой лаской гладит мамино плечо, руку:

– Ну, не надо, мама… Мы же сами. Не надо, перестань…

А матери было страшно. Она вдруг остро ощутила, какой неожиданной и жестокой стороной повернулось то, что она старалась все брать на себя, старалась сама все делать, все решать. Получалось, что это она поставила детей перед необходимостью идти в лес, навстречу той случайности, которая уже уничтожила Важника, Виктора, так беспощадно оборвала жизнь новичков, которых Никита Гром вел в партизаны. Теперь поздно раздумывать над тем, уходить или не уходить. Вот именно, у детей не осталось даже выбора. Они рады, они счастливы, что уходят в партизаны. Но это ничего не меняет: не они идут, а она их вынудила идти навстречу страшной неизвестности, может быть – смерти. Разве что-нибудь сможет облегчить ее муки, если случится непоправимое, разве не себя она будет считать единственной виновницей того, что ее дети не живут, когда другие живут, смеются, учатся, растят своих детей? И мать просила, чтобы они *сами решили,* она молила защитить ее от самой

себя, защитить от той, которая не простит, если с детьми что-нибудь случится там, куда она их ведет.

... Стояли в темных сенях и напряженно всматривались в холодную ночь. Все двери открыты настежь, чтобы не стучать.

– Иди, сынок, – шепот мамы. – В углу справа все сложено. А может, лучше я сама?

– Ну, вот еще, – приглушенным басом отозвался Алексей и исчез в темноте.

Слушали, как Алексей проходил через двор, как осторожные шаги удалялись в сторону аптеки. Скоро уходить и Толе. У него в руках чемоданчик, с которым он приехал от дяди в первый день войны, и еще бабушкин узелок. Всучили все-таки. Холодно – даже дрожишь. Из кухни уже не тянет теплом и домашними запахами. Холод вошел в дом, из которого уходили хозяева. Толе казалось, что за спиной у него дом умирает, как живое существо. Но Толя не жалеет его, он весь устремлен туда, куда уходит, – в партизаны.

– Давайте насыплем углей в сено, – шепчет он.

– Что ты опять сочиняешь! Тише. Иди.

Толя вышел из сеней так, точно от берега оторвался. Пока он не доберется до другого берега – до леса, – его подстерегает злая опасность. Теперь он уже партизан, и если его схватят... Слева затаилась комендатура. Шоссе лежит впереди, как пропасть, которую надо перескочить. Толя перескочил и прилип к дереву. Идут! Заметили или не заметили его? Бежать за аптеку! Теперь обязательно увидят. Близко уже, по стуку сапог можно понять, что их много. Смеются. Значит, полицаи. Немцы ночью не смеются. Слившись с деревом, Толя медленно поворачивался возле него, пока полицейские проходили мимо. Дышать даже перестал, так близко они были.

– Завалиться бы да выспаться. А тут мне караул этот всучили.

Разванюши голос! Толя позволил себе чуть-чуть вдохнуть и выдохнуть.

А вот и Фомка бабьей скороговоркой сыплет:

– Придумали эту конюшню. Дышишь, чем Ещик воняет. Я и дома мог бы переспать. Или еще где.

– Давно бы тебя партизаны заарканили! – возражает Разванюша. – Правду я говорю, Пуговицын?

– Я на правде вашей не был.

Прошли. Дятел сильно и часто-часто стучит над головой... Да нет же, это Толино сердце так колотится о сосну, к которой он прижимается.

Толя забежал за аптеку. Далеко впереди что-то поскрипывает, может быть, санные полозья скрежещут о песок. Толя шел полем и впереди, как защиту, как друга, как свой новый дом, ощущал лес, партизанский лес. Счастливо оставаться, бобики! Тут, возле леса, страшно уже вам, а не мне. Знали бы вы, что ждет вас сегодня!

Справа по дороге кто-то идет к лесу. И слышно, что женщины: на каждом шагу спотыкаются. Это же мама с бабушкой и Ниной! Но что это громадное, в два человеческих роста, движется следом за ними? Неужели Владик? Он! И тюк большущий на голове тащит. Ну и мама, навьючила человека, которого, может быть, и теперь шпиком считает, будто так и надо! Битый небитого везет!

Вот обрадуется она, услышав, что Толя уже здесь. Сын подал голос.

– Что ты шумишь? – гневно шепчет навстречу ему мать. – Тише ты!

Обрадовал! Невпопад, как всегда.

Оказывается, и Алексей уже здесь. Он принял у Владика туго набитый мешок и ждет в сторонке. А Владик никак не распрощается.

– Надеюсь, еще встретимся.

"Это уже твое дело, – довольно-таки неблагодарно думает Толя, – если вовремя спохватишься, может быть, встретимся".

Протянутую ему руку Толя пожал без особого энтузиазма. Конечно, Владик никакой не шпик, ерунда все эти слухи, но он все же дал повод о себе так думать, и сколько надрожались из-за него сегодня.

Единственное, что пробуждает в Толе теплое чувство к Владику, – это то, что Владик первый из поселковцев, кто уже знает, что Толя – партизан.

– Спасибо, Владичек, – говорит мама.

– Ну, хлопцы, до встречи. Эсминец "Керчь" эскадры топить не будет!

Владик еще раз подержался за руку с каждым, а Нину почему-то поцеловал. Похоже, что ему совестно уходить, оставлять в темном лесу женщин и детей. Если уж на то пошло, они (особенно Толя) могут его самого пожалеть!

Обождали. Шагов Владика больше не слышно.

– Кто приезжал? – тихо спросила мама.

– Один Горбель. Погрузили, он уехал, а я пошел вас встретить. Коваленков видел, все в той стороне собираются.

Алексей вскинул мешок на плечо и направился в глубь леса. Он как-то сразу стал понимать, что к чему, и мама как бы уступила ему

место впереди себя. А Толя по-прежнему не в счет. Нет, и о нем вспомнили.

– Помоги бабушке, – приказывает мама.

А бабушка все отстает. Она, кажется, только и ждет той минуты, когда сказано будет, что можно возвращаться назад в поселок, в теплую хату. Ей никак не хочется поверить, что этот темный, холодный, страшный лес и есть их новое жилье. Внука уже злит пугливая медлительность бабки.

– Ну вы смело, тут дорога.

– Ты не нукай, а помогай, – слышен в темноте мамин голос. Алексей остановился, с кем-то разговаривает. Да тут под соснами целый табор! Толпятся, ходят один за одним и все улыбаются – ото по шепоту, по нервным смешкам можно понять. Узнают друг друга с такой радостью, точно с начала войны впервые встретились.

Подбежала Надя, смеется тихонько, прижимаясь к плечу мамы. Галчата ее сидят рядышком на чемодане, будто поезда ожидают.

– Где же они, почему нет их? – нервничает кто-то.

Отдельным лагерем на узлах и мешках расположилась большая семья Коваленков. Приглушенно смеется грудастая Ефросинья, жена Разванюши.

– Ну, ты, бес в юбке!

Это старик Коваленок наводит порядок в своем "доме".

Всех и не разглядишь. Толя прикинул: с детьми – человек пятьдесят, а еще Разванюша и его хлопцы. Ну и шуму будет завтра! Те, кто помоложе, курят в сторонке, удивляют друг друга своей осведомленностью:

– Наш Коля тоже пошел. Склад заводской брать будут. И завод рванут – вот увидите!

– А немцы хотели его пускать.

– А мы идем, а Застенчиков попереду. Услышал – остановился, и мы нарочно остановились. Ка-ак рванет он в лес! А потом – ругаться!

У широколицего сына заводского конюха полный карман толстеньких французских патронов. Толя выпросил одну обойму. В долг, конечно. Получит *там* – вернет.

Появился "полицай" Комлев. На правом и левом плече три или четыре винтовки.

– Кто тут постарше? Со мной пойдем.

– Давай мне.

– И я… – быстро сказал Алексей, будто забегая кому-то наперед.

Комлева окружили.

– Что там, Жора?

– Куда вы?

– Почему нас не забирают?

Про "забирают" опять Застенчиков. А винтовку не попросил. Когда-то Сенька Важник изводил этого вояку – и не зря.

Мама незаметно тронула Алешу за руку. Он отошел в сторонку, сказал:

– Ничего, мама. Не бойся.

Толя чувствует себя в чем-то виноватым. Он больше всех кричал: "Пойдем! Пойдем!" Теперь же навстречу опасности идет Алеша, а не он. Толю оставляют с женщинами, и он помалкивает. Алексей, кажется, рад и тому, что он уже с винтовкой, и тому, что Толя без винтовки, что маме хоть за Толю не надо пока бояться. Брат всегда отводил Толе роль "маминого утешения". Самое удивительное, что сегодня это не злит Толю. Он не побоялся бы пойти туда, куда отправляется Алексей, где скоро начнется бой. Конечно, нет. Но если сразу двоим пойти, как будет тут мама? А если сразу возле дома, и двоих?..

Ну, а если и дальше вот так пойдет? Дудки, он только сегодня уступает брату, потому что все равно брат не уступит ему.

С Комлевым ушли Алексей и еще один человек. Кто-то подал пример, взялся ужинать. И всем это очень понравилось. Ужин в лесу как бы закрепляет твое повое положение. Сразу поделились на семьи. С одобрением говорят про Коваленка: он целого кабана притащил в мешках.

Оделяют друг друга, но все-таки каждый полез в свой мешок, в свой узелок. Это неприятно удивило Толю. Не так бы надо. Вот тебе и "только ложку берите"! Мама, оказывается, права была, что заставила тащить с собой еду.

Открыл Толя чемоданчик.

– Что это? Книга? Не можешь без фокусов!

Мама не очень рассердилась, что Толя "забыл" дома буханку хлеба. Тихо сказала:

– Если вернемся, папа придет…

Но будто испугалась этого "если" и не договорила.

Уже два часа ночи. К утру скоро повернет, а партизаны не приходят, не забирают. И тут вдруг все ощутили, как близко они к поселку и как быстро может наступить утро. Что тогда?

– Не вертаться же, – испуганно и обиженно шепчут в темноте.

Толя не тревожится: партизаны знают, что и когда делать. Мама молчит, прислушивается к тишине в поселке.

И вдруг зашумели возле дороги, обрадованно, благодарно.

– Горбель!

– Миша!

А тот, кто примчался на низких санях, вполголоса ругается:

– Почему вы здесь? Вас в Зорьке ожидают.

Значит, была все-таки причина волноваться, напутали что-то. Все готовы расцеловать сердитого Горбеля – знакомого колхозника из Зорьки, который все стоит на санях, готовый мчаться назад. Каким-то образом разглядев в темноте маму, Горбель сказал:

– Разбилась бутылка, большая, что в корзине была. И теперь сено пахнет. Эх, не сказал ваш сын, что спирт там…

Казик Жигоцкий был в самом деле болен – нелепо, смешно болен. И все это знали. Но никто, кроме домашних, не знал, что больной Казик вот уже две недели не ночует в комнатах. Когда-то для дачников начали было делать комнатушку на чердаке, уже и кровать железную туда поставили. Теперь пригодилась. По внутренней лестнице Казик забирался вечером на чердак.

– Вас они не тронут, – почти визжал он, хотя никто его не останавливал, – им я нужен. Из-за вас все это.

А утром появлялся, бледный, заросший, но живой и даже с шуточками:

– Схожу со своего капитанского мостика. Как в каютах, все в порядке на корабле?

В эту ночь он проснулся под ворохом одеял и старых овчин от ощущения, что внизу под стеной кто-то стоит. Проснулся и сразу услышал короткий, отрывистый шепот. Они, кто же еще! Сейчас будут ломиться в дом, или бросят гранату, или подожгут… Хорошо, что он здесь, а не в хате. В ушах гудело. Пододвинулся к чердачному окошку, судорожно вдохнул пыль. Чтобы не зачихать, до боли стиснул пальцами лицо, нос. Рама неплотная, Казик слышит:

– Кто идет?

Кто-то отозвался и тут же, видимо споткнувшись, выругался. Потом:

– Конечно, с полицией… Человек двадцать… Скоро начинаем и мы.

Казик уже догадался, что не к нему пришли эти люди. Но если захватят поселок, придут, не эти, так другие. Внизу под стеной – партизаны. То, что всегда казалось хотя и возможным, но далеким, подступило, вот оно, рядом. Сейчас начнут стрелять, будет пожар, а он как в клетке. Если он спасется от партизан, завтра из города приедут новые немцы, и тоже неизвестно, что будет.

И когда ночную тишину проломило первыми взрывами, Казик упал и пополз, глотая сухой пресный чердачный песок, собирая губами, лицом липкую паутину. Он стукался обо что-то головой и все ползал, ползал и никак не мог найти место, где бы не так грохотало, не так визжало, где бы ему было не так страшно.

Но даже сейчас он не может забыть про живот, про то, что ему надо… И он судорожно хватается за ремень и чувствует, что уже все равно…

Человек сам ощущал, как жалок он, отвратителен в эти минуты, но где-то глубоко-глубоко таилась хитрая расчетливая мысль-надежда, что именно это его спасет: кому, зачем нужно трогать его, такого слабого, беспомощного, такого *некрасивого?*

Зарево из печи охватывает каждого, кто входит в избу, тени мечутся по темным неоштукатуренным стенам. Приблизительно так и представлял Толя место, где встречалась мама с партизанами. Правда, не все понятно Толе. Вот хотя бы эта женщина, хозяйка: она совсем не поражена, что столько селибовцев идут в партизаны, и хорошо заметно, что она не в восторге от того, что в ее доме столько гостей. Сидит над люлькой, подвешенной к балке, убаюкивает плачущую девочку, на гостей не глянет.

Для Толи этот дом, эта женщина – первое, что повстречалось ему в партизанском мире, таком необычном. И потому он не способен догадаться именно о самом простом. Ему, например, и в голову не приходит, что женщина просто-напросто боится: "Вы прибежали, побудете и уедете, а завтра ворвутся сюда немцы и не дай бог узнают, что останавливались у меня".

Толя смотрит на себя, на то, что он "ушел в партизаны", глазами поселковцев, глазами тех, которые проснутся завтра, узнают, позавидуют, восхитятся… Толе еще предстояло почувствовать, что есть не только провожающий, но и *встречающий* взгляд.

Толпились в хате, выходили в темноту, ждали. И когда внезапно загрохотало там, в стороне поселка, все выбежали, замерли. Толя слушал бой не только из Зорьки.

Одновременно он сидел на полу рядом с удивленными, обрадованными и слегка напуганными Янеком и Минькой; в то же самое время он осторожно выглядывал в окошко глазами Владика, наконец-то сообразившего, что Корзуны ему не все сказали; с особенным удовольствием Толя любовался Казиком, распластавшимся за печкой. И всем им Толя давал понять, что он еще вчера знал, что будут громить комендатуру.

Он так живо представил, как от взрывов гранат красно вспыхивают окна комендатуры, что тут же пояснил женщинам:

– До гранат дошло – слышите.

Над лесом в одном месте слегка посветлело. Но темнота тут же сомкнулась снова. Опять там посветлело, больше, чем в первый раз, и ночь уже не смогла сомкнуться: зарево хотя и пригасло, но осталось.

– Горит комендатура, – догадался кто-то.

И вдруг:

– Идут, партизаны идут!

Сейчас Толя увидит тех, кто столько времени был для него мечтой, легендой!

В толчее он не разглядел, как партизаны прошли через двор, на короткое время свет из раскрытой двери охватил их фигуры. Вместе со всеми Толя протолкался в хату.

Их четверо. Двое греются у печки, заслоняясь ладонями и отворачиваясь от пламени. Один из этих двоих совсем молодой, лицо круглое, но не пухлое, а крепкое, как осенняя антоновка. Поперек груди – автомат. Рядом с ним – рябой неулыбчивый партизан с десятизарядкой. Из кармана его кожаной куртки (вытертой, побелевшей, но все же кожанки!) торчит длинная ручка гранаты.

Пожилой партизан, зажав коленями винтовку, отдыхает на скамье. Всех почему-то потянуло к партизану, который переобувается. У этого дружелюбное веснушчатое лицо, золотозубая улыбка. Одет в короткую доху, и весь какой-то кругловатый.

– Вы – "Толики"? – спросил его Толя, осененный догадкой.

– Нет, паренек, мы скорее Васи, если на то пошло. И я, и Авдеенко, тот, что очень серьезный.

Это он про молодого партизана. Поблескивая золотыми зубами, охотно отвечает на вопросы женщин, конечно же бестолковые.

– Мы на мосту были, в поселке не мы.

Толя украдкой провел пальцами по черному пятну на дохе партизана. Мокро!

– Кровь? – спросил он со сладким ужасом.

Толя имел в виду кровь немцев, которых там, на мосту, убивал этот партизан. На свежем от холода лице партизана появилось недоумение, тут же сменившееся дружелюбной усмешкой.

– Вода, паренек. В прорубь, понимаешь, чуть не угодил, когда отходить пришлось.

– Какие результаты на мосту?

Разглаживая на ноге мокрую портянку, партизан заговорил:

– Не совсем. Оружие не вынес ваш... ну, полицейский, что был там внутри. Убил дневального и выскочил. Наш Федя вбежал, а кто-то из них уже добрался до пирамиды. До оружия. Потянул Федя по нарам раз-другой, а его тут и положили. И пошло. Мы гранатами, и они гранатами. Да, а Федя у вас был переводчиком. В лагере военнопленных.

Значит, это тот самый переводчик, который Шмауса увел! Гордый тем, что знал человека, о котором партизаны говорят так уважительно, Толя сделался совсем назойливым.

На настойчивые вопросы Толи партизан неохотно отозвался:

– Немцев сколько? А кто их там считал.

– Их больше убили, десять будет?

– Возможно, что и десять.

– Так это хорошо – один на десять, – подсчитал Толя.

Молодой, тот, что очень серьезный, резко обернулся:

– Нам и двадцать за Федю не надо. И немцев... и таких вот...

Толя впервые позволил себе подумать о партизане с обидой. Ведь Толя лишь старался, чтобы женщины поняли, что даже при неудаче партизаны взяли верх.

В хату вбежал человек, очень подвижной. У человека из всего лезет вата: из рваных бурок, из стеганки, из шапки, и даже белые волосы на лбу кажутся уже клочьями ваты. Одно ухо зимней шапки поднято вверх, придавая лицу человека беспокойный, "заячий" вид. Это Горбель Миша. Вбежал он, и все повернулись к нему, заговорили с ним, а он заговорил сразу со всеми:

– Пришел обоз. Полицаев заводских на Гороховищи погнали. Здравствуйте, ребятки, – это он партизанам, – эх, жалко Федю, такой хлопец был! Спокойный, честный.

Дом встряхнуло.

– Ну вот – трубу вашу, – сказал золотозубый.

Почему он все: "ваши", "вашу"?

Опять вытолкались во двор. В поселке стрельба притихла. Зарево над лесом разлилось шире. Небо кажется еще ночным, но на земле посветлело. Можно уже видеть двор, огороженный в одну жердь, сарай с провисшей крышей. Лошадей полно во дворе, и по дороге обоз движется. Женщины кого-то окружили плотным кольцом. Комлев, его голос:

– Ведут, человек двадцать. Как всех поднял Сырокваш, вонища, говорят, была. Еще бы! Продрали глаза, а перед носом партизаны с автоматами стоят. Зачитали им сводку Совинформбюро и заставили ползти к лесу. Как миленькие поползли! А Пуговицын шепчет

Сырквашу: "У меня гранаты дома есть – схожу". Ничего, говорят ему, у нас имеются, дадим тебе.

…Утреннее небо первых дней весны. Все вокруг залито морозной голубоватостью. Снега на полях нет. Только далекий лес подчеркнут белой полоской, да там, где зимой была санная дорога, сохранился снег, оледеневший, смерзшийся с песком и конским пометом.

Мартовское солнце временами как-то пригасает, словно устает посылать и посылать на землю свои лучи. Солнечные стрелы ломаются о ледяную дорогу, осколки их больно вонзаются в глаза.

Политая льдом дорога – то пылающая, то темная – перекинута через поле как последнее, что осталось от зимних одежд земли. По ней далеко вытянулся санный поезд.

– Самый раз для самолетов.

Это говорит молодой темнолицый партизан, с которым едет Толя. Другие партизаны Толиного соседа по саням окликают по-разному:

– У тебя что, Перекруткин, соль?

– Эй, посторонись, Переверткин, оберну.

От самолетов на такой дороге не спрячешься, это правда. Переверткин (или Перекруткин) нет-нет да и поглядит в сторону Бобруйска. А вот Толя о самолетах и не подумал бы. Ему вдруг сделалось стыдно: столько времени он жил, не опасаясь немецких самолетов.

На следующих санях одни женщины. Мама обхватила Надиных малышек и Нину, сама Надя лихо поддергивает вожжи. Щурятся на солнце, улыбаются, Надя что-то кричит.

Обгоняя их, несутся легкие санки, резко скрипят по песку. Правит дед, у которого за широким командирским ремнем граната с длинной деревянной ручкой. Сзади двое партизан. Ноги не помещаются в узеньких санках: один свесил к полозу ногу, другой – тоже. Оба с автоматами, белые полушубки перетянуты в поясе.

– Кучугура и Сырокваш, – сказал Перекруткин (или Переверткин) очень уважительно, но ледяной дороги и сантиметра не уступил. Проскрежетав одним полозом по песку, санки пронеслись мимо. Значит; тот, с черным пятном усиков на бледном лице, и есть Сырокваш. Толя даже попытался перехватить его взгляд. На Толю посмотрели, но так, что он вдруг почувствовал себя еще одним мешком в санях у Переверткина-Перекруткина. В конце концов они имеют право смотреть на него как угодно. Они ведь еще не знают его. Когда узнают, будет совсем другое.

Впереди деревня. Тут только две настоящие хаты. Вдоль улицы одни печки, некоторые развалились, а другие так и стоят, голубоватые, будто вчера только заботливая хозяйка белила их. Холодом веет от этих голых печей. Среди огородов, совсем уже не в ряд, погреба-землянки. Вот она – партизанская деревня.

В толпе женщин и партизан послушной, правильной колонной стоят полицаи. Такие смирненькие, будто сами удивлены, что так вот получилось: стали каким-то образом полицаями. Стоят и жадно, боязливо слушают, что говорят сердитые женщины. И чем больше слушают, тем больше каменеют. Стоят по два в ряд. Пуговицын и начальник полиции Зотов – в затылок Захарке и косоглазому брату Хвойницкого. Дальше братья Леоновичи, как всегда, рядышком, посиневшие, у младшего на шее всегдашний грязный бинт. Ещик в валенках и без шапки, этот, кажется, до сих пор не проснулся, пялит глаза на партизан, на неласковых женщин с тупым удивлением. А коротконогий Фомка пугливо жмется, точно щель ищет, подбородок, нос, щеки – все пухленькое и все белое. И бородатый батя Афанасия здесь, стоит, ссутулясь, не поднимая глаз. Всех Толя даже в лицо не знает: оказывается, много их бегало по поселку. Вчера еще каждый из них мог прийти к тебе в дом, арестовать, загнать в комендатуру, отправить в Германию или просто уничтожить тебя, всех, кто дорог тебе. Им казалось, что до судного дня далеко, они старались убедить себя, что дела немцев по-прежнему неплохи. Во всяком случае, думалось вот такому Фомке, еще неизвестно, кому хуже: ему, полицейскому, которому приходится бояться далекой, как фронт, расплаты, или соседу, которого в любой момент можно отправить впереди себя на тот свет. И отправляли сколько могли. А теперь стоят, такие беспомощные и послушные, хоть ты пожалей их.

– Наслужилиса? – громовым голосом спрашивает высокий партизан с лицом кавказца и с полесским выговором на "са". – Отвоевалиса, спрашиваю?

Полицаи виновато переминаются.

– Замаливать грехи будете, господа полицейские!

Черные выпуклые глаза партизана чуть-чуть простецкие, но голос грозный и оглушающий, как труба. Кожаная тужурка потрескивает на широких плечах.

– Бу-удем, – обрадованно и нестройно гудят полицаи, и всех громче Пуговицын. Он в одном мундире, бритая голова подрумянилась на морозе, а лицо серое.

Женщины расступились перед Кучугурой. Толя сразу узнал его: идет, чуть-чуть наклонившись, взгляд быстрый, исподлобья, рукой придерживает автомат у бедра.

– Вася, только не у нас вы их, уведите, – сказала молодая женщина, тронув Кучугуру за плечо.

Кучугура остановился перед Захаркой.

– Ну, сколько за Кричевца получил? На и от меня еще.

Не отнимая правой руки от автомата, левой коротко замахнулся. Рот, щеки у Захарки задергались в бессмысленной улыбке.

– Вась, оставь мне!

Расталкивая толпу, к полицаям пробивается партизан с синими, опаленными миной или снарядом, шеей и щекой. Черты лица у него грубые, но правильные – плакатное лицо моряка. И даже бескозырка на голове, хотя и без лент. Раздвигая плечом женщин, "моряк" издали объясняет Кучугуре:

– Мы слышали ваш концерт, а потом говорят: Селибу громят. Жалко, без нас. Задержались немножко, но эшелончик все-таки кульнули.

– Опять с сеном, да, Петенька? – спросил золотозубый партизан в бурой дохе, с которым Толя уже знаком.

– Ну, сено тоже фураж, – не смутился "моряк" и тут же обратился к полицаям: – Так это от вас столько вони было вокруг Селибы?

– Петя, это тот Никиту Грома убил, – подсказали со стороны.

– Ты?

Леонович-младший, перед которым остановился "моряк", испуганно задергал шеей, а старший торопливо пояснил:

– Это Пуговицын, вот тот, бритый.

– Вот этот, – сказал Фомка, и даже выступил из строя, и даже пальцем ткнул в спину Пуговицыну.

– Так это ты, гадина лысая, друга моего убил? Как ты думаешь, что я из тебя сделаю? – "Моряк" рукой взвешивает у пояса длиннющий штык-кинжал.

– Довольно, Зарубин, нечего тут спектакль представлять.

Веснушчатый партизан из охраны подошел к "моряку", взял его за плечо:

– Отойди, знаю я тебя. Не бойся, он свое получит.

– И получит. Вася, позволь мне конвоировать.

– Как хочешь. – Кучугура прошел вдоль строя. Остановился перед худым, остроносым полицаем. Его в поселке за хромоту называли "Рупь двадцать".

– А ты чего здесь?

– Вот взяли со всеми…

"Рупь двадцать" смущенно переступает длинными, в обмотках, ногами.

– Выходи. Отдайте ему винтовку.

Человек вышел из строя, а те, что остались, глядели вслед ему с лютой завистью. Догадался человек вовремя связь с партизанами наладить.

Откуда-то появился Разванюша.

– Так вот ты кто, а я-то тебя чуть не пристукнул, когда вчера тебе захотелось на двор не вовремя.

Сегодня Коваленок особенно петушистый, где-то уже красную ленту раздобыл, на полицаев посматривает весело.

– Не хватает только бургомистра, как раз в Большие Дороги поехал, а то хоть парад устраивай.

Фомка заискивающе усмехается, лица у братьев Леоновичей жалко кривятся: тоже готовы усмехнуться, если, конечно, им будет позволено. Пуговицын смотрит прямо перед собой, но кажется, что и спина его со сведенными лопатками, и подергивающийся затылок, и прижатые к черепу уши следят за "моряком", который не отходит от Пуговицына далеко. Конвоир тревожно посматривает на них обоих.

– Алексея ищешь? – окликнул Разванюша Толю. – Воду пьет.

А вот и Алексей. Ишь ты – десятизарядка, подсумки! Потрогать и то завидно. Постой, да, никак, этой винтовкой Пуговицын хвастался, когда ночью приходил? "Десять бандитов и – кон дела!" На прикладе "Н" выжжено – Никита.

– Идем, мать тут, – сказал Толя брату. Сказать "мама" он постеснялся (партизаны кругом!), по от непривычного "мать" братьям сделалось друг перед другом неловко.

Она стоит с Сыроквашем и Кучугурой. Алексей увидел это и повернул назад. Толя пошел к ним один. А чего стесняться?

– Алексей там, – сказал Толя, подходя к матери.

– Это ваш? – спросил партизан.

– Младший, – ответила мама. Она сегодня необычная. Лицо, правда, бледное, как всегда, и губы тоже бледные, но зато глаза так и лучатся, мама их щурит, а они от этого еще лучистее. – Просился все в партизаны.

Толя скромно потупил глаза, уверенный, что на него глядят с любопытством.

– Думает, что мед у вас тут.

И всегда она так: говорит, говорит, а потом и сказанет!

– При чем тут мед? – возмутился сын.. Но до него уже никому нет дела. Его нарочно каким-то молокососом, выставляют: мол, еще не партизан, не дорос.

– А когда будут оружие выдавать?

От смущения горячие слезы стояли у него в глазах, но Толя мужественно выдержал взгляд Сырокваша. Энергичное лицо его, на котором странно видеть пухлые детские губы под черным мазком усиков, вспыхнуло короткой, дружелюбной, как. Толе показалось, улыбкой.

– Выдавать? У нас каждый сам себе оружие добывает.

– Заработаешь – получишь, – сказала мать, сразу ставшая непонятно безразличной. И Сырокваш, как бы уступая ее настроению, перевел разговор, обратился к Кучугуре.

– Не заработаешь, а в бою, – возразил сын, но на него даже не посмотрели.

Опять Толе придется добиваться того, что к Алексею пришло само собой.

– Не хотите, Анна Михайловна, на своих полицаев посмотреть? – спросил вдруг Сырокваш.

– Нет.

– А им хотелось бы вас увидеть. Пуговицын небось самого себя укусил бы.

– Денисов сказал гнать в лагерь, – промолвил медлительный в разговоре и резкий в движениях Кучугура и добавил: – А у хлопцев зуб на бобиков острый, того и гляди…

– Он теперь без бороды? – хитро намекнул на старое знакомство с командиром бригады Толя, но его не сочли нужным услышать.

– Сортировать уже и этих начинаем, – сказал Сырокваш. – Как вы думаете, Анна Михайловна, есть тут такие, кому можно поверить?

– Вот Леоновичи… Два сына у матери, и теперь оба…

У мамы всегда так. Как будто вина их меньшая от того, что оба в полицию поперлись. Толе была неловко за мать перед партизанами, но они даже вида не показывают, что, конечно, не согласны с нею.

Подскакал верховой: немецкий автомат, пистолет, в руке короткая плеть, а лента на папахе такая, что, вероятно, с самолета видна. Наклонился с седла к Сырокващу, сказал простуженным басом:

– Из Березок немцы двинулись.

– Вася, веди всех на Зубаревку, – деловито сказал Сырокваш. – Я пойду им навстречу.

Забегали возле землянок женщины, с детьми и узлами потянулись к лесу. Повели полицаев. Как-то непривычно видеть Алексея с винтовкой. Бредет следом за полицейскими, и, наверное, ему не хочется встречаться глазами с ком-либо из них. Со спины даже в своей поддевке с таким домашним желтым воротником он уже ничем не отличается от других партизан. Все дело в винтовке. Будет винтовка у Толи, и его не отличить от любого партизана. Он оглядел себя: зимнее пальто – коротковато, шилось, когда Толя еще в шестом классе был. Ну ничего, сойдет за поддевку.

Следом за пленными полицаями тронулся и обоз. В деревне осталось человек тридцать партизан. Они пойдут навстречу немцам.

Когда проезжали мимо последней землянки, увидели, что Алексей и Коваленок, придерживая винтовки, бегут назад в деревню.

По лицам видно, что отпросились из охраны, что и они пойдут навстречу немцам.

Алексей пробежал мимо брата и матери откровенно взволнованный, взглянул на них радостно.

– Готовьте нам обедик, Анна Михайловна! – крикнул Разванюша.

– Возвращайтесь, – срывающимся голосом пожелала мать.

А издали уже вламываются гулкие и какие-то двойные звуки. Будто доски кто сбрасывает: ударяется доска одним концом, потом звучно хлопает всей плоскостью.

Выехали из деревни. Впереди все та же политая льдом голубоватая дорога, извивающаяся среди черных обесснеженных полей.

Мама молчит. Хотя она рядом, но Толя знает, что вся она теперь там – с Алексеем. А когда Толя пойдет, она будет и с ним.

Пылающая ледяная дорога уходит в далекий лес – в незнаемую, таинственную партизанскую жизнь.

1955 – 1959